



Виталий Духов

Однажды мы жили...





**Виталий Диксон**  
**Однажды мы жили...**  
Случайная проза



Виталий Диксон

# Однажды мы жили...

Случайная проза



  
za:za  
PUBLISHING  
Дюссельдорф  
2012

Редактор Евгения Жмурко  
Художник Вера Дунаева  
Фото: Николай Бриль

**Диксон, Виталий Алексеевич**  
**Однажды мы жили...** Случайная проза  
© Виталий Диксон  
Предисловие Анастасии Яровой  
Послесловие Тамары Жирмунской  
Перевод на нем. язык Ксении А. Куликовой  
Зарубежные задворки: [www.za-za.net](http://www.za-za.net)  
Дюссельдорф, 2012. – 432 с.  
ISBN 978-1-4710-4614-8

В новой книге Виталия Диксона сошлись два века. Многие жизни. Нечаянные встречи. Ожидания, события, судьбы...

А почему такое название странное, что за оксюморон такой – «однажды мы жили»?

ОДНАЖДЫ (а дважды-трижды не бывает, и «двойная жизнь» - всего лишь нелицеприятная метафора) МЫ (а не кто-то другой) ЖИЛИ (поживали, проживали, переживали, оживали, выживали, жилились-выёживались...) В общем, нормально. По-людски. «Через тернии к звёздам» (Сенека) + «Через жопу и в никуда» (Диксон) = Sic transit, получается... Трансибирский экспресс: отсюда и в вечность. Остановки – как по требованию, так и вопреки.

## ОТ АВТОРА

В новой книге сошлись, точно на пороге одного жилища, два века. Частные случаи. Нечаянные встречи. События и судьбы. Крапленые карты и битые козыри. Стреляные воробьи и тёртые калачи. Дороги дальние и близкие, те, что кончаются сразу за «за углом». Казённые дома. Сорокаградусная национальная гордость. Общее место. Историческое время. Время, которое вышло...И, разумеется, - путевые размышления физического лица на ту же тему. Что это значит: время вышло? То ли оно кончилось. То ли оно, выйдя на минуточку, подобно начальнику из кабинета, утонуло куда-то неведомо куда и вообще назад не вернётся, а будет шляться в том некудышнем пространстве, покуда само пространство будет терпеть это сумасбродное времечко, терпеть и терпеть, скрипя осями координат, да выносить - из огня в полымя, да переносить - с места на место и из века в век.



## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

### НА БЛИЖНИХ ПОДСТУПАХ К АННОТАЦИИ

**Анастасия ЯРОВАЯ**

Октябрь 2011, Иркутск

«Ну, кто?! Кто, скажите мне, пожалуйста, какой всевышний искуситель показал Диксону буквы!?!»

То, что познав сии графические закорючки, писатель Виталий Диксон сразу же нашёл им подходящее применение, меня не удивляло: это было очевидным. Но с тех самых пор...

С самой собой мне всё понятно: я *не перенесла* сверхплотной тяжести «Августейшего сезона», последнего (по факту издания) диксоновского романа. Так он и остался для меня – как джойсовский «Улисс»: можно глубокомысленно покачивать головой и надувать со знанием дела щёки, но уж никак не признаваться, что прочитаны только первые пятьдесят страниц или, пускай, сотня. К слову, Бродский полагал, что «Улисса» вообще мало кто прочёл до конца, тем более, что для понимания и восприятия некоторых книг чтение «от корки до корки» не всегда требуется.

С Диксоном, как мне кажется, тот же случай, коленкор, переплёт или просто - под зад коленкой, это уж читатель сам себе подходящее выберет, но, думаю, всё же он догадается, что о постмодернистском «соавторстве» (писатель+читатель) и речи быть не может, с Диксоном эти штучки-шуточки не пройдут: нет в нём никакого ни постмодернизма, ни соавторства, а одно сплошное *dixi*: «я сказал» - и точка. Или даже три точки – и недосказанность, и многозначность, а может даже, и рефлексии в названии новой книги: «Однажды мы жили...» - уж не сомневается ли автор в оном утверждении?

Нет, не сомневается. Но и не торжествует. Жили и жили, с ярмарки на ярмарку, с горки на горку, под горку да в ямку... А в ямку Диксон упасть не даёт! Он выкладывает текст закодированными ступеньками, а там уж как душе будет угодно распорядиться: то ли вниз, погружаясь в глубины собственной памяти, которая где-то как-то в чём-то созвучна описываемым

событиям (и я, и я училась у профессорши Тендитник!); то ли – вверх, к вершинам самопознания, в котором не столько ремарковского про обязательность повторения прошлого, ежели его опрометчиво позабыть, сколько удивлённого удивления (и вовсе тут нет масла масляного!): что же это за оксюморон такой – «однажды мы жили»?

А такой! Что **однажды** (а дважды-трижды не бывает, и «двойная жизнь» - всего лишь нелицеприятная метафора) **мы** (а не кто-то другой) **жили** (поживали, проживали, переживали, оживали, выживали, жилились-выёживались...) В общем, нормально. По-людски. «Через тернии к звёздам» (Сенека) + «Через жопу и в никуда» (Диксон) = Sic transit, получается... Транссибирский экспресс: отсюда и в вечность. Остановки – как по требованию, так и вопреки.

## EIN FAST FAIRER KOMMENTAR

"Wer? Bitte, sag mir wer? War es der Allmächtige selbst, der Dikson in die Versuchung der Buchstaben führte?"

Es würde mich jedenfalls nicht wundern, denn offensichtlich findet Vitaly Dikson, seit er von diesen "graphischen Kringeln" gekostet hat, immer wieder eine passende Verwendung für sie. Und so...

Was mich betrifft ist die Sache klar – ich konnte die überdichte Schwere des letzten Dikson Romans "Die erlauchte Saison" nicht bezwingen. Es ist für mich, wie bei Joyces Ulysseslektüre: man wackelt tiefsinnig mit dem Kopf, bläst kennerhaft die Backen auf, bloß um nicht gestehen zu müssen, nur die ersten fünfzig oder, seien wir großzügig, hundert Seiten geschafft zu haben. Apropos, da fällt mir ein: Brodsky war der Meinung, kaum jemand hätte Ulysses ausgelesen, und darüber hinaus: manche Bücher müsse man nicht bis zum letzten Satz kennen, um sie wahr zu nehmen und zu verstehen.

Genau so ist es, glaube ich, gerade mit Dikson. Ob sein Buch verschlungen, überflogen oder nur durchgeblättert wird entscheidet der Leser selbst. Gleichzeitig spürt er aber sofort, dass von einem postmodernistischen "Mitspracherecht" des Lesers hier keine Rede sein kann. Nicht mit Dikson. Er bietet keinen Postmodernismus und

keine Mitautorschaft, er ist ganz und gar *dixi*: "Ich habe gesprochen" – Punkt. Oder wie im Titel des neuen Buchs die Gedankenpunkte... "Wir lebten einmal..." – mehrdeutig, unausgesprochen, nachdenklich. Zweifelt der Autor selbst an dieser Aussage?

Nein, tut er nicht. Aber er stellt auch nicht bloß fest. Er zeigt das Leben wie es ist: eine wilde Achterbahn, mit all unseren Höhen und Tiefen, von unseren mühsamen Bergaufs, bis in die umso schnellere Bergabs. Doch der Leser wird nicht fallen gelassen, Diksons Buch gleicht einer Treppe: man steigt seine Geschichten - wie graphisch verschlüsselte Stufen - herauf und herab, man öffnet plötzlich fast vergessene Türe der eigenen Seele: zu den tief verborgenen Erinnerungen und zu den Höhen der Selbsterkenntnis, man wiederholt, frei nach Remarque, das Gelernte immer und immer wieder, um am Ende vor der Schwelle der Verwunderung stehen zu bleiben: „Das war's?" "Ist denn alles gesagt?" "Wir lebten einmal..."? Was soll das Oxymoron?

Ganz einfach: **wir** - tatsächlich wir und niemand anders - **lebten** - oder noch leben - **einmal** - nur. Ein zweites oder drittes bleibt uns verwehrt, und Doppelleben ist kein Zugewinn, sondern eine plumpe Metapher. Wir lebten, erlebten, überlebten, lebten auf... Absolut normal. Menschlich. Die Formel lautet: „Durch den Staub zu den Sternen" (Seneca) + "Durch den After ins nirgendwo" (Dikson) = Sic transit... Der Transsibirische Express von hier aus in die Ewigkeit. Halt des Zuges sowohl nach Aufforderung, als auch zuwider.

**Übersetzung:**  
**Xenia A. KULIKOVA**  
Oktober 2011, Berlin

## ТРЁХЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

*«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою  
Историю железный занавес.*

*- Представление окончилось.*

*Публика встала.*

*- Пора одевать шубы и возвращаться домой.*

*Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось»*

*(Из розановского «Апокалипсиса нашего времени)*

От великого провокатора и парадоксалиста Василия Васильевича Розанова можно было ожидать всё что угодно и неуютно: от совершенной чертовщины до совершенной святости. Кличку имел – Иудушка Головлёв, псевдоним – В.Варварин. Написал не так уж и много, смутил же многих. А меня занозила одна его фраза из «Уединённого»: «...русская история вообще ещё почти не начиналась. Жили – день за днём – сутки прочь»...»

Странная фраза, тёмная фраза...Когда же она начнётся, наша история?

Вопрос растворяется во всемирном времени: не по Гринвичу, по существу.

Австрийскому министру Меттерниху принадлежит высказывание, которое я вспоминаю по великому множеству поводов. Получив известие о смерти императора Александра Первого, министр сказал так: «История России начнётся там, где окончится роман».

Странная фраза, тёмная фраза...Что имел в виду министр, говоря о романе? Что он понимал под историей? Полосу здравого смысла? Период реалистической политики? Времена права и порядка?

Исторический трёхлистник: Русь, Россия, Советский Союз – ни святостью, ни божьей благодатью, ни бесовскими рожками, ни иной сверхъестественной особенностью не отмечен. В массе же своей российский люд инстинктивно сопротивляется подобной оценке, не имея юродивого желания беречь свои раны. Между тем, Европа давно уж рехнулась бы в поисках непрременных очистительных страданий, если бы трёхлистник прекратил излучать в мир былинную боль. Когда миру нездоровится, он болеет Россией. Значит, страна – рана? Рано или поздно, но эта странность тоже перестаёт быть таковой и воспринимается как хроника событий.

Мы плохо знаем самих себя. Меттерних знал нас ещё хуже. После него Европа вообще перестала что-либо понимать в «русском вопросе», полагаясь на одну только интуицию: не трожь!

А вся загвоздка в этом историческом фокусе, возможно, в том состоит, что российский роман бесконечен. Россия всегда заводила и заводить будет роман с историей.

## **РУССКИЙ ВАРИАНТ**

Как говорится, в некотором царстве, в некотором государстве... Впрочем, иногда встречаются и конкретности, уточняющие географию: тридевятое, тридесятое...

Это – про Россию.

Сказочно сказанное – почти патовая ситуация, путь в бесконечность, который являет собою не спортивно-шахматную «ничью», а скорее всего – «ничьё», нечто бесполое и неопределённое, вроде легендарной трактористки Паши Англиной.

Однако неопределённость местоположения России совсем не исключает присутствия существенных констант, лишь одной ей присущих постоянных величин. Лошадиная сила, птичий полёт, еврейский вопрос, традиционный SOS, традиционно же обрывающийся на слёзно-кровавом выверте: *sosite* наши души!..

Да вот ещё – и былъ былинная: «без руля и без ветрил». Но это уже совершеннейшая неправда! Есть ветрила. И руль есть. Правда, последний носит несколько иное название, уменьшительно-ласкательное: рулетка. Русская рулетка. Её даже в Парижах знают, от российских эмигрантов. Наугад, на случай, на везенье-невезенье, на авось, небось и накось-выкуси: одна пуля в барабане семизарядного нагана.

Это значит: «Была – не была!» Что, в свою очередь, является русским вариантом западноевропейской рефлексии «Быть или не быть?», переводимой на язык современных почвенников не иначе как «Кубыть аль не кубыть?»

## НЕХОРОШО

### Поэма

Художник Андрей Хан, будучи корейцем на русской почве, сидел в «японке» типа «Mazda», госномер К 481 МР 38 RUS, и, так вот сидючи, энергично двигался из Иркутска в Москву – вдоль России.

Дорога – это целый роман. Сухопутный роман.

На полях романа, то есть на обочинах автотрассы, уж не маргинальные птички-галочки наблюдались: народ.

Мужское население, как правило, выклянчивало денежку на водку. Старухи сидели на чём попало – картошку, лук и некоторые другие огородные произрастания жалобно предлагали на продажу. Ребятишки индейского обличья шумно требовали папирос и бутылочной газводы «Буратино»...

Остановился Андрей с краешку, у избы с дощатыми крестами на окнах – на лёгкий перекус с перекуром.

Невесть откуда девчонки набежали. Окружили «японку» разноцветной стайкою, стоят, переминаются, плечиками поводят, друг перед дружкой высказывают – на лучшее обозрение. Одна, которая, видать, побойчей, цыкнула на остальных, и те враз испарились, ровно их и не было. И остались они вдвоём, с глазу на глаз: Андрей и девчонка. Странная девчонка. Всё-то на ней не по росту, с чужого женского плеча, с чужой дамской ноги: босоножки на высоком

каблуке болтаются, жакетка из моды пятидесятых годов ниже колен свесилась, шляпка какая-то в форме ватрушки с вуалеткой... Стоит девчонка, на каблуках покачивается, глазками стреляет, под глазками синие тени, губы накрашены...

Андрей протянул девчонке бутерброд.

Та приняла угощение – за обе щёки – молниеносно, точно собачка.

Поглотила и спрашивает:

– И чо этот хлеб с колбасой? За просто так?

– За очень даже просто.

– А разве так можно, чтобы за просто так?

– Нужно, – ответил Андрей и разрезал хлебный батон не поперёк, как обычно, а повдоль, получилось вдоволь, удовольствие длинное и вкусное, с десятком колбасных кружочков.

Девчонка жевала и усиленно думала, думала...

– Вообще-то, – сказала, – я же должна заработать. Чо на халяву-то? На халяву нельзя. Поэтому ты, дяденька, трахни меня, а потом ещё чего-нибудь дай. Так будет правильно.

– Так неправильно, – сказал Андрей.

И тут на глазах у девчонки слёзы появились... Отбежала на вихляющихся каблуках в сторонку – и завизжала:

– Ты чо, чурка, совсем пидарас? Ну, бля, попался блин...

И убежала, сняв босоножки.

Андрей покурил, сел в авто. Машина взревела и рванулась в Москву. Там Андрея дожидалась дочка, младшая, начинающаяся художница, которую он год назад вывез в столицу, в большой сверкающий мир, для новой жизни, настоящей. А вторая дочка осталась в Иркутске... Между той и другой – целая пропасть... Длинная дорога. Сухопутный роман. Россия.

## НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО МИМА

В цирк водят детей и солдат. Взрослые ходят сами. Вот и я – сам.

Жил я тогда в Иркутске.

Это было в самом конце 60-х. Или в самом начале 70-х. Конечно, можно было бы и уточнить – для пущего порядка. Но так ли уж это важно? Важно, что была зима.

Замороженное время. Чёрно-белые дни. Они как будто не засчитываются в жизнь. Такие дни прекращают рост. В такие дни человек не взрослеет. Он живёт, но старение его останавливается. Дни – «не считово», как ребяташки говорят, обнаруживая ошибку.

Был центральный почтамт, пропахший сургучом. Междугородняя телефонная станция, откуда я почти каждый день да через день названивал. И была тоска. Чёрно-белая.

Выходил. Курил. Три ступеньки вниз. Пятьдесят пять шагов пересечения небольшой площади с замёрзшим бассейном, который никогда не купал золотых рыбок. Мимо бронзового дважды Героя Советского Союза генерала Белобородова. Пять ступенек вверх. Стеклопакетные двери. За ними был уже другой мир, разноцветный, блистающий.

На входе меня узнавали, эти добрые женщины в синей униформе с золотыми галунами. Уже шло представление. А я шёл в пустынный буфет. И там меня дружелюбно привечали:

– Вам как всегда?

– Мне как всегда.

Я брал пять рюмок коньяку на одной тарелочке и, не спеша, выпивал. Одну за одной.

Потом походкою следопыта на тропе войны шёл к людям. Я любил слушать цирковую музыку. И ещё мне нравилось смотреть на публику из-за кулис. Насчитал что-то около полутора десятка разновидностей смеха – и бросил: пустое занятие, безразмерное, потому что смех и слёзы – это что-то вроде дактилоскопии, но – не пальчик для смеху напоказ! – а когда такое творится: вон человек, вон душа, и душа эта – вон! на люди! одинокая душа множественного человека... Там, за кулисами, мы и столкнулись. Потом были посиделки и прогулки, почти ежевечерние, в течение всего гастрольного русла.

Директор Иннокентий Романович допускал меня в свою, «директорскую» («блатную») ложу. И зам его, Иван Васильевич, жаловал и составлял компанию. И добрейшая

администраторша Маргарита Михайловна не угнетала. И в буфете было как всегда.

Мне было тепло – благодаря ему, клоуну.

Это был странный клоун. На его лице жили два разноцветных глаза. Штаны существовали на лябочке, как у Гавроша и Гекльберри Финна.

Это был человек, похожий на сей час.

Когда-то, на зорьке своей клоунады (в Новосибирске) ему говорили: бездарный, несмешной, плохо держишь паузу...

Он молчал. И в молчании своём оказался равным Чаплину, великому немому.

В газетах писали: «клоун с осенью в душе».

В народе – из тьмы веков аж досюльных пор докатилось: «душа болит, горит, не выносит...»

А клоун развёртывал душу свою так, как развёртывают знамёна, но размахивал ею, точно флажком сигнальным – то белым, то красным, то зелёным...

Душа, действительно, ничего не выносит. На то она и душа, а не вор и не сор. Она всё терпит, всё хранит: от – до.

Сергей Параджанов снял клоуна... Стоп, мотор! Отмотаем назад словечко дурацкое «снял», за которым следует всенепременное: за что? Снимают с должности руководящих «кадров», снимают (кадрят!) девок для мясистых удовольствий, снимают «на паспорт» в моментальном фото-ателье, снимают небывалый урожай... Сергей же Параджанов, получается, не снял, а поставил клоуна в кинокартину «Тени забытых предков». Там есть такой эпизод: киноперсонаж с алым зонтиком – в событиях давних-давних лет, когда не было ни Параджанова, ни кинематографа, ни клоунады, ни зонтиков. Но режиссёр любил клоуна. А клоун любил зонтики. И режиссёр перенёс зонтик в ту эпоху, когда, конечно, мочилось небо, но зонтиков ещё не придумали... Киноперсонаж вручил алый зонтик возлюбленной всаднице. Так!

Может быть, это Параджанов насмешил публику? О, нет. Он был серьёзным человеком. Он говорил:

– Я себя под Лениным чищу!

Портрет вождя висел над умывальником.

Укладываясь спать, Параджанов укрывался плюшевым переходящим красным знаменем.

Он принимал жизнь всерьёз. Как, впрочем, и другие, те, кто любил клоуна: Ролан Быков, Василий Шукшин, Олег Даль, Елена Камбурова, Владимир Высоцкий...

Душа-то клоуна была стойкой. Сердце – остановилось: 25 июля 1972 года. В тридцать семь роковых лет.

Высоцкий рыдал (в Париже) и ушёл в запой. Умер он в тот же день, только позже, в 80-м.

Могилу обозначили: «Леонид Енгибаров»...

Вот так он и смешил нас, клоун, - не по-чёрному, не по-белому, не по-рыжему – по-человечьи, чтобы стало хоть чуточку легче жить в этом исперченном, испорченном, исчерпанном мире, в тени забытых бытом предков, униженных и оскорблённых...

## ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Странно понимало Центральное телевидение СССР развернувшуюся смертельную борьбу ЦК КПСС с алкоголизмом. К итогам этой войны в 1985 году можно отнести немало блестящих побед.

Из фильма «Мама вышла замуж» телевизионщики вырезали отличную сцену, где герой в борьбе с самим собой и друзьями по пьянственному делу отказывается после получки от традиционной выпивки. Хотя эта-то сценка и есть, с точки зрения блюстителей советского порядка, самой настоящей антиалкогольной пропагандой. Или – как там у них? – агитацией.

Дальше: из программ ЦТ выбросили фильм «Дело было в Пенькове». Ну, как же не выбросить! Ведь там Алевтина самогонкой торгует! А из превосходного «Мимино» вырезали позарез необходимую по сюжету сцену в ресторане... Если дело пойдёт такими темпами, то скоро телевидение доберётся до «Иронии судьбы» и толстовского «Живого трупа». Это точно! Ведь вырезали же на радио «Застольную» из... «Травиаты»!

О, моралисты в сером! О, педели в пиджаках и прочие спецы по внутренним делам государства!

## ОБНОВЛЕНЕЦ

Язык до Киева доведёт.

«Мною разработана теория коммунизма, в которой марксизм занимает всего 10–15 процентов содержания, остальное – новизна. Но дурацкий путч всё перепутал. Ищу спонсора, чтобы издать работу с прицелом на страны Запада, где коммунистические и рабочие партии задыхаются от отсутствия новых теоретических разработок... Евгений Бабиненко, тел. в Киеве: 265-01-50».

Вот такое бесплатное объявление в газете «АиФ» (№40, октябрь 1991 года).

Звоню в Киев.

– Извините, – говорю, – а вы, Женя, не того?

– А что, – отвечает, – очень похоже?

## НЕОБХОДИМЫЙ ЛИШНИЙ

Високосный год. Високосное поколение. Что-то в избытке. Чего-то не хватает... Недостаточная сердечность? Излишняя сосудистость по-русски, без закуски? Малое наличие. Большое отсутствие.

Собственно, тут никаких открытий нет. В стране подавляющего большинства всегда чего-нибудь не хватает. Этим большинством может быть разное-многообразное: от копеечного патриотизма до забюллетеневших голосов.

Откуда у високосного года взялась такая роскошь, как – на один день больше, чем у любого нормального?

Лишний день високосного года копится в течение четырёх предыдущих, медленно и постепенно. Четыре года «сбрасываются» по одной минутке в день, по полчаса в месяц, по шесть часов в год. И всё это для того, чтобы потом прибавить новому году одни лишние сутки.

Эти лишние сутки люди привыкли прибавлять в феврале, поскольку, вероятно, февраль всегда производил впечатление ущербного, обиженного, обделённого. Если бы не эта извечная людская жалость, сопряжённая с идеей торжества справедливости, то день високосному году следовало бы прибавлять к декабрю, и тогда новый нормальный год люди встречали бы 32 декабря.

Их не любят, эти годы високосные. Они считаются несчастливými. 29 февраля издревле считалось на Руси плохим днём – днём Касьяна-злопамятного, недоброжелателя, немилостивого и скупого. Полагали, что в этот день гибнет скот, и человеку жизнь тоже не в радость. Короче говоря, – лишний день.

Но, с другой стороны, нам всегда не хватает именно дня: чтобы сделать то, другое, третье, пятое, десятое... Нам всегда катастрофически не хватает именно дня, одного дня. Оттого високосный год – находка именно для нас, кому постоянно нужен лишний день.

Конечно, в этот лишний день может случиться всякое: горькое, нелепое и безобразное. Наверное, так. Но вот что говорил поэт Михаил Светлов: он, дескать, вполне может прожить без необходимого, но никак не обойдётся без лишнего.

## ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Красное словцо на Руси исторично.

Вот расхожее: бей своих, чтобы чужие боялись.

А вот и пример из истории. Начало XIV века. Русь под железной пятой Золотой Орды. При этом Московское княжество жёстко соперничает с Тверским за первенство. У Твери это получается успешнее. Но вот в 1327 году в Тверь вошли золотоордынцы и учинили там разбой. Тверичи встали от мала до велика – и перебили разбойников.

Что сделал Московский князь Иван Калита? Он незамедлительно донёс в Орду о разгроме в Твери, присоединил свою дружину к новым карателям и отправился воевать против

Александра Михайловича, тверского князя. В результате – Тверь сломлена.

Что получил Иван Калита? Ослабил соперника. Завоевав ханское доверие, сам Калита стал собирать дань с русичей и отвозить её в Орду; тогда это называлось: «получил ярлык». Так или иначе, Москва начала усиливаться.

А дальше? А дальше – внук Калиты выиграл Куликовскую битву.

Вот так она и собиралась, земля Русская.

## МЕРА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

В прославленном Ленинградском военном Краснознамённом училище часто бывали знаменитые гости. И гостям хорошо, и молодым курсантам – польза.

Однажды на встречу с будущими офицерами прибыли Главный маршал авиации Александр Александрович Новиков и поэт Михаил Александрович Дудин.

Маршал авиации говорил об авиации, поэт говорил о поэзии и читал стихи. В конце встречи, как заведено, – вопросы и ответы.

Поднимаю руку.

– Прошу вам слово, – сказал ведущий эту встречу секретарь училищного парткома полковник Толочко.

– У меня вопрос к товарищу маршалу. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что после войны вас арестовал маршал Берия и пытал компромат на маршала Жукова?

Секретарь парткома заёрзал, заоглядывался... Маршал Новиков долго собирался с мыслями и ответил неожиданно коротко:

– Правда.

– А теперь, – говорю, – у меня вопрос к Михаилу Александровичу. А правда ли, что это вы лично сочинили стишок про Маланью?

– Ну, это несерьёзно, – сказал товарищ Толочко.

– Ну, почему же, – ответил поэт. – Про Маланью – это всегда серьёзно. Однако же, про какую Маланью? Уточните.

И я декламирую:

*Я любил тебя, Маланья,  
До партийного собрания,  
Но наступили прения,  
И изменилось мнение.*

– Правда, – улыбнулся поэт. – Но это было лет десять назад.

Полковник Толочко по-прежнему переминается задницей на стуле и начинает нервничать.

– Есть, – спрашивает, – ещё вопросы?

И на меня глядит. Он всегда так глядит, когда хочет сказать: поактивнее, товарищи, поактивнее...

– Есть, – говорю. – А правда ли, Михаил Александрович, что партийная тема в ваших произведениях исползуется как-то очень оригинально, я бы даже сказал, новаторски?

И опять стишок читаю с выражением:

*Выхожу один я на дорогу,  
Предо мною даль светлым-светла,  
Ночь тиха, пустыня внемлет богу...  
Это всё нам партия дала!*

– Правда, – хохочет поэт. – В соавторстве с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

– Добре, – говорит полковник Толочко, ядрёный хохол, когда гневается, так сразу же на родную мову перескакивает. – Бачу, шо мы трошки забалакались.

Но я снова руку тяну вверх.

– Ещё, – говорю, – маленький вопросик имеется. К товарищу маршалу. А правда, что...

– Неправда! – возразил полковник. – Сидайте назад, товарищ курсант, и не увлекайтесь эгоизмом. Другие может тоже хотят вопрос задать, а вы им не даёте... Но у нас уже времени нэма. И на этом месте дозвольте сказать спасибо за встречу товарищу Главному маршалу и товарищу поэту, шо пришли до нас...

На следующий год страна отметила 50-летие Советской власти. Наш выпуск был, таким образом, юбилейным.

## ВЕЛИМИР НАПРОРОЧИЛ...

День 21 декабря 1991 года – необычный день. 21.12.1991 = цифровой палиндром. Многозначительный и столь же забавный перевёртыш.

В этот день произошло затмение Луны... «А луна канула», – как стихотворно определил Андрей Вознесенский.

Вдобавок это был день зимнего солнцестояния и подписания алма-атинских соглашений о Союзе независимых государств (СНГ). Вместе с луной канул и СССР, превратившийся в сочетание из трёх букв.

В этот же день близ Курского вокзала в Москве на крыше дома появилась светящаяся «бегущая строка»: «А роза упала на лапу Азора». Сбылось, таким образом, пророчество велемудрого Велимира Хлебникова, «Председателя Земного Шара», который предсказывал, словно бы видя воочью, как над Москвою сначала зажётся «газета из искро-письма», а потом в небе огненными буквами побегут строчки стихов... И вот – нате вам! Вместо тошнотворной рекламы «Летайте самолётами Аэрофлота!» московское небо озарилось экзотическим: «Аргентина манит негра»...

## ДРУГАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

*Памяти поэта Сергея Иоффе*

Смерть - как война: все её ждут, все знают о её неизбежности, но она приходит всегда неожиданно, врасплох, «вероломно».

...Кажется, совсем недавно отгудел-отсвистел мировой футбольный чемпионат в Италии. Надо ли говорить, чем было переполнено в те горячие денечки (точнее, ночи!) сердце крутого российского болельщика! Блестящие финты Марадоны, пушечные голы Маттеуса, сокрушитель бастионов Ван Бастен, смуглый Гуллит, стелющийся по земле в стремительном беге... А эти чёрные пантеры Камеруна! О, эти чёрные пантеры... Они играючи шли в атаку и, играючи, разносили вдребезги всякие

хитромудрые оборонительные системы - и европейские, и латиноамериканские, и вёл их в бой русский парень, тренер по фамилии Непомнящий, которому, едрёна мать, не нашлось-таки места в спортивном мире своего Отечества, в союзе нерушимом, который сплотила навеки великая Русь...

Передачи шли в прямом эфире глубокой ночью. Еле-еле душа в теле марки «Горизонт-206», однако всё же светился, как миленький, и звуком непорочным душу ублажал. Чай, кофе, рюмочка под левой рукой, сигареты со спичками - под правой. Что ещё потребно для полуторачасового счастья? Ничего. Кроме, пожалуй, одного-единственного: счастье настоящего болельщика на том и держится, что тихая его болезнь и умопомешательство - отнюдь не тихие, и ему, болельщику, позарез поорать надобно - это в крайнем случае и с одной стороны, а в крайнем случае с другой стороны должна иметься возможность взять соседа под локоток и аккуратно поинтересоваться: мол, как вам, сударь, показался персональный проход по левому краю игрока под номером девять?

Ах, телефон, телефон! Божественная игрушка. Блажен, у кого в болельщицком деле поставлена телефонная точка.

Со связью же у нас, в России, всегда такой расклад, будто «мизер втёмную». Есть в нашем городе люди, которым можно, нужно и даже необходимо звонить или услышать от них звоночек в ночь-полночь, они всегда готовы ко всенощной беседе, но у таких людей, как правило, в доме отсутствует эта самая божественная штучка с окоченевшими кулачками. А ещё есть в нашем городе телефоны, их множество, но тревожить их нельзя: у их владельцев с утра ответственное совещание, у них очередной розыгрыш печени, у них чай с лимоном, кофе с коньяком, у них женщина с изюминкой - и хрен с ним, с вашим, извините за выражение, Марадоной...

Слава Богу, всё у нас благополучно сходилось с моим полуночным сопереживателем. И вот после прорыва Диего Марадоны, закончившегося великолепной плюхой в верхний угол ворот, «в девятку», я подпрыгивающими пальцами накручиваю телефонный номер - надёжный, как напарник в пулеметном расчете.

- Ну что, видел?

- Видел.

- И как оно?

- Фантастика. Чудо. И очень, кстати, философично.

- Погоди... Что там... философичного?

- А ты к окошку подойди!

Подхожу. Смотрю - и вижу, что смотреть не на что. Чернота, как у негра в портфеле. Редкие огни нашего большого наэлектризованного города. Круглая луна на крюке башенного крана. Таксист зеленым мигнул. Коты шабашничают на соседней крыше. Опять луна...

- Ну что, видел? - спросил Сергей.

- Спрашивай дальше, - отфутболиваю вопрос.

- И как оно тебе показалось?

- Что оно-то?!

В результате стремительного, в темпе Николая Озерова, разбирательства: кто, что, как и где увидел? - выяснилось: я наблюдал мяч, влетевший в сетку ворот под вопль всех пяти континентов, а Сергей в это же время единолично обнаружил на телеэкране индифферентную луну — над итальянским стадионом с невысказанным, ослепительным прожектёрством, в небе, по-южному черном, хотя по-тамошнему времени над всем итальянским «сапожком» был ещё далеко не вечер...

- Это же совершенно невыносимо, - сказал Сергей, - чтобы спокойно, как ни в чём ни бывало, жить с таким лунным фокусом и видеть его одновременно как бы с двух точек зрения: и над Италией, и над Иркутском! Понятно тебе?

- Ладно уж, - ворчу. - Наливай. Примем. К сведению. - И не сказал, конечно, что с точки зрения поклонника кожаного мяча довольно-таки странно, глядя на мяч, замечать луну и вспоминать о земле; именно потому не сказал, что, во-первых, призывно голубел «Горизонт-206», а, во-вторых, неожиданно вспомнил, что ангелообразный и насмешливый поэт Артюр Рембо вытворял и не такие фокусы, превращая слезу, плевок и осколок бутылочного стекла - в звезду, в цветок, в алмаз...

И только много позже я подумал: кто же он, мой друг Сергей? И если все-таки болельщик, так за что, за кого, о чем болеет он? С одной стороны, несомненно, - мячик: кожаный,

круглый дурак, надутый пустотой до фигуры совершенства, ну, чем не характеристика для иного человека? С другой стороны, - и впрямь похоже на планету людей, которые еще не научились любить друг друга. А между «двумя сторонами», словно мембрана-посредница, - луна в окне, и сбоку бантик серебристого облачка...

Прошел год после его смерти. Уже не больно. И ничего новенького под луной. Всё старенькое. Люди, телефоны, «Горизонт-206»... и только вместо припухшего на наркотиках Марадоны - марафоны телевизионно-благотворительные, и вместо пантероподобных молодых людей Камеруна - декамероны человекообразных нардеповских игрищ. К слову сказать, в нашем городе нет иных горизонтов, кроме теле. Это печально. Вокруг только стены, крыши, антенны, плакаты.

Я смотрю в окно, в рождественскую ночь, и по-старенькому не спрашиваю ушедшего: как там? что там? - в том мире, не таком уж, наверное, и потустороннем, ежели его заселяют художники своими персонажами, рождёнными - по примеру олимпийского Зевса - из головы; я не спрашиваю: «как там?», потому что догадываюсь: в том мире Сервантес встретился с Рыцарем Печального Образа, и Блок - с Прекрасной Незнакомкой, и Гоголь Н.В., конечно же, не избежал вторичного лицемерия «мёртвых душ»...

Я не спрашиваю. Я отвечаю. Что старенького? Да много, оказывается, чего. Дом твой, Сергей. Жена, дочь - кукушкины слёзки, анютины глазки. Что старенького? Вот карандашик у меня старенький, «Кохинор» - называется, твой, между прочим, но уже настолько крохотный, что его уже и карандашиком-то назвать неудобно - чинарик, обгрызанный до ногтей. Что ещё? Кабачковые оркестрионы по-старенькому наворачивают что-то такое среднее между «семь-сорок» и «Сулико» - право слово, благостная музыка для всех нас, братьев Иосифовичей, одних - по линии фантомного папы-плотника из Назарета, других - по линии отца народов товарища Сталина, сына сапожника, однако же те и другие по горло сидят в одной общей истории, в общей судьбе, поменявшей местами Нагорную Проповедь с Нагорным Карабахом, который вороватые советские абреки обрекли на языческое заклятие... На повестке дня - арабы и бессарабы.

Злоба дня - компроматы и компромиссы. По-старенькому тянутся к югу косяки грустных граждан по специальности «еврей». И вслед им машут беленькие и чёрненькие охотнорядцы, попутно канонизируя всероссийского блядуна Гришу Распутина в чин святого великомученика и выщипывая при этом цитаты не столько из сочинений Фёдора Михайловича Достоевского, сколько из его бороды. Это больно. «Господа, - кричал он громко всем, - князь утверждает, что мир спасёт красота!»... И получается странность: кричал Ипполит, утверждал Мышкин, а в итоге выходит, будто сам Фёдор Михайлович предъявил миру категорический, но мало что объясняющий императив. О, эти бедные спасатели мира! Они сегодня сплотились во фронт, но по-старенькому не замечают и не хотят замечать, насколько далека фраза Ипполита от подлинно достоевского понимания красоты: «В этом лице... страдания много...»

А что, собственно, с нас взять? Ведь не напрасно же сами о себе вещаем: крутимся-вертимся, как шарики. А шарик наш донельзя старенький. И фантазии старенькие. Вот, например: ежели придумать эдакую вселенскую спицу, да проткнуть ею наш старенький шарик насквозь, то и выйдет та спица - будто ось - от подъезда дома твоего с одной стороны, а с другой - где-то в самом центре озера Чад, близ Камеруна, вокруг которого по-старенькому просиживают подошвы эти самые чады, чадушки, чадуношки человеческие, все как один по-хамитски плоскогубые и сугубые гении в своем футбольном и поэтическом ганнибальстве, и все бы ничего, да только уж больно кушать хочется - близ озера... И это очень печально. Ибо всякий дух дышит - где хочет. А всякий человек дышит даром; дышит - и не знает того, что всякий человек дышит даром - не твари, но Творца, даром ненапрасным, неслучайным, творительным: от Набокова до гостиничных «этажерок»; и когда последние, эти свирепые дежурные бабищи на этажах, в ночь-полночь заваривают китайский чай и полупьяненьким, поматерински жалостливым шепоточком уговаривают какого-нибудь индийского гостя унять на фиг кинематографическую страсть к её хлебосольным грудям и автономно ложиться баиньки, а радж капур шапки не снимает, ему холодно, он

задубел, он хочет «хинди-руси бхай, бхай!», то есть немножечко горячего чаю во имя дружбы народов... а она ему: ага, пхай-пхай тебе, джавахарлай нерусь, на всех вас не напхаешься, и не стыдно тебе, рябиндранат кагор? - и по шапке его - ладошкой нежною... а он ей - пальцем на ухо обмороженное... а она ему - чаю чашечку и три кусочка рафинада... а он ей - гостинчик чистосердечный, от души, за просто так: непечатую упаковку презервативов, ужасно дефицитных в нашем электрическом городе и столь же усастьих, как веселый бог Бодхисатва... и она сердится, подобно богине красоты Лакшми на лотосе материнской любви... вот, поговорили, называется, с одной стороны - с другой стороны... - и вот тогда я, слушайте пожалуйста, тогда я совершенно точно уверен: исключив из мира ненависть, мы навсегда останемся с людьми, которые или любимые, с одной стороны, или же просто добрые соседи - с другой; тогда я знаю, что жив ещё в мире человек избыточный: не из быта он, упаси Бог, но от избытка души, переполняющей плоть, и нет ему, избыточному человеку, ни переводу, ни перевода, ни особенной разницы где играть рифмами или сочинять футбольные экспромты: в иркутском ли предместье Марата или на Монмартре, в Глазково или в туманном Глазго, в советском колхозе или в израильском киббуце, на берегу Галилейского моря, которое, как и Байкал, вовсе не море, а всего-навсего озеро на древней земле Капернаума, города Иисуса Иосифовича... а над городом этим глухо бухают сверхзвуковую сагу о форсаже всепогодные истребители, ведомые лучшими в мире военными лётчиками, и это тоже очень печально, потому что небо над городом постаренькому синее-синее, облака белые-белые, и солнце красное, и луна без ущерба, но с прежними фокусами, а с земли до самого неба восходит незримиыми колечками запах свежeweыпеченных «хлебов предложения» - плодов пекарей и поэтов; цикают цикады; олеандры и магнолии исходят обморочным ароматом; с балконов пятиэтажных «хрущоб» горланят во всю евангельскую петухи, дождавшиеся своего урочного часа, и если тут же, у подъезда, где стоит детская коляска, приложиться чутко к земле, то можно услышать, как журчит нефть в Аравийских песках, и бедуины в белых одеждах

расстилают коврики и молятся во славу Аллаха, перемежая святое дело по пять раз в сутки кофейком с кардамоном...

Такая вот материя получается - тонкая: дар случайный, земля, луна, космос и мы в космосе - мячики катаем, дрожим печально-радостно в ожидании крупного счета, печально-радостно в ожидании пенальти, печально-радостно в ожидании гола, иногда - в собственные ворота. И этак - с молодых ногтей и до седых волос, что казалось когда-то равнозначным вечности, дескать, лет до ста расти нам без старости, но сесть мы начали лет с двадцати, по Мафусаиловым меркам рановато, всё торопились поскорее заглянуть за грань, за кулисы, в Зазеркалье, по ту сторону, и шрамы легкомысленно называли шармом; при жизни суетной и подчас негодяйской, никогда мы вслух не говорили о вечном чуде гармонии мироздания внутри и вне человека - ибо слишком высоко; и не отваживались на познание кощеевых кощунств, сидящих на кончике иглы, - ибо слишком низко; и никакой Змей Горыныч-героиныч не соблазнил бы нас уже надкушенным яблоком искушения, догадкой о том, что мир, сотворяемый поэтом, не столь уж многим отличается от мира, созданного Творцом: у того и другого в начало положено Слово...

Год прошел. Уже не больно. Уже не пойдешь в людное место и не прикнопшишь маленький листочек с большими буквами: ИЩУ СЕРЕЖКУ... Это ведь тоже каждый прочтёт по-разному, и с одной стороны видится, и с другой стороны глянется: то ли к девочке не пришёл мальчик, накануне обещавший подарить ей звёздное небо и луну впридачу; то ли «этажерка» потеряла в толкучке то самое, что - из ушка, для милого дружка, золотое-серебряное, с бирюзовым камушком или без... Уже не больно. И скорбный скорб, и муки совести, и великопостные очищения, и постскриптумы запоздалые - всё это уже старенькое, было до нас, раньше нас, из предшествовавшего, до опыта, априори. Апостериори - Пастернак: «И постнику тошно от стука костей». Апостериори: апостольское одиночество. Апостериори: не надо сгущать краски, за нас это сделает вечер. Апостериори: кукушка вечерняя не на роковых яйцах сидит - на часах; распахивается дверца - «ку-ку»: это значит ку-ку, пора вычёркивать из

записных книжек номера телефонов, на которых за полночь можно повеситься, чтобы не терзать себя вопросами: за что, о чём, о ком болеют твои великодушные друзья?..

29 января 1993 года

## ВАЛЕРА И ЧИНГИЗ-ХАН

У моего друга живописца Валерия Мошкина есть на Байкале дачка. «Дачурка», — называет он её по-отцовски. На даче огород. На огороде — могила Чингиз-хана.

Среди всевозможных типичных восточно-сибирских произрастаний — лука, морковки, чеснока и прочей немудрящей пареной репы...

— Да, — говорит Валера, — могила потрясателя Вселенной. А что?

Говорит со спокойной, не археологической, убеждённостию человека, посвященного в некую тайну, недоступную простым смертным вроде меня.

— Может тебе, Валера, спьяну померещилось? — спрашиваю.

— Зачем усложнять; — отвечает. — Пьянка сама по себе. Чингиз-хан по себе сам. На то он и хан.

Ах, живописец ты мой ситцевый!

Если бы он, этот живописец, был факиром хотя бы на час, фокусником, магом, волшебником, колдуном, чародеем, на худой конец, обыкновенным мошенником... — уж он непременно щёлкнул бы пальцами, или — волосок из бороды, или абракадабру сквозь усы — и всё это для того, чтобы явить мне собственной персоной владыку воинов во всём своём степном великолепии, обожжённого солнцем, продублённого пыльными ветрами, пропахшего кожей, полынью и конской мочой... по правую руку — черноглазый сокол, по левую руку — желтоглазый ястреб...

Но Валера не щёлкал и не выдёргивал.

Он сказал:

— Данте видел ад. Я видел Чингиз-хана.

После чего написал портрет своего видения.

Пришли в мастерскую знатоки — историки и музейщики.  
Сказали:

— Похож.

Наутро портрет исчез.

Рама осталась. Натянутый на подрамник холст остался. А изображение — как корова языком слизала.

— Обиделся Чингиз-хан, — объяснил Валера. — Потому и ушёл.

— На кого обиделся? На тебя?

— Почему на меня? На этих... Тоже мне, блин, знатоки! Чингиз-хан ни на кого не похож. Даже на самого себя.

На полу, у подножья станкового мольберта скорчился жалкий и бестелесный дорогой монгольский халат. Тот самый, шёлковый — с полотна.

## ПРО ЧТЕНИЕ С АМИНЕМ

Такого автора надобно непременно изуковечить. Он делает для этого всё возможное и невозможное, а мне остаётся лишь обильное цитирование.

Поэт Ростислав Филиппов в 1981 году написал поэму «Москва–Чита»: своего рода размышления на все и всяческие темы во время, время досужее, авиационного рейса. В сочинении есть такие замечательные строки:

*Читайте Ленина, студенты!  
О том, что нужно в жизни вам,  
И разучёные доценты  
Не скажут лучше, чем он сам...  
Читайте, смысл не пролистайте.  
В одних цитатах жить нельзя.  
Пока вы молоды – читайте,  
Читайте Ленина, друзья!  
...Я ведь не только призываю:  
Самостоятельность любя,  
Я тоже Ленина читаю.  
Неторопливо. Про себя.*

За такие стихи присуждали премии!  
Прошло время. Время родило новое поэтическое настроение.

*Читаю библию, друзья,  
И снова древние пророки,  
То утешая, то грозя,  
Преподают свои уроки...*

*Так распинайся на листе,  
Пиши свои стихотворенья  
И помни — ярость в правоте  
Закваска всякого прозренья.*

*Ты объясняй, гори и стынь,  
И сомневайся напоследок:  
А вдруг не так? А может, эдак?  
И как же всё-таки? Аминь.*

Автор тот же, правда – уже шестидесятилетний, год – 1997. И стихотворный размер не изменился, и педагогически-наставительный пафос. И Союз писателей России, обогомоленный бывшими истовыми коммунистами-ленинцами, за такие стихи вручает премии вроде «Ангельского гласа России».

Что же произошло? Об этом стоит порассуждать. И, разумеется, не на скорую руку. Потому что вопросы возникают самые вопросистые из всех вопросов. Но самым главным из них является, пожалуй, вот что: степень ответственности.

Сомнения позволительны одиночке. Позволительны и полезны, история это доказала. Каждый сомневается по-своему. Так кто же, в таком случае, «друзья народа», и к чему они призывают очередную порцию молодых друзей? Возможно ли появление праведников из бывших «правдистов»? Сомневаюсь. И вот уж хрена с два отдам любому краснобаю это праведное пространство – всё подвергать сомнению.

На стол Декарта, господи!

## ФОНТАН НЕЗАТЫКАЕМЫЙ

Сквер (он же и площадь) имени Кирова – самый центр.

Популярный пуп города.

В положенный период функционирует фонтан.

Также функционируют скамейки для сидячего отдыха трудящихся.

Лежать строго запрещается.

Также запрещается: сорить, ходить по газонам, выводить собак, разжигать огонь, купаться в бассейне фонтана. Предусмотрены штрафы.

Чистая вода в бетонной чаше подпрыгивает беззаботно и тем самым располагает к задумчивости, к душевному обмену мнениями на фоне фонтана.

При этом, фон – скорее не вид, но звук.

Пустая стеклотара культурно складировается в чугунные урны.

Питейные люди голосуют вежливо, по очереди.

Пьют в меру. Но иногда и не очень чтобы в меру.

Имя товарища Кирова тоже кое к чему располагает, плавно перетекая в имя существительное, в имя прилагательное и в энергичный глагол с вытекающими последствиями.

Но ведь не за ради же кирять сюда народ стекается!

Не за ради.

И что же из этого радия вытекает?

Культурная коммуникация.

## ОДНАЖДЫ, В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Источник, ближайший к фонтану, однажды вступил в общий разговор об экзистенциализме:

– Сидят как-то раз на Пасху поэт Ростислав Филиппов и иркутский владыка Вадим. Сидят и квасят...

– Пьют?

– Ну. А что вы удивляетесь? Пьют. Кагор. Церковное вино. Кровь господня. Однако поэту напиток не по вкусу. «Кровь

господня, – говорит, – не водка, много не выпьешь. Да ведь и мы разве кровопивцы какие-нибудь? Не-а!»

Православный пастырь и так и этак углы сглаживает, компанию поддерживает, а всё без толку, не получается с собутыльником ни духовного, ни питейного контакта. А без контакта – разве ж бывает застолье? Наконец, поэт перестал говорить намёками и рубанул с большевистской прямоотой, подержинскому:

– Если бы мой начальник воскрес, так я бы ящика водки не пожалел выставить!

Епископ пискнул, потом крякнул и вытер бороду. А что ему ещё оставалось делать?

## ОТСЮДА – И В ВЕЧНОСТЬ

... вот так и говорим о нём, как о живом. Может быть, и услышит за тридевятью пространств, и на потусторонний манер порадует, что его вспоминают.

А был он, грустный художник-карикатурист Гена Базюк, идейным и принципиальным лентяем, каких ещё поискать надобно, да и то не сразу найдёшь. В Иркутске, по крайней мере.

И вот однажды известный самодельный мастер-золотые руки Гриша Верхотурцев вошёл с Базюком в творческий альянс: понадобились мастеру какие-то рисуночки для исполнения очередной задумки – под заказ, разумеется.

– Сделаем, – пообещал Гена. – В чём вопрос...

Вопрос оказался в том, что растянулось это художественное дело на неделю, потом на вторую, третью... Месяц прошёл, другой нарисовался...

Заявляется вдруг Гена к Верхотурцеву. Трясётся весь, как одноимённая птичка. Борода клочьями свалаялась. В глазах тоска.

– Григорий... друг...

Мастер решил брать быка, то есть Базюка, за рога, то есть за горлышко, за похмельный синдром.

– У меня, – говорит, – в холодильнике стоит совершенно девственная бутылка водки по имени «Столичная». Подойдёт ли, не знаю?

– Григорий! Друг!

– Друг, друг... Но истина дороже, потому что она не в вине. Сначала садись за стол и нарисуй мне всё то, что ты пообещал.

– Григорий! Это жестоко!

– А не жестоко с твоей стороны меня за нос водить полтора месяца?

Устроился за столом Базюк. И сразу занял: пёрышко ему надо, специальное, чертёжное, №41... Дали ему пёрышко. Крутит его Базюк в пальцах так и этак, морщится, хмурится, щурится: тупенькое, дескать... Григорий заточил пёрышко на алмазном колечке... А тут Базюку ещё бумажка понадобилась, да не простая, а ватман... Выложил мастер на стол стопочку аккуратно нарезанных листочков, да не отечественного гознаковского ватмана, а ручного отлива – от французской фирмы «Торшон» и голландской «Рембрандт».

– Ну, всё, что ли? Рисуй, маэстро.

Кряхтел Базюк, стонал Базюк, вздыхал призывно и протяжно... Но что ему ещё оставалось делать? Только рисовать.

И ведь нарисовал-таки! Потом выпил бутылку и упал. До утра.

А рисунок остался. Навечно.

...Между прочим, вот так и животрепещет российское меценатство. На том оно стояло. И стоять будет. Покуда не упадёт. А потом снова встанет, на манер известной мудрой игрушечки, называемой в разные времена по-разному: то «ванькой-встанькой», то «ивашкой-неваляшкой», то «иванушкой-интернейшнл».

## СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Цвет и свет в русском языке сцеплены идеальной рифмой.

Такая словесная связь многозначительна и важна не только для поэта.

Для художника она, может быть, важнее.

Цвет – видение живописца.

Но любимым научным детищем великого художника слова Гёте стала «Наука о цвете» – теория хроматики.

О природе света рассуждал Ломоносов.

Два гения, совмещавшие в себе и поэтов, и учёных-естественников.

Уникумы, они и в изобразительном искусстве знали толк совсем не дилетантский.

Впрочем, не нужно быть гением, чтобы на обыденно-практическом уровне сообразить, что такой человеческий орган, как глаз, служит человеку со скоростью света, а вот рука с грифелем в пальцах – увы, несравненно медлительна.

Ах, если бы она попевала за глазом...

Но «ах» просто так не приходит. Даже к гениям.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – восклицал Гёте.

Но мгновение в безмерном времени – всё равно что иголка в стогу сена: не сыщешь. Мгновение прячется в пустячке, в крошечном отрезке времени, рассчитанном на один взгляд. Так существует короткая строка текста, рассчитанная на долготу дыхания – одного вдоха или одного выдоха.

И до дагерротипов на серебряных пластинках во времена первых охотников за прекрасным мгновением было ещё далеко.

...Зачем-то художник Валерий Мошкин, одним из первых иркутских художников, выходил на прибрежный бульвар вдоль Ангары и устраивался в тенёчке, чтобы не мешать гуляющей публике, с нехитрым своим снаряжением: портативный мольберт с десятком прикреплённых листов чистого ватмана, со складным стульчиком, чтобы самому сидеть, и со вторым таким же стульчиком – для того, кто клюнет на рукописный плакатик с антисоветским, мелкобуржуазным (точно в Париже на набережной Сены!) текстом: «Графический портрет за 15-20 минут. Цена 5 руб.» Публика на такую наживку клевала, занимая очередь к стульчику. Милиция тоже клевала, но по-своему, по-милицейски: она разгоняла всё и всех, что и кто собиралось больше трёх вокруг одного, и получался митинг, получалось сено-солома, а это не положено, у нас не Париж... Публика ворчала. Художники уходили. Но они же и

возвращались... Зачем? Неужто такими приманчивыми были те пять рублей? Да, были. На пятёрку можно было целый день прожить, да ещё и с одноразовой выпивкой, к которой художники, как люди творческие, всегда относятся конкретно. Но! Если бы кто увидел прицельный прищур Мошкина во время сеанса, то пятирублёвый вопрос немедленно исчез бы сам по себе, без посторонней помощи. Ибо – художник, лицезревший натуру, ловил момент, и даже 15-20 минут было для него уже много, слишком много, непростительно много, чтобы уложить один момент – в один момент.

Момент истины даже в одной минуте растворяется.

...Зачем иркутский художник Алексей Третьяков, блестящий импровизатор, лёгкий и стильный, с философией форс-мажора и эстетикой джазового солиста, играющего только один-единственный музыкальный «квадрат»... – зачем он взял в руки фотокамеру?

Я не знаю.

И он не знает.

И фатовато-фатальная фотовспышка света сама по себе тоже ничего не знает.

Но если следовать древнейшей логике прицельного, почти первобытно-охотничьего прищуря глаза мастера, то с несомненной очевидностью является вывод: художник вновь ловит момент истины, всего один, а многих моментов ему, мастеру, не нужно, равно как и многих истин.

Множество одномоментных истин в одном стакане или в одной голове – такое воодушевление годится для праздной натуры, но не для художника.

А теперь возможен вопрос со стороны праздной натуры: работать со скоростью света – хорошо это или плохо?

Но я не стану задавать такого вопроса «про это».

Я скажу так: это – вовремя. Это всегда вовремя.

Впрочем, это – уже не вопрос. А если даже и вопрос, то он из тех, вечных, которые не требуют ответа.

## НЕВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ С НИЖЕИЗЛОЖЕННЫМ КАШЫЦЫНЫМ И.В.

И вот однажды он, Кашыцын И.В., возопил отчаянно:

– Да, да, да! Мне сейчас, вот прямо сейчас, как вода для безопасности жизни, прямо-таки сию минуту нужна для жизни сию секунду молодая женщина, сугубо земного происхождения, плотская, прозаическая, наверняка есть такая женщина, чтоб была сама собой тоненькая, а голос полный и вразумительный, и чтоб сказала бы мне она, вытарасив до отказа свои незабвенные глазыньки: «Нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. ННН-Е-ТТТ! НЕТ. НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не-е-ет!!!!!!!!!!!! Я сказала: НEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, хорошо. Ладно уж. Пусть. Шалун ты этакий...»

Шалун этакий даже не подозревал, что сейчас, в эту минуту и секунду, он говорил стихами. Больше того, он, Кашыцын И.В., заговорил стихами, которые уже были сложены до него молодой женщиной сугубо земного происхождения: сама тоненькая, а голос полный и вразумительный у неё, у плотской сочинительницы рифмованных и нерифмованных строчек, и из жизни она ушла чуть-чуть позже этих строк, но раньше срока – эта святая грешница Нина с фамилией зажигательной: Искренко; о её существовании даже и не догадывался он, вышеупомянутый Кашыцын И.В., старый кадровый пожарный человек цвета хаки, с молодым спецзванием «младший лейтенант внутренней службы», каковым званием немножечко, за неимением большего, гордился и нередко, чаще всего – ни к месту и без особой надобности, демонстрировал, не раскрывая, строгую красную корочку с суровым золотом на обложке, поясняющим щит и меч: «МВД»... И вот вам – надо же! – простой, обыкновенный, в хаки, а ведь докатился же однажды, хакер этакий, до соло Соломона-царя, возопив отчаянно как бы пожарную Песнь Песней, сирену XXI века.

Пришёл со службы домой. Мрачный.

Младшая лейтенантша Кашыцына З.О. вот такая: возраст балзаковский, вес тоже его, Оноре де Балзака, полным полным, зато голос тоненький. И спросила она тем голосом прямо у порога и прямо в лоб:

– Опять?!

– Да-а-а... – потянул звук Кашыцын И.В., снимая дежурные сапоги. – Магнитная буря. И вообще... пятна на Солнце, беспорядок на Ближнем Востоке, полный бардак – на Среднем и вообще туши свет – на Дальнем!.. А ещё... Ещё наше правительство мне сегодня не сильно нравится. Поэтому настроение хреновое и смысл жизни как бы потерянный...

А З.О. говорит:

– Пить надо меньше.

«Вот, – подумал И.В. – всегда так. Такая селяви, что мужчины – они и есть мужчины, а женщины – бабы. Это ж с ума сойти, сколько в одной такой бабе сидит зловредного медвежьего вещества!»

Вещество, будучи уже на кухне, уловило думы цвета хаки и воспламенилось, и возопило отчаянно:

– Нет, нет, нет! Не-е-ет! Шалишь!!! Гос-с-поди, и кому я отдала свою молодость! Ведь говорила мне мама родная, говорила, что надо было отдать другому. Вот дура-то я была, что не послушалась...

Кашыцын уселся за стол.

– И что, – спросил он ласково, – после того другого ты бы сейчас по-другому выглядела или как?

The rest is silence.

Эльсинор. Ещё тот Эльсинор.

«Шиннадцать» квадратов.

Шти, мухи, шлёпанцы, вылитый Оноре де...

Горючий стихакер.

И боги неумолимы.

## КАК ОН СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ

Он всё ходил, ходил и всё выпрашивал, выпрашивал:

– А чего это вы все тут веселитесь?

Наконец, ему набили морду за нетактичное поведение с аналогичными вопросами. После чего спросили:

– Правда ведь, жизнь непредсказуема?

Он улыбнулся краешком губ, потом другим краешком, затем во весь рот, получилась доброкачественная улыбка. Он выплюнул зуб и засмеялся:

– Ладно. Это ж совсем ничего, как бы благородная пощёчина по щеке, да и то... это ж не флюс-минус, а скорее плюс для благородства. И этот плюс жизни меня щекочет и освежает...

У оного Она есть, конечно, имя, фамилия и прочие причиндалы цивилизованного человека. Но они ему стали уже не нужны. Он сделался жизнерадостным, совершенно слился с толпой весёлых и находчивых людей и больше не задавал провокационных вопросов. Человек простой, беспредельно прямой, Он реагировал на окружающую среду элементарно: х-хук! – и уносил с поля кулакова свои полномочные виват! ура! вперёд, бродяги, на Стамбул! наше дело правое, мы победим...

## НЕЧТО ПО-КИЕВСКИ

Живёт такой художник. В анкетах, в строчечке, на которой полагается обозначить ФИО, он пишет: «Филя». Анкетодатели недоуменно поднимают бровки, а художник пожимает плечами, дескать, ничего не напишешь, если для полного представления букв не хватает, а поэтому так и принимайте, как есть – просто Филя.

На самом деле нашего художника зовут Валера по фамилии Филиппских.

И вот однажды, ещё в XX веке, случилась с этим Валерой одна история, весьма поучительная для начинающих гениев.

Как-то раз накопил Филя денег на покупку самого крутого в Советском Союзе фотоаппарата «Киев». Это была долгая, хрустальная мечта.

Пошёл в магазин. В кармане хрустят купюры. В душе благолепие.

И тут навстречу Филе осторожными, нащупывающими почву ногами, точно эквилибристы на проволоке, точно канатоходцы, надвигается компания давних приятелей, милых друзей.

У милых друзей оказалась почему-то одна на всех полбутылка водки.

– О, – воскликнул Филя, – бродяги к бокалу подходят!

– Угощайся, Филя, – сказали друзья великодушно, с широким, этаким барственным жестом, с жестяным дребезжанием в голосе.

– Да тут же совсем ничего, – изумился Филя, – с гулькин нос. С таким носом мужчины из дому вообще не прогуливаются, позор какой-то и полный нонсенс...

– А мы, – ответили друзья, – думаем так, что никакого позору нет, если творческому человеку похмелиться надо. Позор – это когда похмелиться не на что. Вот мы и пошли в народ. Авось, кто-нибудь с кристальной душой и добрым сердцем избавит нас от позора. И между прочим, нам уже много и не надо. Мы не жадные. Вот, выпей, Филя, почувствуй дружбу и солидарность...

– Нельзя мне! – строгим шёпотом произнёс Филя. – В магазин иду. За «Киевом».

– Да? А мы думали, что за углом... Ну, ладно. Киев это тоже хорошо, – сказали друзья. – Для приличного тоста самое подходящее.

– Да? – спросил Филя недоверчиво. – Вы так думаете?

– Да, – ответили ему. – Но мы уже так не думаем. Мы уже так знаем. И ты, Филя, поменьше говори и не задавай задумчивых вопросов, от них у нас душа топорщится.

– Ну, разве что попробовать? – вслух размыслил Филя и принял из товарищеских рук полбутылку, вроде как переходящий кубок.

...Гуляли три дня.

– А что, в самом деле? – восклицали милые друзья. – Мы шли, тебя не трогали, ты сам первый свой язык распустил. И вот теперь он как бы в плену сидит, язык-то твой.

Стонал Филя, стенал Филя:

– И где теперь мой дорогой «Киев»?

А товарищи, без вина виноватые, по-товарищески объясняли:

– Язык до Киева не доведёт, Филя. Язык-то у тебя вон где заплетается, а Киев-то аж во-о-он где, отсюда и не видно...

И замолчал Филя: обречённо, основательно, надолго.

...А вы вот всё спрашиваете, господа: откуда берутся русские народные пословицы и поговорки? Наивные вы люди.

Ранней осенью 2003 года на первой, персональной выставке в Доме литераторов им. Марка Сергеева поэт Анатолий Кобенков, представляя художника, сказал между прочим:

– И таким образом Валерий Филипских домолчался до слова. До слова собственного.

Фраза как фраза. Но, извлечённая из атмосферы пущенных на ветер слов, она прозвучала вовремя.

## СОЛО ДЛЯ СКРЕПКИ С ДЫРОКОЛОМ

Терпеть не могу таких людей...

- А ты моги, - говорит он. – Ты моги, если можешь мочь. Во всяком случае, я всегда выступал как сторонник свободного мочеиспускания.

Вот и поговори с ним, с таким-этаким терпким...

Мужик навькате. В чистой, ослепительно белой смирительной рубахе. Не рубаха даже. Тога древнеримская. Сандалии легионерские. Веночек на коротко остриженной боксёрско-гладиаторской башке...

Нет, нет! Такого восторженного моралиста с анютиными глазами в душе, да ещё и со лбом как у памятника Карлу Марксу в Москве на одноимённом проспекте... - такого мужика голой прозой не возьмёшь! И всё это требует, как требует юмор, немедленного понимания.

А брюхо? Архитектурное излишество. Обрушивается в бассейн – считай, бассейн пуст, весь до капельки наружу выплескивается. Где и как тут, спрашивается, при таком брюхе может быть евклидова прямолинейность?

Нет, не выношу я подобных людей. Да и куда вынесешь такой монумент? Он и в другом месте тоже будет торчать, как простое русское слово «экзистенциализм», и сиять будет, как сто киловатт виноватости, и зеленеть мемориально, как классическая повесть о медном влюблённом котелке... Уж

пускай лучше здесь стоит, на своём месте. Ему ведь тоже невозможно существовать без булды вприглядку, без журфикса, без понта эвксинского... Без меня, короче говоря.

Помнится мне, что окружное пьянство было затяжным, с вариациями и повторами – точно Библия, если читать её, не отрываясь, подряд, от корки до корки.

А он пил слабенский чай: то с сахаром, то с женою, которую считает не столько женщиной, сколько другом, товарищем и братом. Дурак какой-то...

И вот я, заштопоренный и взвинченный, предъявил ему мультиматом:

- ...!

В переложении на латынь и обратно это означает нечто продолговатое: и доколе же ты, Катилина, будешь испытывать терпение Сената?

И он сконфузился. Он метаморфозился. Он угас, как луч света в томном царстве, где уж не царицы Тамары правят, а просто эти Томы, утомлённые Томы, Тамарки-санитарки... Он наизусть, с выражением повторил моё устное сочинение на вольную тему и присовокупил:

- Ну, конечно, конечно же правильно говорил Чехов: чем меньше слов, тем меньше ошибок.

- Не так Чехов говорил, - взорвался я. – Чем короче, тем оказывается лучше.

- Значит, короче?

- Короче.

- Смотря что короче, - задумчиво произнёс он и предъявил мне философское оттопыривание губы.

Лицо его было старым. Но сандалии оставались молодыми, даже юными.

...Нет, нет и ещё раз нет! Не люблю я таких людей... Стеснительный он. И совсем не потому, что именно такой застенчивый, что по стеночке, и не потому, что его стесняются коты и параллельные гении... - а потому, что от его слоновьего присутствия, от его трубного пиитического завывания, от его восторженного живота, от всего этого в розницу и вкупе становится тесно даже в самой просторной лавке.

- Потерпевших нет?
- Покамест нет...
- Щас будут. Потерпите...

Впрочем, он этого не понимает. Он большой. Его много. И, понимая это, я начинаю понимать и то, что у Прокруста не было собственного прокрустова ложа, и у Ахиллеса была самая обыкновенная пятка...

Он построил за городом дом, посадил дерево, родил сына. А ещё в нём вызрело и совершенно распустилось искусство «держать паузу». Это очень важно для диалога. Это так же важно и значительно, как долгий звук последней капли, падающей в стакан.

Не нравятся мне такие люди.

Точнее сказать: жить без таких не могу.

И писано сие как предупреждение для поэта Владимира Пламеневского – в его пятидесятое лето.

Июнь 1996 года

## БАНКЕТ И БАНКОМЁТЫ

После доклада и намеченных выступлений торжество переместилось в банкетный зал. Недалеко переместилось. Всего-то фойе пересечь – и ты уже за столом.

Правда, пошли банковать не все участники торжественного заседания. Пошли избранные. С мандатами. С пригласительными билетами.

В дверях торчали проверяльщики пригласительных билетов. Проверятьщики были суровы, точно поездные контролёры. Им не хватало компостеров, чтобы решительно походить на «шелкунчиков».

Поэта Володьку Пламеневского затормозили на входе. У поэта отсутствовал мандат на банкет. Но поэт очень проголодался, а из зала наносило ароматом колбасыра, попробуй тут удержишься, если целый день мотался по городу, провернул кучу дел, а нигде не перекусил, всё гнал и гнал себя, чтобы на полную катушку использовать день поездки из пригорода в областной центр.

- Я поэт, - объявил он шелкунчику. – Пламеневский. Имею полное право.

- А кто вас тут знает? – построжал шелкунчик. – Кто может поручиться?

- Товарищ Козлов.

- Кого?

- Козлов, говорю.

- Интересно... А ещё кого?

- Не понял, - удивился Володька.

- Я спрашиваю, ещё чей и кому он товарищ? Кроме козлов!

Но тут вмешался чей-то ничей товарищ и разъяснил шелкунчику, что товарищ Козлов является также товарищем коммунистов, монархистов, православных национал-патриотов, вегетарианцев, трезвенников и разных прочих куняев и проханов.

- Ну, да, - сказал Володька. – Я тоже патриот. Многие верят.

И просочился в зал. Правда, на него оглядывались все, кому ни лень. А кому лень, те, конечно, не оглядывались.

Володька поймал за полу пиджака какого-то шустрого молодого человека.

- Будьте любезны, скажите пожалуйста...

- Че-во? – испугался молодой.

- Я говорю, извините, сделайте милость...

- Чево я вам сделал? – завопил молодой. – Чево вы прицепились?

- Молчать! – рявкнул Пламеневский вполголоса, и молодой присел. – Я тебя, пацан, спросить хочу, куда мне тут садиться! Мне, члену никакого союза писателей!

Молодой вырвался из крепких, чернорабочих Володькиных рук – и исчез. Пламеневский мысленно сплюнул, выругался и уселся за сервированный стол, почти в центре зала.

Постепенно шум утих, и головы, словно подсолнухи к свету, развернулись в одну сторону, туда, где разместились писатель Валентин Распутин и московские гости. Раздался тонкий звук – ложечкой по рюмочке, и над столом возвысился Распутин.

- Товарищи! Мы все здесь товарищи... Наконец-то в зале остались проверенные товарищи, и мы, наконец-то, можем поговорить, как настоящие патриоты...

- Смерть всем демократам, сосущим кровь из России! – раздалось вдруг.

Это не сдержал напора патриотизма московский критик Михаил Назаров.

Распутин сочувственно посмотрел на критика и остановил его жестом руки: не спеши, дескать, Миша, до демократов ещё очередь не дошла. После чего предоставил слово другому московскому гостю, критику Владимиру Бондаренко. И тот начал задушевно и доверительно:

- Ну, и как тут у вас, дорогие друзья, в смысле духовности? Есть ещё порох в пороховницах?

Володька уже вовсю нажёвывал колбасу, да чуть не поперхнулся. Наклонился в сторону столового соседа – глядь, а это уже сам товарищ Козлов!

- Вася, - сказал Пламеневский, - ты смотри...Критик – а ошибается! Надо ведь что-то одно выбирать. Или духовность, или порох. Не правда ли?

- Неправда, - усмехнулся Вася. – Ты ещё многого не понимаешь...

Покуда Козлов и Пламеневский разбирались в приоритетах, Бондаренко закончил речь тостом за здоровье великого сына иракского народа Саддама Хусейна.

- За победу русского оружия! – взвилась с места поэтка Нина Карташова.

И снова спросил Володька у соседа:

- Вася, будь любезен, скажи, зачем тут Хусейн?

- Зачем Хусейн? Как же ты в своей деревне далеко ушёл от России...

А кто-то уже с бокалом в руке начал рассказывать о недавней поездке писательской делегации в гости к великому сыну.

- Значит, так. Как Высоцкий пел, прилетели, сразу сели...

- За что?

- Вопрос неправильный. Там за что не содят...

- Слава тебе, господи...Вот на этом, товарищи, и чокнемся.

Ура!

Звёзды и звёздочки на внутреннем небосклоне местного значения хорошо и дружно пили, хорошо и дружно закусывали.

И банкетный зал энергично наполнялся литературой соцреализма. Монологами и диалогами. Прямой речью, без извилин...

- Выпьем, Боря, где же кружка?

- Выпьем! За нас с вами и хрен с ними!

- А кому вы смеётесь?

- Демократам.

- Правильно смеётесь.

- Не будите его. В ём дремлет гейний...

- Ты чо блажишь-то?

- Это я пою.

- Тоже мне, нашёлся Рахит Бейбутов...

- Ага! Монголоид, гуманоид, рубероид...

- Ой, товарищи дорогие, если бы вы только знали, как я люблю свою родину! Ох, как люблю! Ой, держите меня! Так шибко люблю, что мочи нету! Просто жить не могу без родины! Прямо как с утра встану, ещё не помывши, не поевши, не попивши, не одевши, так сразу и начинаю! Ничо больше делать не могу, кроме как любить! Держите меня! А то чо-нить над собой сделаю!

- Кому плачете?

- Патриотам.

- Неправильно плачете.

- Долой пархатый патриархат!

- А куда этот губернатор смотрит?

- Какой губернатор? Наш? Губа у губернатора не наша. Не церковно-славянская, не православная. А вот был губернатором генерал Муравьёв, например, Амурский...

- Ты нам про муравьёв не надо. Как дальше-то жить будем?

- А как? Пиисятый блин с икрой слопал – а всё равно радости нету...

- Гой еси или не гой еси?

- Вопрос неправильный. Сначала надо решить, кто гой, а кто не гой.

- Куда ты, удаль, удалилась?

...Пламеневский уже не ел, не пил. Он смотрел на поэтку Карташову и думал: «Вот путь женщины. Сначала куколка, потом бабочка, потом бабища...» Он смотрел на сытых

московских критиков и думал о набившей оскомину краснопреснятине и, почему-то, о мышках-наружках из 5-го управления КГБ, маленьких и незаметных, как вирусы гриппа...

Известный в городе куплетист и массовик-затейник Владимир Скиф налево-направо одарял публику заготовленными впрок экспромтами, поглядывая на Распутина: ну, как? Распутин благожелательно кивал... Дело семейное, родственное. Свояк свояка видит издалека.

Атмосфера в зале сгушалась. Её наполняли образы: боссы и массы, боссы и босяки, масса масонов, человеки-максимумы и человеки-минимумы...

Пламеневскому стало душно. Он вышел.

В кабинке лифта известный детский поэт икал и возился с шириной.

- Где тут за ручку дёргать? – спрашивает.

- Какую ещё ручку? – заорал Пламеневский.

- Так это что, не туалет? Это лифт? Что ж вы мне раньше не сказали?

На улицах областного центра спешили по своим вечерним делам простые советские читатели.

...Будет вам и посвящение, простые советские и антисоветские читатели! Но – не вам. Написанное посвящается печальной памяти о торжествах по случаю 60-летия Иркутской писательской организации. Дело было осенью 1995 года, в рамках фестиваля русской духовности и культуры «Сияние России».

Вот, написал «дело». А дело ли? Парадиз пародистов. Парад породистых уродов, где урод – вовсе не ругательство, а обозначение вида тех галопирующих «патриотов», чей мозг способен питать лишь волосы на голове. Они и поныне здравствуют и выходят на книжно-газетные страницы, сами выходят и выводят прогуливать, точно собачку, свой густопсовый «патриотизм», который, разумеется, делает то, что положено делать собачке: у каждого столбика и события задирает заднюю лапку и отмечает жёлтеньким свой сугубый интерес. Союз нерушимый в воспоминаниях соучастников...

## ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Поэт Владимир Пламеневский (в простонародье – мистер Пикник) влачит жизнь и творчество на берегу Байкала, в Листвянке. Вокруг него как-то неожиданно для самого поэта образовалась территория, привечающая паломников обоего пола практически со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.

Там воздух особый...Атмосфера. Среда. И все прочие дни, недели, месяцы...Удобства во дворе. На дворе трава. На траве дрова. Каждый лопух и одуванчик пламеневской усадьбы пристаёт к посетителям с пастернаковской лукавостью и аборигенским подвохом: что для вас, гостей-приятелей, всего важнее здесь, на дворе? дрова или тысячелетие?...У гостей на этот счёт своя мерка, своё мнение.

Две собаки: Брехт и Март.

Неразговорчивая крыска Дорис в клетке.

Выставленный подышать да попытеть на свежем воздухе древний латунный самовар, весь в медалях, словно генерал в отставке, помятый ещё в прошлом веке.

Столитровая пивная кега – как добрая бабушка, терпеливая и всепрощающая, вроде Арины Родионовны.

За сим следует непременный бард Женя Кравкль с гитарою: два нимба, а посредине – чёрная дыра...

В Женю молчаливо влюблена ГАЗ-ММ, «полуторка» рождения 1941-го года.

Зарубежные пёстрые и белозубые делегации в две-три смены лопают жареную на противне рыбу и круглосуточно интересуются на разных языках:

- Как будет омуль, например, по-английски?

- А вот так и будет: омуль, - отвечает бессонный хозяин на разных языках.

- Окей! – кивают гости.

- Не окей, а омуль...

Заслуженный артист России Коля Дубаков любовно поглаживает здоровенную листовничную плаху. Поглаживает, приговаривает:

- Неплохая плаха...хорошая...трогательная...

И плаха вздрагивает. И плаха потягивается под трогаящей рукой, под мужественной ладонью.

Это интересно. В этом, кажется, нет профессионального актёрского тренажа. Тут обычный хозяйский жест и взгляд с прищуром. Глаз плотника-разнодеревщика энского разряда с родственной деревянной фамилией. А ещё и интерес: Дубаков собственноручно строит в Листвянке, позади Крестовской церкви, своё жилище. Дома, как такового, ещё нет, но название будущей обители уже придумано: «Шансон-приют». Здесь будут исповедоваться поющие актёры. Вот почему начинающий домохозяин так ласково примеряет чужую плаху к своему проекту и прикидывает на глазок: где, как, с какого боку и в качестве чего такая добротная тесина могла бы улечься в «Шансон-приюте» и сослужить свою беспорочную службу.

Значит, так: Дубаков смотрит на плаху.

Плаха смотрит правде в глаза.

А за всей этой беспорочной троицей хищно наблюдает художник Андриюша Хан. Он собирается возводить неподалёку «Чайный домик». Но об этом ещё никто не знает...

1997

## **БЫЛ МАРТ НА ДВОРЕ...**

Одно время жил в усадьбе Пламеневского пёс по имени Март. Должность у него была обыкновенная, собачья: сторож, а строго говоря – хранитель фондов картинной галереи. Имущество тоже обыкновенное: будка, чашка, ошейник. Ничего лишнего. Но ошейник был навечно присобачен к цепи, а цепь последним колечком насажена на железную проволоку, протянутую вдоль объекта охраны метров на пятьдесят, и жизнь Марта получалась вся вдоль той проволоки, привязанность к среде обитания – железная: туда-сюда, сюда-туда, тропинка узенькая, четырьмя лапами протоптанная, хвостом вылощенная, вот и вся территория творчества.

И вот однажды Март разыгрался и случайно сорвался с цепи: то ли ошейник лопнул, то ли звено цепи во ржи хрустнуло...

Пёс остановился. Замер. И так стоял в ошалелом положении некоторое время, а потом тихо, тихо и недоверчиво, будто бы ожидая незнакомой каверзы от внешнего мира, пошёл в сторону от творческой тропы, от проволоки. Он оказался в новом положении, и потому стал тревожно прислушиваться, принюхиваться... Но потом ещё раз оглянулся с извинением и прощанием в карих глазах – и стремительно исчез в ближней рощице.

Март долгое время не появлялся в усадьбе. Но потом стал заходить, проведать чашку и будку. Однако все попытки хозяина вернуть пса к служебным обязанностям успеха не имели. И хозяин махнул рукой: а пусть без цепи живёт. Какой уж из него служивый, ежели нюхнул воли со свободой?!

С тех пор Март никого к себе не подпускал. Приходил как вольный гость. Садился у дверей картинной галереи и пересчитывал посетителей.

Это было опасно. Любые жесты в свой адрес Март воспринимал как покушение на личную свободу.

Случилась неприятность, потом другая, после чего Март был аттестован во всеобщем мнении как непредсказуемо агрессивный и потому особо опасный зверь.

Считался Март только с хозяином, но и то лишь при условии: говорить – говори, послушаю, но рукам воли не давай.

Однажды в отсутствие хозяина человеколюбивая старушка, работница галереи, вызвала в усадьбу милиционера.

Тот пришёл с пистолетом имени тов. Макарова и сделал своё милиционерское дело по охране общественного порядка.

С того времени хозяин усадьбы, Владимир Юрьевич Пламеневский, резко изменился.

Он стал молчаливым.

## «РОЖДЁННЫЕ В ГОДА ГЛУХИЕ...»

*– Если выпало в империи родиться –  
Лучше жить в провинции у моря...*

Так писал Бродский, уроженец прибалтийского Ленинграда.

Так жил Пламеневский, уроженец черноморского Севастополя, ленинградский студент, байкальский поселенец, на десяти сотках, в прибрежных сопках, в распадке-урочище основавший частную территорию творчества для себя и множества прихожан со всего света, за что и был отождествлён прихожанами с Максимилианом Волошиным, с тем самым, который превратил свой крымский дом в захолустнейшем Коктебеле в приют для странствующих в прекрасном; и захолустье то было интеллектуальной альтернативой захолуйству.

«Есть странные сближения...»

Вот, скажем, урочище: всякий природный знак, мера, естественный межевой признак: речка, гора, овраг...

Вот, скажем, распадок: глубокая и длинная лощина между двумя хребтами...

Вот – слово: оно берёт человека за язык и ведёт за собой.

*Бабушка очки искала тихо,  
Но очки лежали тихо-тихо,  
Тише, чем их бабушка искала,  
Тише, чем наш дедушка болел;  
Я сидел на лавочке и слушал  
(тихо-тихо),  
Как на свете тихо...  
Думал я, что, если будет тихо,  
Дедушка не сможет умереть...  
Я ещё не знал, что в этом мире  
Есть такое правило для жизни:  
Смерть, любовь, и вера, и надежда  
К нам приходят в полной тишине.*

– ...и вот тут, насчёт тишины, Толя Кобенков ошибся, – утверждал Пламеневский. – В тишине ничто не рождается. Тишина стерильна. Тишина стерилизована. Живые тишины не имут, как мёртвые – сраму. При живом человеке с ушами нет и не может быть никакой тишины. Какая, к чёрту, тишина?! Если в животе обед урчит! Если мышка под полом скребётся! Если море волнуется! Если в недрах планеты бурлит девонская

нефть! Другое дело, что человек отвратительно слышит, чаще всего не слышит, ухо у него слабое, в сто раз хуже, чем у любой собаки. Вот человеку и кажется: тишина. И Толя ошибся. Молодой ещё был, неопытный.

– И правилом для жизни является... Что? – спрашивало заинтересованное лицо.

– Молчание. Правило для всех. Для бабушки. Для дедушки. Для Толи Кобенкова. Молчание как сакральная часть речи.

– На всякую речь есть своя речь и своё молчание.

– Но всякому молчанию сопутствует только молчание.

– И молвь молчанья зело вопиюща?

– Ох, зело... Хоть уши затыкай.

– Зачем? В провинции у моря!? В глуши? Уши вряд ли нужны вообще. Дима Быков, столичный житель, считает, например, что литературная Москва в сравнении с Европой и Америкой – глухая провинция. При таком раскладе что же остаётся говорить о российской провинции и сибирской глуши?

– Провинция не глухая и не слепая. Она немая. Как поэт, который заикается и предпочитает не говорить, а только писать молчком. Это же очень естественный тип, поэт-заика. Он не обязан быть заикой, но – может. Он может быть даже немым, и это ещё лучше. Не поэтово ж это дело: говорить, говорить... Поэт слагает стихи. Он делает это не в тишине, но в молчании. А вокруг может играть духовой оркестр, и это тоже его дело, медное, деревянное, кожаное: дудеть и бить в барабаны...

Когда врачи выставили диагноз: рак – Пламеневский неожиданно для всех свершил отчаянный бросок в Европу: не лечиться в тамошних знаменитых клиниках, нет! – потрогать камни Собора Парижской Богоматери, выпить кружку пива с рогаликом в чешской забегаловке... ах, да мало ли что ещё грезилось и не сбылось – от юности до диагноза...

Успел. Вернулся. За один рабочий световой день воздвиг близ дома деревянную пирамидальную избушку – и уединился в ней, там пусто было и темно.

...и в сумерках всё пространство между двумя чуткими к звуку и отзывчивыми хребтами вдруг наполнилось голосом.

И был тот голос ниоткуда.

Казалось – он стекал с горных вершин подобно реке, и подобием реки уходил в славное море, священный Байкал.

Казалось – голос нисходил с горних высот неба.

Люди, населявшие распадок-урочище, выходили из домов, поднимали головы к небу и слышали голос...

*Мать Пресвятая, Мать Пресвятая,  
смилуйся и помоги мне.*

*Шёпот твой горячий  
на губах пустынных  
снова и снова.*

*Три свечи растают, три ствола погибнут  
в молчаливом гимне;*

*дерево из крика,  
дерево из плача,  
а последнее – спокойно, вишнёво...*

Женщины распадка-урочища крестились.

А одна из них, знающая, успокаивала соседок:

– Это не архангелы... Это просто так наш Владимир Юрьевич молится.

– А откуда ж такая труба, что на сто вёрст вокруг слышно?

– А это у Владимира Юрьевича мегафон с собой взятый в избушку.

– А что, господь молитву без мегафона не услышит?

– Господь-то услышит... Но Владимиру Юрьевичу с мегафоном спокойнее. Может, и в самом деле с мегафоном надёжней до бога небесного дойдёт, без проблем...

*Был насмешник, был бродяга,  
илялся по миру.*

*Ветер окровавил  
лезвием серебряным*

*Слово.*

*И возникли песни –*

*Мать Пресвятая, помилуй! –*

*первая – из крика,  
вторая – из плача,  
а последняя – спокойна, вишнёва...*

...муниципальное образование в распадке-урочище внимало голосу – молча.

Казалось – всё в том голосе ясно и понятно, и был он обыденным, как листочек отрывного календаря или же суждение ребёнка, застенчивое и невзыскательное, в духе ковёрной философии странного странника Полунина – прямо из-под купола, с манежа, ещё тёпленькое.

Казалось – всё в том голосе неясно и непонятно: чо к чему? – да ещё в этих сумерках, когда мерещится, что угасает не небо бога, но уже сам бог неба угасает, потому что нет ему, такому всевышнему, приличного местечка среди звёзд, и местоимение его и наречие его находятся только и единственно на земле, где он и сотворил, между прочим, тварь по образу своему и высокомерному преподобию.

«Есть странные сближенья...»

И тьма опускалась, и воздух сгушался, и голос выходил за пределы трёх измерений.

И Распадок, который на всех, превращался в Урочище – для каждого.

На следующий день поэт вернулся в молчание.

А ещё через сутки молчание встретилось с тишиной.

## **ДЕЛО БЫЛО В ПРОШЛОМ ВЕКЕ...**

Слово рождается, живёт и стареет совсем по-людски, но, в отличие от словотворцев и пользователей, не умирает и, в лучшем случае, переводится (бережно, за ручку, под ручку!) с того света на этот, сиюминутно-современный. Так что, словарное «устар.»», заключённое в кавычки, не только не пугает нынешнего читателя, но даже вносит некоторое очарование – и очей, и души, и языка. Впрочем, в ядрёно-ароматной гуще «не лепо ли ны бяшеть братие» да «почнём же братие повесть сию» сверка-

ет одно общее слово, не нуждающееся в переводе. Оно не только сохраняет и поддерживает живой великорусский язык, но и созидает новые реальности. Вот и славно. О нём и речь будет.

На исходе восьмидесятых годов поэт Владимир Пламеневский затеял издать в Восточно-Сибирском книжном издательстве новый, второй по счёту, сборник стихов.

Как положено, к рукописи прикрепили редактора. Им оказалась Галина Суслова.

– Володя, – сказала она, – всё у нас получится. У нас не может не получиться книжка с таким чудным названием, которое вы придумали: «Затеваается братство».

– А то! – воскликнул поэт и приосанился.

После чего он стал терпеливо и спокойно ожидать выхода книжки в свет.

Пламеневский тогда не состоял в профессиональном писательском Союзе. Он был профессиональным архитектором и любил собственными руками строить жилища, огородные теплицы и детские песочницы под «грибками». Во всяком случае, это утешало его персональное творческое самолюбие.

Коллективное же творческое самолюбие обитало в двух шагах от издательства, в так называемом «Доме со львами», в особняке на улице имени Степана Разина, где размещалось Иркутское отделение Союза писателей СССР, мощной структурированной организации, насчитывавшей 10 тысяч членов под руководством КПСС. Каждый член ревниво доглядывал за другим членом, но все вместе, скопом, они были силой, способной сожрать в один присест десять Пастернаков.

И когда в том Доме со львами прослышали о готовящейся к изданию книжке Пламеневского, там не могли не проявить бдительно-критического отношения к чужаку, какому-то архитектору, сочинившему уже вторую книжку стихов.

Посему члены Союза стали загигать пальцы: во-первых, не член, это подозрительно; во-вторых, почему рукопись не обсуждалась в Союзе?; в-третьих, каким образом этот так называемый архитектор вклинился в плотную очередь на издание?; в-четвёртых, в стране, между прочим, страшный дефицит бумаги...

Было и в-пятых (про классовую целесообразность), и в-десятих (про заговор и происки сионистов)... Пальцев на руках уже не хватало, но принципиальные вопросы не кончались: а чего это у них там вообще-то затевается? братство какое-то, намёки. И тут выскочило слово свистящее: «Масонство!» – голосом, изнурённым от ожидания, – да прямо во всеобщий ор! И ор немедленно прекратился, и явилась зловещая тишина, и потянуло изо всех углов горящей серой, и все дружно испугались: кто-то от внешнего страха, кто-то от внутреннего удовлетворения...

Редактор Галина Сулова тоже испугалась, когда телефонная трубка в её руке задымилась от вопиющей литсоюзной информации.

– Володя, – сказала она Пламеневскому, – нужно срочно изменить название книжки! Срочно! Представляете? Вы же понимаете...

– А то! – ответил поэт.

Он, конечно, понимал, что у издательства и у Союза писателей есть один общий начальник: отдел агитации и пропаганды обкома КПСС, но есть, oprичь того, и опекуны из УКГБ, которые в два счёта объяснят любому сочинителю – что такое «идеологическая диверсия», да есть ещё и таинственный цензор товарищ Козыдло, который вообще никому ничего никогда не объясняет: не положено ему по инструкции вступать в объяснения. А ещё несоюзный поэт Пламеневский знал, что в местной литературе существует так называемая «иркутская стенка», и название это придумал Вампилов, но что там, за стенкою, – поэт не знал и в своих смутных предположениях мог только опереться на летучую латинскую фразу: «По когтям узнают льва». Откуда ж ему было знать, нечлену, когда даже 10 тысяч членов не вполне осознавали, что имперский-то лев уже был дряхлый, немощный, на последнем издыхании, а спустя пятилетку в Доме со львами на улице Разина, за «стенкою», уже не будет ни духа Вампиловского, ни метафор: застенок как застенок, ничего похожего на образность из пьесы «Прошлым летом в Чулимске», где странная девушка Валентина всё поправляет да поправляет ущербный заборчик, то одна штакетина из него вывалится, то другая, а девушка поправляет,

совершенно некомсомольским образом Чулимск обустроивает, и Россию, значит, - тоже, по большому счёту, который странная девушка Валентина вовсе не считает делом чести, доблести и героизма... А ещё случится так, что знамя бывшего вампиловского братства-товарищества будет расстрижено на лоскуточки-вымпелочки (нет, не на вымпелочки даже – на вампилочки) для иных, внелитературных, шествий: одних сочинителей – в лагерную зону по уголовным статьям, от образной стенки к буквальной, к которой ставят; других сочинителей – во власть, во Фронты Спасения России, от образов к амбразурам, к новым кормушкам; но в общем-то ничего особенного не произойдёт, представляете? Отчего ж не представить, когда всё уже было и есть, не столько возвышенное, сколько земное, обыденное, всё новенькое как хорошо побитое старенькое, как представление, позорище – вроде уроков типа истории как бы русского рока: срока огромные, дорога длинная, театр одного актёра, вся страна раком стоит, партер называется, и ложи прокрустовы, посадочных мест немеряно, красногвардействие первое, белогвардействие второе, патриоты мы али киприоты? – акт следует за актом, антракт не предвидится, занавес сорван, кулисы в огне, сумерки, и в эти сумерки умерло всё, умерли все, кроме сумерок и самой смерти, кроме «ничто», оборотившегося в «ничто», в лагерный мусор, в стихийные стихи из сора с логическим приложением: «совок», изобретением рок-певца гражданина Градского... Представление с приложением! А вот то оно или не то? – никто толком не знает: ни вездесущий поэт Сашка Сокольников с дежурным вопросом: «Кого сегодня хороним?»; ни горлом говорящий поэт Витя Куллэ, которого перебить легко, но остановить невозможно; иных уж нет, а тех, что далече, долечат, вот ведь Саша Радашкевич шестой уж год швейцарствует спокойно, цивилизация, блин, заела... То-то и оно-то, что логическое приложение! Ещё дышит, уже не надеется, но существует как приложение к приложению – это нечто, этот некто: прислонённый к подворотне, четыре конечности заплёл крест-накрест, романтический, как какое-то маэстро, и неопределённо-грустный, как какое-нибудь идалго, стоит сам в себе, без вина виноватый, гвардии узел, ни шпаги у

него, ни коня, мотня до земли отвисла, вокруг среда заетая, минус три: по-русскому, по-Цельсию, по-Гринвичу, по уму, по существу, по понятиям... всего-то и опоры в жизни – что кирпичная стенка с облупившейся штукатуркой времён НЭПа, но он стоит, сплёвывает с губы шелуху подсолнушных семечек, выражая тем самым немедленную готовность к выпивке, к драке, к рассуждениям об экзистенциализме...

– Не то! – очнулся от наваждений поэт, вытряхнул из головы представления с приложениями и предложил напряжённому редактору новое название книжки: «Здравствуйте вечно».

...Примерно через пятилетку, весьма ударную, в 1992 году, когда линия раскола обозначилась не только в литературном сообществе, но и во всей стране, которой было обещано условно-досрочное счастье... - Галина Сулова редактировала новый сборник Пламеневского. В аннотации она написала: «В третьей своей книжке стихов В. Пламеневский, архитектор, поэт, типичный интеллигент 70-80 годов, продолжает лирико-философское исследование мира и человека конца XX века». Название нового сборника – старое: «Затеваается братство», из стихотворной строки, сделанной ещё в 1986 году, и обозначившей первую страницу новой книги:

*Мне сдаётся – уходят тихонько диктаторы и палачи.  
Вот один заметался – в какие бы джунгли податься?  
Но уже запевают; гудит телемост; а вчера я  
письмо получил –  
затеваается братство!*

*Затеваается праздник. Звонок коридорный, звеня,  
перемену сулит – всё идёт к измененью погоды.  
Я – из школы весны. Оркестранты, возьмите меня!  
Я из вашей породы.*

*Я лет двадцать последних искал вас и чуть было крест  
не поставил на бедных надеждах, играя в полтона.  
Ну, так черноработчим возьмите меня, в свой оркестр,  
я согласен на всё, даже влагу сливать из валторны.*

*Затеваается братство, зажжём миллионы свечей.*

*Мы из крепких корней. Перестанем подонков бояться!  
Небосвод в этом мире ещё, слава Богу, ничей.  
Приготовьтесь на полюсе, в море, в песках:  
затеваётся братство!*

Поэт вступил в новый писательский союз – либеральный по духу, демократический по мировоззрению, «жидомасонский» по определению православно-коммунистических патриотов из Дома со львами. Поэт сажал картошку, колол дрова, возился с водопроводными трубами, обихаживал домашнюю картинную галерею, ставшую известной в России и за её пределами. Он всё время что-то строгал, пилил, и ежели свежие гости заставляли его на стропилах будущей крыши будущей избушки на курьих ножках, то он, Владимир Юрьевич, с высоты положения приветствовал пришельцев обязательными стихами:

*Громадина жизни случайно вместила и нас,  
в граниты и в почву вошла лимфатической нитью.  
Я ей благодарен – навеки, сегодня, сейчас!  
– Да будьте вы счастливы! – вам говорю по наитью...*

Признанный иркутский поэтический мэтр Марк Сергеев отозвался на это наитье экспромтом:

*О, Пламеневский! О, Владимир!  
Чтобы культуры мир не вымер,  
расти укроп и сельдерей  
и превращай в стихи наитья,  
И каждый год верши открытья  
всё новых славных галерей!*

Вне шуточных экспромтов Марк Давидович («русскоязычный поэт», по классификации львов-патриотов) относился к Пламеневскому не только как к равному, но в чём-то даже превосходящему его самого. В чём? Во внутренней свободе.

Нынче уже нет в живых ни того, ни другого.  
Живёт галерея.  
Живут стихи.  
Крепнет братство.

«Патриоты» ищут масонов.  
В телеящике поёт Хоркобзонов.

## УЗЕЛКИ

На телеэкране поёт, приплясывая, Алёна Апина:

*Узелок завяжется,  
Узелок развяжется,  
А любовь – она и есть  
Только то, что кажется...*

Современный романс – завязки, развязки... Как в романе.

Старший лейтенант Юрий Гагарин – в отряде космонавтов первого набора. И вот Главный Конструктор академик Королёв знакомит молодых офицеров-лётчиков с ракетной кабиной.

– Ну, – говорит, – кто желает местечко опробовать?

Гагарин руку поднял, точно первоклашка:

– Можно?

Получив «добро», принялся ботинки расшнуровывать, чтобы войти в кабину, как в дом. А один шнурок не поддаётся, наоборот, затянулся, сволочь. Сдёрнул-таки Гагарин с трудом ботинок, не расшнуровывая, и в носках – в кабину.

«Вот этот парень и полетит первым, наверняка», – подумал Королёв.

Действительно, полетел. Прилетел. Пошёл, уже досрочным майором, по красной ковровой дорожке – от самолёта к Хрущёву – докладывать об успешном выполнении задания партии и правительства. Шёл на виду всего телевизионного мира, и надо же такому случиться: шнурок развязался, болтается... Шёл первый космонавт, повторяя в уме выученные на зубок слова рапорта, а в голову шнурок лезет, ответственный текст перебивает: не наступить бы, не споткнуться бы на глазах у Никиты Сергеевича и всего прогрессивного человечества, на виду мировой общественности и жены Вали...

Так нелепо ли не баять романисту связать тут концы с концами в один узел?

## КОЛЬЦО

Косатка был морской мужчина по имени Кейко. Он жил в Северном море, в уютном заливе близ Осло, столицы Норвежского королевства.

По-научному он назывался так: морское млекопитающее подсемейства дельфиновых, длиной до 10 метров и весом до 8 тонн.

Кейко играл роли в кино и был любимцем публики, в особенности – детей, которые гладили его по блестящей коже и кормили кусочками трески, прямо из рук, и Кейко очень нравились такие обеды, но совсем не потому, что он обожал рыбу, а потому, что ему хотелось делать приятное и весёлое для человеческих детей.

И вот однажды Кейко заскучал. Учёные люди-ихтиологи поняли его так: море зовёт. И отворили сетку дельфинария-океанариума; и выпустили Кейко на волю, в холодный простор; и заскучали без Кейко.

Но спустя короткое время Кейко вернулся из вольного плавания. Он вернулся домой больным, простуженным. Как ни старались люди помочь ему – не помогли, и вскоре, в декабре 2003 года, Кейко умер от пневмонии.

Люди оплакали его. А дети сложили на берегу холмик из камней в память о Кейко.

...Я рассказал эту печальную историю одному географическому учёному. Учёный была молодая прекрасная женщина из серьёзного научно-исследовательского института, который из космоса изучает землю и море. Женщина любит все три стихии, но когда хочет поделиться счастьем, то почему-то кричит чайкой.

Учёный тихо, почти незаметно для глаз, расплакалась дореволюционными, ещё из XIX века, слезами.

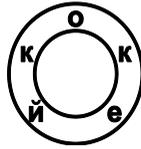
Итак, она звалась Татьяна. По фамилии Кейко.

Сюжетец закрутился и сделался бесконечным.

И мы сказали по этому поводу: «O'key!»

Но могли и не говорить двуязычных океев. Слово-то и без звука – серебро.

О чём и свидетельствует серебряное колечко с круговоротом по часовой стрелке:



## СТЕПНЫЕ МОТИВЫ

В казахстанской степи дело было. Сидит в юрте – на заднице, скрестив ноги – один бедный старик, маленько выживший из ума, девяностолетний. Закрыв глаза, раскачивается и бренчит на одной струне, и бубнит под нос про какого-то паршивого верблюда, который ушёл от юрты в степь, и вот, сволочь такая, заблудился, не возвращается, шайтан его подери... Акын! А вокруг акына сидят на задницах московские переводчики с блокнотами и наперегонки переводят, карандашиками чирк-чирк, вжик-вжик...

*Сталин! Солнце весеннее – это ты!  
Ты посмотришь – и словно от тёплых лучей,  
Колосятся поля, расцветают цветы,  
Сердце бьётся сильнее и кровь горячей!  
Снова юность, как чудом, акыну дана,  
Будто кровь, как кумыс, забурлила, звеня,  
Будто снова моя разогнулась спина,  
Будто белые зубы растут у меня.  
Сталин – солнце! Гори, не сгорая, в Кремле!  
Мы несём тебе песни, сердца и цветы.  
Нет на всей неоглядной планете Земле  
Человека нужнее народу, чем ты.  
Сталин – солнце! Гори и свети!  
Богатырским здоровьем цвети!  
И неси – всемогущ и силен –  
Счастье людям всех рас и племён!..*

Лихо строчат переводчики, да всё в рифму, о существовании которой народный певец даже не догадывался, даже представить не мог, что для верблюда может быть какая-

то рифма... А чего ему догадываться? Он уже, сидя, заснул и брэнчать перестал. Один из переводчиков, не очень лихой, подполз на коленях, старика за плечо потрепал: «Товарищ Джамбул Джабаев! Проснитесь! В газету «Правда» срочно нужны новые стихи от простого неграмотного человека. Все грамотные-то уж давно написали. Дело за вами. Проснитесь же, товарищ Джамбул!» А другие коллеги переводчики, успевшие блокноты исписать, машут руками коллеге-будильщику: «Отстань от него. Пушай спит, восстанавливает душевные силы и вдохновение!» И давятся от приступа эпидемического смеха...

Широка степь! Привольна!

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год – в степи.

## **К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ**

Старосоветская, аж 1963 года, статистика свидетельствует: евреи занимают в Советском Союзе I место по количеству осужденных за экономические преступления; II место им нигде не светит; зато по числу научных работников они вышли на призовую бронзу, а, так сказать, «по мужеству» имеют IV место среди всех других национальностей: 108 героев Советского Союза.

Вопрос современный: ну, и что?

Ответ современный: чтоб очень да – так таки нет! Выходцы из дверей, они стучатся в окно: откройте мужественному призёру!

...В конце 1998 года по предложению лидера Аграрной фракции Харитоновой Госдума приняла решение о восстановлении на Лубянской площади памятника Дзержинскому. Тотчас откликнулись муниципальные власти Биробиджана: воздвигнем в центре Еврейской автономии монументального «железного Феликса»!

Нашёлся спонсор, бывший секретарь обкома КПСС, выложивший из собственного кармана несколько тысяч рублей.

Проект предусматривал: у первого советского чекиста будет холодной не только голова, но и всё остальное. И простоят он до весны. Обдаст горожан жгучим холодом – а по

солнышку растает. Памятник-то будет из льда. Так сказать, моментальный монумент. Или монументальный момент. Тут ведь, в этакой ментальности, нет даже двух маленьких разниц...

И вот я взываюсь по-биробиджански...О, публика! Лайба моя золотая! Семь бед и один ответ, но – какой ценой ответ! По «семь-сорок» ответ. А это, слушайте, совсем не то, что «без двадцати восемь». Так что, спешите не опоздать! И не дрожите же так ваше тёплое кровеносное тело, умоляю. Потому что в обратном случае вы обязательно лопните все ваши нервы и будете мешать впечатляться уравновешенным национальностям.

И ещё вот что, босяки. России нужен – ойц! как нужен! – какой-нибудь богатый спонсор. Но этот спонсор не должен быть, извините за выражение, какой-нибудь Тель-Авив или ещё тот Биробиджан. Это должен быть какой-то совсем другой, ещё неведомый изгнанник, не очень старорусский и не очень новорусский, а возрастом быть примерно с город Одессу, в двести лет. Это важно. Чтоб ухаживать-то ухаживал, но, упаси бог, не испортил. Таки да!

## ДЕЛО ПРОШЛОЕ

В доме томского ссыльнопоселенца Василия Васильевича Берви-Флеровского часто собиралась вечерняя компания. Жена Эрмиона Ивановна, в девичестве Жемчужина, накрывала стол с закусками, самоварчиком и непрременными московскими бубликами. Супруги Ивановы, адвокат Акулов, студент Леон Самарин...

Спорили о судьбах России. Обменивались литературными новостями. Курили...А Леон брал в руки гитару с бантом на грифе и запевал традиционный «Марш зуавов». Компания дружно подхватывала:

*На буй кровавый,  
Теньжкий, но правый,  
Марш-марш вперёд...*

Историческая справочка. ЗУАВ (фр.Zouave): 1) Зуавы – части лёгкой пехоты во французских колониальных войсках,

комплектовавшиеся главным образом из жителей Северной Африки и французов-добровольцев; 2) Солдат или офицер наёмных стрелковых частей в армии султанской Турции.

...Пели по-польски. Впрочем, были и русские песни, разные, но на одну тему: революция, свобода, долой самодержавие.

Молоденькая Катюша, нянечка двух прелестных малюток Берви-Флеровских, слушала песнопения и подпевала. Ей казалось, что эти образованные господа и есть её настоящие братья и сёстры. И она даже хлопала ладошками, когда Василий Васильевич подводил итог вечеринки:

- Пора! Пора идти в народ, господа!

Катюша тоже хотела уйти в народ. Летом. Но получилось как-то так, что ушла в публичный дом. Осенью.

А с наступлением зимы по Томску поползли слухи: в заведении мадам Переваловой проститутки развлекают клиентов непозволительными революционными песнями. Вскоре слухи перестали быть слухами, потому как уже полгорода имели удовольствие слышать складный хор девушек и их кавалеров, доносившийся из зашторенных окон заведения.

Вмешалась полиция со своими наивными вопросами: что, где, когда, а также – кто?

В конце концов, сыщики вышли на след Берви-Флеровского. Обыск, конечно, то-сё, в общем – неприятности. Но городская власть поступила мудро, решив не предавать сему нарушению особенной значительности: дескать, ну, и что? басы и тенора, поди, тоже люди, нажрутся водки – на песню тянет, вот и подпевают подружкам своим...но ежели рассудить по-трезвому, то так называемые революционные песни может запеть практически любой человек, даже проститутка, и поскольку она будет делать это не во имя революции, но исключительно для оригинальной завлекательности, то ей, оной певучей бляди, решительно ничего не будет – ни карательного, ни даже осудительного, разве что какой-нибудь полицейский чин пожурит да тут же и останется переночевать...впрочем, может быть, и найдётся особенно догадливый служака, который примется поощрять распевание подрывных песенок в публичном доме, дело сие перспективное...

Вот и всё. Так «Марш зуавов» начинал преобразаться в пролетарский гимн «Варшавянку».

...Бедная моя родина! Это что же за стервоточинка в твоих синих глазах?..

## ТОСКА

Напротив дома, почти что рядом с завалинкой – колдобина, в которой всегда буксовали машины.

Дед сидел поблизости, на лавочке. И всегда с охотой помогал шоферам: доску подаст, совет, разговор, перекур...

– Дед, – говорили они, – да ты бы засыпал яму!

Дед отмалчивался.

Однажды пришёл самосвал и колдобину засыпали. Ночью дед стал яму копать. Его защучили.

– Эх, ты, партизан! – сказали.

Дед бросил это нехорошее дело, совсем заболел и вскоре помер.

## ПРО «Ё-МОЁ» И МАЛЕНЬКУЮ ЗАПЯТУЮ

И вот Россия докатилась до реформ в русском языке... Упаси Бог! Нам сохранить бы то, что имеем в наследстве, очистив родную речь от прежних революций в языкознании.

Про букву «ё» я уже как-то раз написал: ё – моё, прошу не трогать! Теперь этой букве, оказывается, ставят памятник в Ульяновске.

А сейчас – о другом.

То ли редакторы, то ли корректоры, самые разные, но объединённые какой-то неведомой мне грамматической солидарностью, упорно и с системным фанатизмом поправляют мои тексты в одной малой частности. Пишу: «О, ирония!», или «О, господи!», или «О, господа присяжные!» – но в печати запятые исчезают без всяких объяснений.

В сущности, зачем расстраиваться? Что такое запятая? Но ежели раздвинуть пошире рамки вопроса, то он прозвучит так: что такое знаки препинания, как не точки расположения приязни и неприязни к самому слову? Вот ведь, навалились, загнулись о запятую, пинают препинания... Зачем?

– А пусть автор, – говорит литературная критикесса Аврора Крейсер, – не воображает себя частью речи. Не надо. Это нескромно и противоречит...

После таких «крейсеровых сонат» обычно следуют если не революции с контрреволюциями, то уж оргвыводы – всене-пременно.

Но я человек искренний. Поэтому стреляю первым.

Итак, что такое запятая? Ответ оставим на потом. Сначала о том, что такое буква О?

– Бублик! Бублик! – дразнятся детки, даже не подозревая, что это не бублик копеечный, а смертельно раненый Колобок.

Но пусть даже и бублик. Грошова баранка. Ноль. Дырка. Она же пустота, но она же и ореол: велик лик. Око: хоть слева направо, хоть справа налево – всё едино. Бесконечно-безначальное кольцо. Человеческое обручение и круг спасательный. Звено – зерно кольчуги. И восхищение, и стон... Особа особенная. Каждый выбирает своё О – по размеру, по душе, по ругутному Цельсию, по ощущению строки.

Короче, есть предлог О, равнозначный ОБ и ОБО и неотделимый от речи о «вине, кине, пшене, квитанциях Госстраха» и прочих бесчисленных объектах и субъектах обоих миров. Но есть и восклицание О, равноправное АХ, ОХ, ОЙ и даже ОЙЦ, как говорят в Одессе; эти биологические эмоции одинаково понятны всем языкам.

Для чего нужен этот крутёж-вертёж вокруг да около О? Да потому что – извлечение корня из квадратуры круга. Понимаете?

А теперь – о (предлог) запятой. Её, вообще-то, некоторые сочинители текстов ставят машинально, на всякий случай, мол, кашу маслом не испортишь. Но это – кашу! И если текст есть каша, то тут всё в порядке.

Я же сим заявлением в защиту своего О с препинанием официально провозглашаю: да здравствует (хай живе, гип-гип

виватствует, и прочее, и прочее...) восклицательная запятая. Вот такая: ! Уж её-то машинально и на всякий случай в строку не воткнёшь. А коли воткнёшь, значит, так надо, и пусть стоит, и удивляется самой себе, и читателя удивляет – тревожная и загадочная, как ночная птица.

Вот: нахально подумалось, взять бы разом – и договориться с редакторами-корректорами о (предлог) том, чтобы об (предлог) этом больше никогда не говорить.

## ЭТОТ БЕДНЫЙ КОМПРОМИСС

Многие поколения советских людей воспитывались в том принципиальном образе мыслей, согласно которому «компромисс» занимал место среди таких понятий, как «беспринципность», «оппортунизм», «конформизм», «двоедушие», «двурушничество», короче говоря, – «и нашим, и вашим за пятак спляшем!». Соответственно, «бескомпромиссность» стала в ряд с «несгибаемостью», «беззаветностью», в которой угнездилось наше «любой ценой» и «не взирая»...

Симптоматично, что марксисты эпохи «военного коммунизма», вбросившие в массы лозунг «Кто не с нами, тот против нас!», не узнали в этом лозунге чуть поправленную цитату из Макса Штирнера, на редкость претенциозного мелкобуржуазного философа-анархиста XIX века. А ведь этот «Святой Макс», заявивший: «Кто не за меня, тот против меня!», являлся одним из главных сатирических персонажей «Немецкой идеологии»!

Так и пошло с тем же компромиссом. Он «выпал» из последнего издания Большой Советской энциклопедии, его нет в Философской энциклопедии, а Малая урезала смысл «компромисса» до уровня «арбитража». Историческая же энциклопедия отсылает настырного читателя подальше – к соглашению, которое заключили нидерландские дворяне для совместной борьбы против Филиппа Испанского.

## ИЗДЕРЖКИ МНОГОГЛАГОЛАНЬЯ

Однажды Никита Сергеевич Хрущёв произносил речь в городе-герое Минске. Слово к народу у главы государства было продолжительным. Всем досталось от никитиноного многоглаголанья: каждому – своё, *suum cuique*!

Журналисты «освещали». Телетайпы стучали... Часть 1 (а это по международным стандартам составляет от 11 до 14 строк машинописного текста)... часть 2... часть 246... После каждой такой части стояло пояснение: «следует», то есть, продолжение следует. Но часть 247 заканчивалась так: «последует». Что это значит? Перерывчик? Вроде того. Термином «последует» журналисты традиционно обозначали передачу поправок в тексте. Однако такой корректуры на сей раз не последовало. Никита Сергеевич не любил прерываться на всякие исправления и продолжал гнать свою речь, как немецко-фашистских оккупантов, до победного конца.

Журналист Борис Лавренюк так и не дождался того, что «последует», и решил: всё, дело в шляпе, речь кончилась, пора топтать домой после дикой запарки! И тут вдруг зазвонил телефон.

– Господина Равренюка? – осведомился японский коллега. – Когда же будет «посредует»?

– Не последует, – ответил Лавренюк. – Кончился Хрущёв.

В трубке пискнуло...

Дальше, как удалось выяснить КГБ, события развивались так.

Японец срочно позвонил западногерманскому коллеге:

– Равренюка сказара: Хрущёв скончался.

– О! Неужели?

Ночные выпуски боннских и гамбургских газет вышли с аншлагом: «Сразу после своей речи в Минске умер Никита Хрущёв».

Японца и немца в течение 72 часов – вон из СССР! «Равренюку» помиловали.

...О, этот верикий-верикий русика языка! Кого до Киева доведёт, кого до Магадана!.. В крайнем случае, – до инфаркта.

## ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Реквием» Анны Ахматовой, положенный на музыку Владимиром Дашкевичем, исполнен с большой всесоюзной сцены.

Порадуемся, братья и сестры! И задумаемся.

Ещё вчера эти стихи были запрещены, считались антисоветскими. Они получили свой срок и отбыли его: 50 лет заключения. Хранение и распространение карались уголовной статьёй. Стихи жили в эмиграции, но при попытке пересечь границу в ту или иную сторону арестовывались и изымались. Знание этих стихов было делом преступным, то есть подпольным.

И вот они, эти стихи, рассказывающие о расстреле мужа, аресте сына, о том времени, когда полстраны было загнано на каторгу, эти стихи поёт ансамбль песни и пляски Внутренних войск МВД СССР.

Случилось это в марте 1990 года.

## КАК ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИМ

Поэт Василий Андреевич Жуковский, по слухам – сын турчанки, по слухам же, был тайно влюблён в молодую российскую императрицу Александру Фёдоровну, венценосную супругу Николая Первого. Но тайная любовь для поэта – чем не Муза! Пусть и замужняя, пусть и венценосная, пусть и урождённая пруссачка Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина... Муза! Явление космополитическое.

В январе 1821 года прусский папа-король Фридрих пригласил в гости свою дочь и зятя и по этому случаю устроил роскошный бал. Помимо всего, что обыкновенно бывает на королевских праздниках, разыгрывались «живые картины» из поэмы английского поэта-романтика Томаса Мура «Лалла рук». Российская царица в этих «восточных сказках» выступала в роли (и в costume) индийской принцессы...

Василий Андреевич, состоявший при свите государя, не мог отвести глаз восторженных, сверкающих, русско-турецких... А

поз-же сочинил стихотворение под названием прелестным: «Лалла рук». Там строчки есть такие:

*Ах! не с нами обитает  
Гений чистой красоты;  
Лишь порою навещает  
Нас с небесной высоты...*

Потом молодой, да ранний Пушкин увёл «гения чистой красоты» к другой женщине – к Анне Керн.

И – что? А ничего. Ни поэты, ни почитатели, ни читатели (а уж тем более, читатели современные) не обратили внимания на такое литературное умыкание. Объяснение сему спокойствию может быть довольно простым. Три поэтических слова – как воздух, которым дышим, оно не замечая, – не личное имущество, но дар Божий: женщина, любовь. И неважно, кем и когда произнесены эти слова, Бог опередил человечество, и слова эти принадлежат всем временам и народам: и сыну турчанки, и голубоглазому нашему африканцу, и английским романтикам, и прусским усачам, и добрым молодцам сказочной Индии.

## **ЧТО ПОПРОСИТЬ У РЫБКИ?**

Засело в голове: «Моя любимая рыбка...» Откуда взялось такое умное-аквариумное настроение? С какой стати? И ведь не красные же рыбки Матисса, нет! Какая-то моя, к тому же любимая...

Включаю радио:

– Говорят все радиостанции Советского Союза...

Советский Союз говорил голосом Левитана.

И тут я вдруг вспоминаю: в 1976 году в моей ненаглядной стране введён так называемый «рыбный день» – по четвергам. Так народонаселение и стало называть дни недели, как ему свыше указали: понедельник, вторник, среда, рыбный день, пятница...

Но вот объявилась новая головоломка: вспомнить-то вспомнил, а – зачем? Причём тут МОЯ рыбка?

И я решил: ни при чём, просто так к слову пришлось, на язык прицепилось, по мозгам ударило – самым паразитским образом. Впрочем, если бы эта рыбка была на самом деле, то я попросил бы её, мою любимую, сделать всё наоборот в этой дорогой стране.

## СКАЗОЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Вот однажды российский северянин говорит казаху:

– Ёлки-палки! Землицы-то у тебя скока! Давай распашем?

– Давай.

И началась целая целинная эпопея: палатки, энтузиазм, героизм, ордена, почётные грамоты, едут новосёлы по земле целинной, как пелось тогда...

Через несколько годов ветер-степняк сдул к чёртовой матери весь гумус, всю почву, землю, то есть. Исчезла земля, как сквозь чего-то провалилась. И вода, конечно, – вместе с нею. Запели:

*Едут новосёлы, морды невесёлы...*

– А давай, – говорит северянин казаху, – мы тебе сюда северные реки завернём, заместо водопроводу, для поливу, а? Может, трава вырастет или ещё чего-нибудь...

Могло ли такое случиться в живой действительности, в истории живых народов? Не-а!

А то, что всё же произошло, случилось в новой российской сказке.

*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!*

Так не только пели. Так делали. Это были, братцы, сказочные времена.

Но: мы – там – жили. Именно мы. Именно там. Именно жили. И умирали раньше сказки.

## ПОСЛЕ МРАМОРА

На высоком прибрежном взгорье, на каменной стеле – надпись: «17 августа 1972 года здесь утонул Александр Вампилов»...

Ровно через двадцать лет, день в день, торжественно открывали эту стелу-памятник в Листвянке, на крутом берегу Байкала. Далеко отселе видно. А день был ветреный, с прохладцей. Парусила чем-то невесомо-невесёлым и синим Галя Солюянова, завлит уже вампиловского ТЮЗа; она была актрисой и потому ей не было холодно, Гале, галочке на полях вампиловских страниц... В сторонке находились Распутин. Толпа тихих кинопоклонников обволакивала вальяжного Олега Табакова, его театр в эти дни отработывал гастроль в Иркутске... Потерянное лицо поэтессы Сухаревской... Разбежавшиеся глаза фотохудожника Валерия Орсова... Блицы, стрёкот кинокамер.

Мраморная площадка, в центр которой вонзилась стела, напоминала площадку сценическую. Монологи... Казённые предложения литературоведа Забелина – как переливание из Павла в Савла, из Савла в Павла... Фантазмагория. Незримая тень вампиловской Валентины скользила по очевидной площадке, заботливо поправляла незримый заборчик, стенку, какие-то штатные штакетины, регулярно выпадающие не столько из общего ряда, сколько из времени... от «стенки» до стенки, к стенке имени Стеньки Разина, освятившего своим разбойничьим имечком не только одну из иркутских улиц, но и писательский дом, на этой улице увядающий, разваливающийся...

Глазами ищу Глеба Пакулова – и не нахожу. Вот, пожалуй, человек хлебнувший... И воды неметафорической, и самоличного истязания, и оскорбительных ненапечатанных упреков, и шушуканий по углам да закуточкам: вместе с Вампиловым плыл на своей проклятой лодке, сам-то спасся, а вот Саня... Почему не помог?..

На площадке вырос поэт Ростислав Филиппов – высотой со стелу, не менее.

– Мы гордимся тем, что Иркутск в этом столетии дал миру двух-трёх гениев...

И потупившуюся толпу колыхнула волна демократической дискуссии.

– Ну, это перебор! Максимум – одного-двух.

– Ну, это недобор! Минимум – четырёх.

Филиппов подумал и остался на своём, точно ледокол – между:

– ...Двух-трёх гениев, которыми гордится земля Иркутская...

– А кто третий-то? – шепоток слева.

– Наивный ты человек, – шепоток справа. – Первый гений утонул, второй нахохлился, а третий речь держит.

Чуть позже возле листованной деревянной церквушки московский гость Володя Гуркин сказал:

– Так Россия считает своих гениев... Приблизительно. Два-три, четыре-пять, от нуля до бесконечности...

Возможно, в эту минуту в мыслях сценариста и режиссёра забавно-грустного кинофильма «Любовь и голуби» рождался новый сюжет.

– А на этом месте, – продолжил он, – рождаются не шедевры, но анекдоты, да и те из серии чёрного юмора.

– Уже родился? – спросил я. – Так обнародуй.

– Эх... потом.

«Потом» состоялось в августе, через год. Мы поочередно прикладывались к трёхлитровой банке с пивом – под вязами, под окнами кабинета иркутского зубопротезного гения Евгения Бахарева. Гуркин покинул московскую общагу ради юбилея своего родного города Черемхово и хотел предстать перед публикой в лучшем виде, без шепелявости. Поэт Кобенков только что прилетел из Коктебеля, где набирался сил на последующую восточносибирскую жизнь; в Сочи просочиться не удалось, но Коктебель оправдал лучшие надежды поэта, вот только зубы, ети иху мать...

– Толя, – сказал Гуркин, пузатый и грустный, – а я на твои стихи песенку сочинил.

– Весёлую?

– Кажется, весёлую.

– Это хорошо.

– Но, – пожал плечами Гуркин, – может быть, что и не такая уж весёлая, а совсем наоборот.

– Это тоже хорошо.

А когда разбегались – на три стороны – по неотложным делам, я напомнил Володе об анекдоте из «чёрного юмора».

– Может, не надо? – спросил он.

– История не простит.

– Тогда так. Наш московский вариант. Подходит Пакулов к Распутину и спрашивает: а не покататься ли нам, Валя, на лодочке?

...Я снова вспомнил тот прошлогодний день. День, когда говорили тени. День такой, каким бывают для ёлки дни после праздников; нарядная стояла она, рядом люди, игрушки и люди-игрушки, но потом праздник прошёл, праздники никогда не бывают долгими, как прощание или времена года, и люди-игрушки исчезли, разобрались по своим мягким коробкам, а ёлка осталась одна в ожидании нового блестящего дня, ещё не зная того, что вторых праздников у рождественских ёлок не бывает...

## АНКЕТА

Космонавт заполняет какую-то анкету... В ней – пунктик: «Бывали ли за границей?»

Космонавт задумался.

Он представил себе загранпаспорт, визу, лиловые печати, таможенный досмотр и таможенную же декларацию, пограничников в зелёных фуражках...

Вздыхнул космонавт: не сподобился такого счастья.

И написал в анкете: «Не был».

Питейные товарищи улыбаются:

– Анекдот, что ли?

– Почему анекдот? У вас как анкета, так всё анекдот. Мне! Лично! Сам генерал Береговой рассказывал. Вот на этом самом месте. У фонтана!

Товарищи посерьёзнили:

– Ну, если у фонтана... Тогда другое дело. Ладно, ври дальше...

## **И ЯШМА ДЛЯ ЮВЕЛИРА, И КАМЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ**

Выступление на Байкальском симпозиуме  
российско-южнокорейских писателей 13 августа 2002 г.

Корейский историограф Ким Бусик в «Исторических записках о Трёх государствах» рассказывает о создании ранних корейских государств и относит появление первых поэтических произведений к 28-му году Новой эры. Он утверждает, что началом литературы на корейской земле стали песни, сочинённые правителем Силла Юри-Ваном. Внимание, которое историограф уделил этому событию, свидетельствует об осознании поэтического творчества как весьма значимого явления в культуре народа, как признак перехода к государственности и цивилизации.

Большинство последующих текстов дошло до современности в исторических сочинениях, в обрамлении легенд, мифов, преданий. Но уже IX–X вв. принесли в мир литературы несколько крупных поэтических имён, прежде всего «трёх Чхве»: Чхве Гван, Чхве Сын, Чхве Чхивон – гордость корейской литературы, поэт и историк.

В истории культуры всех времён и народов существуют вопросы не столько исторические, сколько философские. А один из них относится даже не столько к культуре, сколько к самой истории народа: кому она принадлежит, эта история, эта капризная и строгая, переменчивая и взыскательная, мстительная и кокетливая дама?

Русский историограф Николай Карамзин утверждал: «История народа принадлежит царю».

Русский поэт Александр Пушкин признавал: «История народа принадлежит поэту».

Русский гвардейский капитан Никита Муравьев, осужденный на каторгу в Сибирь за участие в восстании

декабристов в 1825-м году, писал: «История народов принадлежит народам».

Отдавая предпочтение справедливости последнего суждения, я подумал: история подобна большой «матрёшке», пустотелой деревянной кукле-игрушке, содержащей в себе множество других куколок, поменьше. Говорят, что наряду с гармошкой и самоваром «матрёшка» является своеобразным символом России. Это не так. Самовар завезён из Голландии, гармошка – из Германии и Австро-Венгрии, а русскую «матрёшку» заодно с «ванькой-встанькой» ещё в древности придумали японские монахи в качестве наглядных пособий для восточных единоборств.

Подобно многодетной матери-«матрёшке», в истории («матери всех наук», по выражению древних мудрецов) сосредоточены и науки, и культура, и литература, и искусство. И вот мне подумалось: а что, если в формулы Карамзина-Пушкина-Муравьёва вместо истории поставить литературу? Будет ли это логичным? Будет. В таком случае, каким же окажется ответ на вопрос: «Кому принадлежит литература?»

Национальная литература принадлежит народу. Составляя важную часть культуры народа, литература тем не менее не является учителем жизни. Не её это дело – учить, воспитывать, образовывать. Дело литературы – в Слове. Дело литературы – в создании образцов человеческих качеств. А уж вопросы воспитания, просвещения, образования – это сфера деятельности национально-государственных институтов. В противном случае, мы не найдём ответа на вопросы: почему же христианский мир, имея Библию, за две тысячи лет так и не усовершенствовал самого себя до канонов десяти Моисеевых заповедей? Или почему слово Конфуция за два с половиной тысячелетия не сделалось для каждого жителя Юго-Восточной Азии истиной в последней инстанции и не возвело древнейшие нации на обозначенные вершины мудрости? Увы, письменное слово литературных шедевров оказалось выше возможности реального человеческого постижения и превращения в обыденную норму общественной жизни. Это печально. Но в этой печали остаётся надежда и цель: высокое слово всё-таки сказано, а человеку, в конечном счёте, не остаётся ничего иного,

кроме пути вперёд и выше, пути сложного и долгого, но неизбежного, пути отдельного человека и народа в целом.

И здесь классическая литература в своих лучших образцах из национальной становится мировой. Она уже не замыкается в государственных границах и распространяет общегуманитарные ценности на всё человечество. Глобальный масштаб! Но иначе и быть не может. Мир человеческих страстей един, мир человеческих эмоций понятен и доступен любому жителю планеты. Мир поэта, в сущности, тоже един, как и судьбы поэтов во всех уголках Земли.

*Журавль всегда парил под облаками,  
Но как-то с высоты спустился вниз,  
Наверно, посмотреть он захотел,  
Как на земле живется людям.  
А люди его быстро оципали –  
И к небесам он больше не взлетел.*

Так о поэтах писал в XVI веке Чон Чхоль. Перевела его стихи выдающаяся русская поэтесса Анна Ахматова, человек трагической судьбы, уж она-то знала, «из какого сора растут стихи...»

А вот как поддержал Чон Чхоля русский поэт Гавриил Державин через два столетия:

*Поймали птичку голосисту –  
И ну сжимать её рукой.  
Пищит бедняжка вместо свисту,  
А ей твердят: пой, птичка, пой!*

Современник Державина Ким Чхонтхэк словно бы заглянул в мир русского поэта и на свой лад перевел житейские радости державинской усадьбы Званка:

*Жизнь людей на сон похожа;  
Что мне слава и почёт?!  
Мудрость, глупость, знатность, деньги...  
Перед смертью все равны.  
И на этом свете радость,  
Я уверен, лишь в вине.*

*Красный клён так нежно красен;  
Хризантемы запах душист;  
Водка рисовая – чудо,  
И вкусна сырая рыба...*

Разве это непонятно человечеству? Ещё как понятно!  
И китайцу, и испанцу, и жителю Британских островов, и  
русскому Сергею Есенину, и персу Омару Хайаму, и корейцу  
Нанвон-Гуну:

*Когда родилась луна?  
Кто сотворил вино?  
С тех пор, как умер Лю Лин  
И покинул землю Ли Бо,  
Видимо, негде узнать об этом.  
Приходится пить в одиночку...*

Литература – это голос народа. А безголосых людей в  
природе не существует. Правда, отдельный человек может и  
промолчать. Но тогда за него говорит поэт. И очень важно, как  
и что он скажет, если только отважится сказать.

*О яшме, сказали: камень!  
Это печально.  
Но человек ученый  
Истину знает.  
Знать-то знает, да делает вид, что не знает.  
И это всего печальней.*

Так сказал Хон Сом.

Будем помнить и об этом камне, и о дерзком Сизифе, и о  
том, что в корне самой «литературы» есть не только латинское  
«littera» (буква), но и греческое «litos» (камень) – тот самый,  
краеугольный, который может быть положен строителем в  
основание фундамента, и тот, несущий, скрепляющий свод  
высокой духовности, создаваемой не на небе, но на земле.

## ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРСИДСКОЙ СИРЕНИ

У художника Андрея Хана в забайкальском городе Чите есть давний друг, товарищ и брат-коллега Вячеслав Скроминский. Встречались редко, в основном летом в Листвянской усадьбе Володи Пламеневского: там Скроминский подолгу жил-гостевал и рисовал чем попало и на чём попало возлюбленную персидскую сирень.

И вот однажды Хан по творческим делам оказался в Чите. Звонит Скроминскому по мобильнику звонким многозначщим голосом:

– Слава, привет! Это я, Андрей!

– О, Андрюха! Как я рад, если бы только знал!

– Да знаю я, знаю. Где встречаемся? Когда?

– А я это, Андрюха, маленько занят сейчас... Давай я тебе позвоню, как только освобожусь.

– Давай. Телефон мой помнишь?

– Диктуй. Я записывать буду...

Хан назвал номер своего мобильного, но Скроминский просит повторить, и ещё раз повторить, и снова повторить...

– Андрюха, – говорит, – ты мне диктуй помедленнее... ещё помедленнее...

– Слава, да ты чо? – удивился Андрей. – Писать разучился?

– Нет, Андрюха, я не разучился. Но я же ломом записываю...

Оказалось, что в это время Скроминский долбил лёд на тротуаре. Это был так называемый общественно-полезный труд. Под попечительским приглядом милиции.

До летней возлюбленной сирени было ещё далеко. Но всё вместе это было так близко и дорого впечатлительному сердцу: и забайкальская каторга, и первые волонтёры свободы–декабристы, кандальный звон и всевозможные сатрапы, пропади они пропадом...

## АЛЛЕГРО! ЕЩЁ АЛЛЕГРО!

В московском «Пекине» подмосковный вор в законе (изысканно говоря, авторитет) гуляет со своими стриженными братками.

– Где моё блюдó? – куражится он. – Подайте мне сюда моё блюдó!

Приносят серебряный поднос. Авторитет бросает на поднос пухлую пачку долларов, препоясанную резиночкой, и манит пальцем приглашённую на банкет известную эстрадную диву.

– Аллегра, – говорит, – это тебе будет мой как бы аванец. А теперь началá петь с раздеванием. На столе. Без всего ничего». Поняла?

Дива сначала хотела возмутиться – как женщина, но вместо этого энергично закивала – как друг, товарищ и браток:

– Поняла, поняла, чего ж тут непонятного. Аванец, значит?

– Аванец.

– А куда я полный гонорар помещу, если буду без всего ничего? – кокетничает дива.

– Не умничай, Аллегра, тебе это не личит. Другие тёлки без вопросов, а ты уж как будто и на самом деле не знаешь, куда голые бляди баксы прячут. Но я тебя успокою, Аллегра. Если не желаешь сувать зарплату куда надо – так и не сувай, дай мне, я их покараулю, баксы-то, покуда ты будешь без всего ничего.

– Нет уж! – возмутилась дива как женщина.

После чего сгребла деньги с подноса в сумочку и, не выпуская её из рук, с бомжьей помощью вознеслась на стол, в живописное окружение бутылок, блюд, ваз, салатниц и пр., и пр.

Позже она рассказала журналисту весёлой жёлтенькой газетки:

– Боже, как он домогался! Он предлагал мне миллион баксов, чтобы я переспала с ним. Но я ему сказала с улыбкой: мальчик, ты меня дешёво ценишь! Тогда он говорит: два миллиона! А я ему с улыбкой: ха-ха!..

## СНЫ И БЕССОННИЦЫ ЭКСКЛЮЗИАСТА

...возникают внезапно: ниоткуда: из ничего – как птицы в небе, а ещё и щекочущее приближением грудной жабы ощущение того, что кто-то, преждевременно умирая, одалживает мне толику своей жизни –

...кипела жизнь! Вокруг пили и пели, орали, сводили счёты и концы с концами, и был Александр Евгеньевич как ещё тот Геракл, который и немейского льва победил, и гидру ларнейскую замочил, и стимфалийских птиц перебил, и керенейскую лань поймал, и на золотые яблоки Гесперид покусился, молодец какой, даже штаны погладил, и штанам хорошо, и – мужчине Александру Евгеньевичу, приятность обоюдная, и когда концы с концами снова разошлись, то принялся Александр Евгеньевич пародировать Эдиту Пьеху и Ленина, очень похоже, все поверили, но когда Александр Евгеньевич объявил обществу страшным голосом: «Убью!» – ему никто не поверил – и так было не в первый раз, так было всегда, Александр Евгеньевич на безверие обижался, отплывал куда-то в сторонку и тихо засыпал в уголочке, скорчившись уробно, спал и вздрагивал, и сучил ручками-ножками, и просыпался вдруг толчком оттого, что почему-то кончался шум и гам, становилось тихо, и это был странный непорядок –

...встать пойти найти купить выпить! Во, бля, грамматика! Во, синтетика! Одни глаголы, да и те все сплошь, как один, страдательные. Какая тяжесть в них колышется! Какая тоска плещется! И каков вес оной тоски!

– Триста.

– Чего?

– Триста, говорю, грамм в грамматике вашей утренней –

...перемещённое лицо. Байкалавр всех наук!

...у мене до той политики того Ватикана громадный интэрэс, какой вы даже себе не ошчущаете как факт истории.

– Это не актуально. Теперь актуально китайское нашествие, эта жёлтая рабсила от Владика до Москвы. Чернышевский вопрос: что делать? Или поставить дошираком вдоль всей Транссибирской магистрали, или ладно уж, пусть трудятся?

– Пусть, пусть...

– Что пусть? Пусть алеет Восток? Херушки –

...и вот все они, эти люди добрые, питаются, влюбляются, разлюбиваются, детишек подобных сочиняют, богу небесному аналогичных, обустроивают рай в шалашах, короче говоря, живут себе люди как люди. И тут к ним заявляется Карл Маркс. Заявляется и сразу же заявляет: «Товарищи пролетарии, как тут у вас нащёт прибавочной стоимости? Не ущемляет?» –

...такая повальная резня, такое поголовное удушение и душегубство поколенное, такой горлодёр с языкознамением – по локоть! – такое сокровище изо все жил и храмы на крови, каких прежде не знала земная история вида человеческого, и вот узнала, и приняла с содроганием –

## ГЛАВЛИТПРОМПОЛИТПРОПАГИТПРОСВЕТ

...«Февраль. Достать чернил и плакать...»

Как это обыкновенно сказано Борисом Леонидовичем, простенько, если не примитивно.

Но отчего же – так пронзительно?

Откуда такая тоска?

В чём секрет этих кухонных слов?

*Февраль*: что в нём такого необычайного для вьюжной страны по имени Россия?

*Достать*: господи милосердный! да ведь словечко-то для самого частого, почти ритуального, замусленного применения! ибо что-либо «достать» в Стране Советов есть дело первойшей необходимости, дело чести, доблести и геройства!

*Чернил*: у-у-у! это ненавистное, это сучье племя канцеляристов, от ЖЭКа до ЦеКа, это они приучили человека к тому, что без бумажки он букашка...

*Плакать*: а что ещё оставалось делать в этом царстве-канцелярстве? обычное же дело, проснись и пой: «Слезами залит мир безбрежный...» – и никого не удивишь, не огорчишь и даже не обрадуешь, разве что скучающего мента, старательно делающего вид служивого человека: по какому вопросу плачем, гражданин? – и на том спасибо ему, доброму человеку –

– ...бог ему судья.

– Да? Ладно, пусть бог, пусть рассудит. Так ведь не скажет же для остальной публики!

– Я что-то не пойму. Объясните доходчиво...

– А какой мне доход от такого объяснения?

...мелкая, совсем пустяковая царапина, но ведь всё ж таки производственная травма! И пошёл за бюллетенем в медпункт: перевязать бы палец с йодиком. А ему отвечает человек в белом халате: во-первых, купите в аптеке йодик, фурацелин, бинт, вату, лейкопластырь антисептический и, во-вторых, тогда заходите. Вышел Боборыкин в коридор, задумался. На стенах плакаты Санпросвета, так Боборыкин их не читал. У него мысль в голове формулировалась. И когда сформулировалась, тогда Боборыкин культурно постучал в прежнюю дверь, вошёл и спросил вежливо, с соучастием и соболезнованием: а медсестру вам не привести?

...начинают заканчиваться. Или заканчиваются начинаться. В сущности, какая разница? С этими деньгами всегда так несимметрично, что хрен поймёшь чо к чему –

...конечно, надувать важные щёки – это твоё личное дело. Другой ракурс: а перед кем ты щёки-то свои распузыриваешь? И вот этот ракурс уже не твой одиноличный, и надувательство твоё есть уже как бы дело не личное, а публичное, общественное, и поэтому не надобно тебе, сударь, обижаться, когда граждане, удостоенные твоего лицемерия, очень даже справедливо называют тебя: пузырь ты этакий, гондон штопаный и так далее. Это, конечно же, прискорбно и не очень красиво. Но третьего ракурса в нашей прямолинейной нации нет и не предвидится –

...и вот когда до Свистунова дошла очередь произносить тост, он встал и сказал:

– Да будьте вы прокляты всеми бесами поднебесными, чёртом с чертенятами, дьяволом с копытом, крошечным князем тьмы сатаной – будьте вы прокляты. И, стало быть, жить вам долго, весело и счастливо.

Потом случилась большая драка –

...се: во грехе словоблудья  
мат потому и святой, что повенчан он с нимбом  
сакральным,  
точно повинчен,  
как гайка с болтом и материя с духом,  
неизносимо, незыблемо и легендарно,  
как Чук и гекзаметр –

...умоляю вас: читайте, читайте хорошие детективы! Начните, например, с первой части «Фауста» или с первой же части «Мёртвых душ». Но лучше всего начать с «Гамлета, принца датского» –

...господи, как же вы мне надоели с вашим чехоточным воплем! В Москву! В Москву! В Москву! Какая пошлость... В конце концов, что такое Москва? В Москве, между прочим, Наташа Ростова маялась по князю Андрею и в той маяте восклицала: Мадагаскар!.. Представляете? Москва ей не даёт даже толком помяться, потомиться как следует в своей девичьей любви. И вот я вам говорю: зачем вам эта Москва? Если вы мне не верите, читайте художественную литературу без Чехова. В такой литературе чёрным по белому написано: милостивые государи и государыни, уезжайте ради бога в Европу, там Гвадалквивир, там Гибралтар и Занзибар... Тем более – Аэрофлот! С Аэрофлотом от Магадана до Мадагаскара – рукой подать!

– А вы что, тоже из тех милостивых государынь будете?

– О, да! Я современная женщина.

– Тогда я вам тоже скажу: милостивая государыня, на хуй мне ваш Гвадалквивир?

...старая перечница –  
Как предмет соперничества –

...между прочим, в России – и снег, и ветер, и звёзд ночной полёт. А в Лондоне – что? Всего лишь туман. Опять туман. Один туман. И никаких тебе запахов тайги –

...зятёк у меня, звать Володя. Капитан уже. Военный лётчик. Так ведь не летает же, вот в чём проблема! Прыгает на катапультах К-36 в Ближнем Подмосковье, в Щёлкове. Там секретный испытательный центр.

– Откуда знаешь, если секретный?

– Тесть всё должен знать. От тестя, тем более любимого, нельзя секреты сокрывать. Поэтому я весь в курсе дела. А в некотором роде даже в обиде. Мы ведь надеялись, что Володя с его способностями и здоровьем обязательно в космонавты выйдет. А он вон чего... на катапультах прыгает, на скорости тыща двести кмэ в час –

...это был жутко скоропалительный факт торжества земледелия: целых два человека в одном месте в одно время. И он воспылал, и она воспылала, и через два призывных мига он вылюбил её яко песнь песню, яко птичку небесную, ибо сам был точно птичка, гусь лапчатый, ещё тот перелётный, и вот разлетелись оне, две птички, она – сюда, а он – туда, куда откуда примахал, где гумус сапиенс тучнел и томился без плодородия подобно гаремному стражнику, а она тут успокоилась, так и живёт, с лицом, перекошенным от счастья труда и невиданных-неслыханных побед в соцсоревновании с тыща девятьсот тринадцатым годом, под руководством нашего всенародно избранного губернатора, у которого, между нами говоря, от губернаторского чина имеется только губа, которая не дура, а всё остальное – от коммунистической партии –

...и я велел себе купить мне бутылку водки!

...недосказанность. Что такое? Понимаешь друг друга с полуслова или даже вовсе без никаких слов, когда недосказанное вполне понятно и определённо, не требует продолжения и заключения, и воспринимается просто и явно: как дважды два, при этом несказанное вовсе необязательно есенинское «синее, нежное», у него целый мир тонов, полутонов, оттенков, и дважды два не всегда четыре –

...купил селёдку, завернул в газетку. Газетка «Правда». Пришёл с той правдой домой, на законную жилплощадь. Положил на стол. Развернул газетку. Обнажил селёдку. А она, сука, хохочет: «Правды» начиталась – и как после этого прикажете жить простому сухопутному человеку в таком цирке?

...шпрыхтшталмейстер. Это попервости, конечно, страшно. Но вскорости уже ничего, даже весело. Это в цирке должность типа конферансье, объявляльщика номеров программ. Обыкновенное дело. Имя и фамилия тоже обыкновенные: Цукер Кусковойт. По национальности бывший еврей, об чём сразу даже и не подумаешь, потому что носом вышел умеренной продолговатости. По характеру общительный, развязный, в любовных связях по месту работы никогда не участвовал. В коллективе его уважают, причём не только люди, но даже начальство. Положительная черта: любит кататься на моторной лодке. Эта черта у него находится вне служебного помещения, а в помещении обожает кактусы, и этот факт несколько настораживает –

...а ещё эти ложные идеи – с гарантированным финансированием и жертвоприношениями во имя и за счёт светлого будущего и всевозможного процветания: марксизм-ленинизм; мировые религии, исключая дзэн; СПИД; озоновая дыра над планетой; обмеление Каспийского моря; поворот северных рек на юг, в Среднеазиатское безводье – для оправдания самого существования Минводхоза; дамба в Финском заливе... Со временем многое становится очевидным,

заведомая и просчитанная ложь переходит в разряд ошибок, но дешевле от этого не становится –

...по губам текила  
и по усам текила  
вельми презельно и премило  
в немеряных промилях  
и душу выпрямила  
от рокового наклонения к ногтю –  
в ноктюРН:  
и сам хам  
и Хем всем  
так-то  
на три такта  
по усам текила  
и по губам текила  
а в рот фронт текила  
ни хрена не попала –

...конечно! Надо было бы говорить ему на свежую, на ясную голову. Но – что поделаешь? – других голов у нас нет и не будет. Уж какие есть, так теми и будем есть, то есть кушать, и слушать, говорить и думать –

...мысли, записанные буквами на бумаге, припорошенные нежным табачным пеплом, сбрызнутые небрежным вином, опечатанные стеариновыми следами... – мысли становятся незабудками –

...но вот заговорили вдруг на каком-то чудном языке! И шанец вместо шанс, и шмонец вместо шмон, и – вершинно! – шванец, который на идише означает то же, что изображается нетерпеливыми русскими мальчиками на заборах тремя русскими буквами, но это изображение, увы, не мир –

...большегрузные, широкогрудые и твердолобые Белазы и Камазы самосвальным своим манером упорно пробивались сквозь пургу. Они шли колонной, с зажжёнными фарами. И снег

был, и ветер, и звёзд ночной полёт, и всё вместе походило на фронтовое передвижение войск... В энском населённом пункте колонна достигла целевой точки. Точка называлась «Сельпо». Загрузили полные кузова ящиками с водкой, портвейном и спиртосодержащей парфюмерией плюс лосьоны. Торговая точка была опустошена, в ней остались только резиновые галоши и цинковые вёдра. И колонна двинулась в обратный путь, сквозь пургу, снег и ветер, колонной усталой, с зажжёнными фарами, с нечеловеческим героизмом – назад, на стройку века, где её ждали мозолистые люди: очень мозолистые и очень ждали –

...понедельник – день тяжёлый, день восстановительный, но баня и театр по понедельникам не работают, такой у них зло- вредный антинародный принцип. Полный отрыв от жизни –

...а как же! Помню, помню. Это было время, когда наша великая империя Советов говорила с внешним и внутренним мирами голосом Юрия Левитана. Вообще это был юрский период империи. Лязгали на ветру жёсть и фанера. Это были лозунги Коммунистической партии. У ней был силиконовый лексикон.

– А ещё, – сказала тётя с диким восторгом, – школьницам тогда разрешалось носить до четвёртого класса чёлки, но уже с пятого – только косы, причём не одну, а обязательно две –

...комментарии к чёрной кошке и серой мышке –

...слушайте, я вам так скажу, шо вы мне даже не поверите за тот несчастный пароход «Титаник». Кто виноват? Это, говорят, опять виноваты те жида Боцман, Лоцман, Штурман и Мичман. А я говорю в лицо тем распущенным антисемитам: слушайте, какая клевета, когда виноват один айсберг! – и ничего больше, кроме чистой правды, шоб мне провалиться на этом самом ровном месте, когда выходят такие страшные ошибки ценою жизни целого народа полного парохода, не считая Америки, Польши, России и других невинных стран нашего земного шара, и куда ж вы будете бежать спасаться,

если наша планета вдруг наскочит на бродячую космическую комету? Опять вам будут жиды виноваты? Тогда я вам вторично скажу: это будет опять несерьёзно, но уже, как вы сами своим умом уже догадываетесь, в последний раз... Я так уже сейчас говорю, как первый и последний бог, но им всё выходит насквозь ушей, и если это получается не полный кошмар, то что же такое по-вашему последний день Помпеи?

...воровской мир уважает товарища Сталина. Как никак – корифан всех наук и лучший браток всех физкультурников –

...обыкновенное колесо со ступицей. Оба в обод. А обод – свободы пограничник. Но я вас сейчас вообще убью! Штандартом Древнего Ура является колесо без спиц, и возраст тому колесу пять тысяч лет –

...ты ему хошь в лоб, хошь по лбу, хошь кулаком под ребро – бесполезно, ему всё без толку, знай себе объявляет: дескать, задумчивый я, и вы мне свой кол на голове не чешите! Ну, что с ним поделаешь? Уж такой, видать, уродился, что задумчивый без последствий –

...вот, например, когда зубы в наличии, то всегда боишься их потерять. Всю зубастую жизнь по этому поводу проживаешь в страхе. А когда, например, зубов уже нету, так терять уже нечего. Так ведь? Теперь скажите честно, как демократ демократу: когда лучше и спокойнее жизнь проживаешь? То-то! Вы ещё молчите, а я уже всё про вас понял: сочувствуете вы мне и завидуете. А теперь я вам изложу краткие курсы историй про то, как, когда и при каких стечениях обстоятельств я терял эти проклятые зубы в смысле протезов. Итак, я начинаю. Будучи терпким человеком...

– Терпеливым?

– Молодой человек, если вы такой нетерпеливый, то что же вы можете понимать в настоящем терпении?! Я сомневаюсь. И это во-первых. Во-вторых, я вам русским языком говорю, что я, будучи человеком терпким... Терпким, понимаете?.. –

...а потом эта крохотная девчущка своей кукле страшную сказку рассказывает:

– ...и живёт там лохматый, бородатый, вообще нестриженный злой волшебник Страхуило...

...разведи огонь, руки, сад с голубями. А пиво – не надо. И мосты не надо. И союз двух. Не надо. Пожалуйста –

...молодой человек, ну что вы мне всё говорите: Крим, Крим?! А что я не видел в том вашем Криму на тех курортах? Я видел там всё, что вам не снилось! Так что, вы очень напрасно говорите мне, как попугай: Крим, Крим! Эта местность не делает мне счастья. Это невозможно печальный факт, он меня огорчает до слёз как целый «Вишнёвый сад» в постановке Художественного театра –

...когда загорелась лампочка Ильича...

– Извините, лампочка Эдисона.

Старик покачал головой и скорбно сказал:

– Запомни. Единственный, кто родился не в России, это котлета. Это факт истории. Тут спорить не будем. Но совершенно бесспорными российскими уроженцами являются и лампочки как бы Эдисона, и радио как бы Маркони, и дирижабль как бы Жиффара. Так нас учит наша партия. Запомни это и не говори глупостей, если не хочешь себе неприятностей –

...сколько же можно наговаривать на наших пожарников, на наших таксистов, на наших гаишников? Что вы вообще знаете о наших гаишниках, например? Наши гаишники ведь не только умеют полосатыми дубинками махать да штрафы выписывать. На самом деле – они ранимые, чуткие, даже как бы нежные. Они, например, приходят домой усталые, измученные, может быть даже раненые преступными элементами. Но они же ж не хотят огорчать своих родных и близких. Они запираются в уборной с томиком Гёте – и плачут, плачут... Ведь многие из них читать не умеют! А вы вот всё наговариваете, наговариваете, всяко выёживаетесь да умничаете, а того не

возьмёте в соображение, что жить-то своим умом – не каждому по-карману –

...потому что некрасивые самолёты не летают! Летают только красивые. Я зачем это говорю? Я это говорю, чтобы вокруг человека каждая штучка имела свою красоту. Даже пепельница. Даже, извиняюсь, плевательница или урна...

– С прахом?

– С прахом само собой. Там человек сгорел, как обозначил поэт Фет Афанасий.

– В урнах не горят. Горят на работе. В соцсоревновании с самим собой.

– А вот вы напрасно энтузиастов обхериваете. Нехорошо.

– И пусть нехорошо. Зато хорошее название для поэмы. Стишки сочиняете?

– Ну, и что? Красота – дело ж стихийное, куда денешься –

...и, наконец-то, он позвонил, из самого города Лондона:

– Это ты, Надя? Привет тебе из города Лондона!

– Привет тебе тоже! Долетел, значит?

– Ага, долетел. Шикарно долетел!

– И как там тебе в городе Лондоне?

– Нормально. Представляешь, здесь смог!

– Да? Ну, ты урод... Только в Лондоне и можешь...

– Погоди, ты не поняла...

– Поняла, поняла, ещё как поняла...

– Ты, Надежда, поверхностно поняла...

– А как же мне ещё тебя понимать, если не поверхностно? Знаю я тебя, скотина! Как никак пятнадцать лет как твоя законная супруга, и никакого толку от тебя –

...и вечные колокола ударились в злободневность: один – день – один – день... Таковые такты, акты актуальности – Пустота в них! Но пустота – это вам не пустьак –

...королева Непала?

Ни – налево! Ни – пыла!

Прямо сидит, как статуя замороженный...

В сущности, какое же в том королевское удовольствие?

...ну, ты прямо как вьюноша бледный со взором горящим! Чего ты несёшь? Знакомки, незнакомки, в бантиках, в перьях, в духах и туманах... Ты что, не понимаешь, что всё это лишь подручное сырьё? Из которого, между прочим, и лепится юношеская любовь, а когда слепится, то даже и не предполагается, что блоковская ваша Незнакомка на самом деле есть обыкновенная петербургская блядь. Так что, не звезды, молодой человек. И заруби себе где-нибудь в сокровенном месте. Есть тургеневские девушки, есть бальзаковские женщины – всё, других нет, вот и вся классификация. А все остальные – вышеупомянутые Незнакомки в перьях и туманах: то ли от Марка Саллюстия Лукана, то ли от Луки Мудищева –

– Как здоровье? В смысле внутренних органов.

– В этом смысле, под контролем. Как будто бы сам себе Чека и ОБХСС-совец. Аж противно. Это с одной стороны. А с другой – аж распирает от удовольствия –

...и присоветовал мне доктор по блату: семьдесят граммов алкоголя на ночь! дескать, пока вы спите, он будет делать своё полезное дело, сосудики очищать... Ладно. Принял ровно семьдесят. Лежу с закрытыми глазами и прислушиваюсь к алкоголю: делает он своё дело или не делает? Чувствую: кажется, ничего не делает... Добавляю ещё семьдесят... Короче говоря, к утру он заработал – как стахановец, как ударник коммунистического труда, как передовик социалистического соревнования с кем-то, но не со мной –

...и, что характерно, походка у этого Васи – как шагающий экскаватор, честное благородное слово! Или, как говорится, бульдозер. И мне от такого характера Васи прямо, так сказать, дискомфорт, ага!

– Да ты что заладил: так сказать, так сказать! Про трудового товарища? Нет уж, ты вообще об своём дискомфорте можешь хоть как сказать, но трудовой накал от твоего сказа ни в какую сторону не сдвинется. Значит, помолчи лучше –

...и Маша написала Ивану письмо. Во-первых строках она сообщала: «Дарагой Вонюша...» Иван прочитал, обиделся и разлюбил Машу, потому что Маша оказалась неграмотной, что в устной её речи при обжиманиях никак не проявлялось –

....вы говорите: высокое искусство! святое дело! сакральный промысел! Но вот ответьте вы мне ради бога: что такое понимается под искусственным смехом? Смех неестественный! Значит, искусство искажает естество? Искажает. А искажение естества, то есть природы, то есть природы – что такое? А это и есть культура. То есть – возделывание. Культивация. Приспособление природы к человеку. И нет тут никакой вашей сакральности, а лишь одно ремесло. Так для чего, в таком случае, нужен искусственный смех и искусственные слёзы? А чтоб заметили. Акцент. Педаль. Ударение. Усиление момента истины. Вот такая вот, любезный, арабская танга получается. И ещё эти мерседесы. А в мерседесах – папуасы –

...деньги? Деньги это ерунда. Деньги мы всегда найдём, это не главное. Главное – спонсоров найти –

...успех революции –  
в наличии валютцы,  
при этом опираться  
на методы пиратства.  
Вот так опережается  
любая операция –

...ах, если бы вы знали, братцы, как мне надоело каждое утро просыпаться!

## **ДВЕ УНЦИИ УДИВЛЕНИЯ**

В России вдруг вспомнили о шутовине, которую материалистическое мировоззрение страны Советов напрочь отвергло, на дух (на дых?) не подпускало к человеческому фак-

тору, обильно поливало едкою сатирою, при этом наше мировоззрение стучало указательным перстом в общественный лоб и (на всякий случай) по дереву, что, в общем-то, есть одно и то же, равнозначно. Штуковина эта – душа. Заговорили о ней, запричитали, запророчили, заголосили...

*А душа, душа-то  
Тем и хороша,  
Что летит куда-то,  
Крыльями шуриша...*

Так Екатерина Шаврина голосит, живём и в записи, средняя певичка, заполнившая щёлочку-амплуа между Зыкиной и Толкуновой. Бедная Катерина! Её одноименница из «Грозы» Островского грозилась утопиться по причине чистоты душевного смятения, но нынче-то, судя по устным и письменным голосованиям, душевные состояния людей вышли из более-менее приличных рамок пресветлого образа и оборотились в нечто чудовищное, куда-то летящее, крыльями шуришащее... Иначе, как же и чем объяснить это певческое признание в запоздалой любви к летучей мыши?

О душе заговорили. А она, между прочим, покуда помалкивает. Но уже как-то ворохнулась... Может быть, это ещё и не душа вовсе, а какое-то иное высшее образование (при нашем очень среднем незаконченном), потому что никаким философско-умственным определениям не поддаётся и территориально не прощупывается.

К слову сказать, Ленин и Сталин в этом деликатном душевном вопросе были вовсе не дураки. Они принудили советского человека забыть о том, что он является дитём вечности; они изъяли из жизни народа именно те ценности, над которыми были не властны ЦК и ЧК и которые не могли раздавать по своей монарше-партийной милости; это духовные ценности; а остались людям лишь те ценности, которые власть могла дать (или не дать) и, следовательно, отнять... Славненький басенный сюжет: морковка и ишак, человек в узде, народ на коротком поводке. Это очень удобная для властей вещичка – поводок. Удобен и народ, чьи идеалы называются словом «запрось»: госвласть отмерила тебе ситчику, колбасы,

мыла, эквиваленты тротила, квадратуру жилплощади – вот и сиди себе, не рыпайся, душу не трави и соблюдай очерёдность.

– Здравствуй, Чукча. Где твой Гекча?

– В очереди. Стоит. С самого рождения.

Ну что ж, очередь так очередь. Очень рад. Очень редкая очередь: один-два человека. Правда, каждая человеко-единица уже сама по себе и есть очередь, и этих очередей – миллионы. Сахара. Море. Сахарная песчинка, омоченная солёной морщинкою, – душа населения, среднестатистическая, нео-душевлённая.

– Чего такое сегодня выкинули?

– Фокус. Номер. Коленце. Китайские махровые полотенца. Недоношенного ребёнка. Слово из песни. «Дукат» россыпью. «Данхилл» фунтами...

– А у меня – главу из романа...

И вот стоит она, душа населения, скрестив смиренные крылья свои, и задаётся робким вопросом, настолько робким, словно бы это и не вопрос вовсе, а одно только тихое удивление – утреннее, детское, воробьиное: жив? жив! жив...

В очереди говорят: «Нет ни души». Это значит пусто, а то, что не пусто, есть вечность.

В очереди говорят: «Нет ничего за душой». Вот это и означает марксистско-ленинскую задушевность: кусок хлеба, медный пятак или, по крайней мере, обрывок верёвки, чтобы удавиться... в любом случае, вещьность.

Вот и выбор перед тобою: вещьность или вечность?

...Дотошные и запредельно нахальные в своих поисках американские исследователи провели серию медико-биологических экспериментов. Итог: с помощью высокоточных приборов установлено, что в момент смерти люди теряют в своём весе две унции, это примерно 60 граммов по-нашему. Неужели это и есть вес души человеческой? Такой маленький, почти пушинка, почти невесомый, а разговоров-то, разговоров... Две унции удивления, шестьдесят граммов вечности. Что тебе, душа наша, до наших слов?! Включаю телевизор...

*Ангел мой, не спи, не спи!*

*Я давно уже в пути,*

*Ворота мне открывай,*

*Покажи, где ад, где рай.*

*Ангел мой, хранитель мой!  
Нету плети под рукой.  
Мою душу пожалей,  
Поскорее, поскорей...*

Вика Цыганова поёт. В офицерском кителе нараспашку, в бриджах. Сапоги-бутылочки. Георгиевский крест на груди... Стереотип исторический – последняя обозная блядь.

## ДЕНЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

*Понедельник, понедельник,  
Понедельник дорогой,  
Ты пошли мне, понедельник,  
Непогоду и покой...*

**Геннадий Шпаликов**

Конечно, стаканы содвигали, содвигали — разом и неоднократно, как же без этого...

А потом стихотворец Кобенков зарядил дуэльный «Лепаж» хлебным мякишем и обратился к виновнику:

— Кошелек или жизнь?

— Без кошелька-то... какая жизнь? — вздохнул виновник.

На что хозяин мастерской Александр Евгеньевич Шпирко (маленький Мук, чернобородый мудрец) отреагировал — отчасти задумчиво, отчасти превентивно:

— Между прочим, я вчера полы помыл...

Тогда Кобенков прицелился во всех сразу:

— Руки вверх!

Но никто ему не поверил. И тогда поэт принялся бормотать стихи, посвященные виновнику, — стихи из своей новой книжки, только что выбравшейся из-под типографской машины и по этой причине — малость покуроченной: нумерация страниц оказалась безбожно перепутанной, но зато по обложке порхали голубые шторы, голубая женщина, голубая чашка и

прочие голубые подробности, проза, ставшая поэзией, мелочи, бузина нашей жизни...

*Сначала — запах яблок, запах  
сырой земли, а после, в ряд —  
туман в серебряных заплатах  
и в медных латах — листопад;  
день станет тоньше, тени — толще,  
и жизнь, которую мы ждем,  
придет, как только прополочет  
и пасть, и пастбища дождем.  
Когда она в три пальца свистнет,  
то прежде всех на этот свист  
взлетят рябиновые кисти  
и левитановская кисть...*

...Накануне художественной выставки по поводу ее названия дебатировали трезво, пройдя, как никак, телешколу начального парламентаризма. Виновник выставки живописец Григ (в миру Сергей Григорьев) предлагал: «Экологическое рондо». Поэт Кобенков профессионально возражал: рондо — термин музыкальный, рондо — литературный, чертова дюжина строф, всего две рифмы, при чем тут твои живопись и фотографии, Сережа?

Григ загибал пальцы:

— Значит, так... Вариация на одну тему, два инструмента... Так? Все правильно! И в смысле литературы... Живопись и фотография — разве это не рифма? А тема одна: человек и природа. Тоже рифмуется, Пусть так и будет: экологическое рондо.

Кобенков рокотал:

— Сережа, тебе медведь на ухо случайно не наступал?

Григ отвечал, что не встречались.

Странный он человек, этот Григ. За сорок перевалило, а он все еще начинает, начинает, каждый день начинает — как будто с нуля. Дача сгорела... Жилой дом на капремонт определили, вот выселяться надо, а куда?.. Заколебали в доску военкоматчики: ихняя наглядная агитация все никак за

временем угнаться не может, вот они и прищучили запасника с художественным поприщем, с хорошим почерком — за бесплатно послужить Отечеству... А вот и выставка! Первая в жизни. А кому она нужна, в наше-то времечко... Вон, берлинскую стену развалили, обломки на сувениры пошли за бешеные деньги — это шоу! Ее королевское высочество принцесса Анна запросто по Иркутску разгуливает в джинсах и свитере... Призрак коммунизма уже не то чтобы бродит, но даже признаков призрака не наблюдается... Цены кусаются, и продавцы с покупателями... В коммуне — остановка. А ведь предупреждали умные головы: постой, паровоз, не спешите колеса. Приехали, гибрид твою ангидрит! И на станции этой — тупичок: кто с поезда сошел, кто — с ума, а дальше поехали одни только крыши и чердаки... Какое тут к чертовой матери искусство может быть? Какой вернисаж?

Закачали Грига рефлексии. Он гладил свои вельветовые кепочки, будто кошек, и сомневался: устраивать выставку или нет?

— Устраивать,— сказал Кобенков.— Принцессу Аннушку пригласим, пусть ленточку разрежет. И назовём выставку «Флейта Пана».

Опять сомневается Григ... Конечно, есть в предложенном названии что-то такое, этакое... врубелевское, лукавое и голубоглазое... и от Маяковского что-то есть — зоологический позвоночник и немножко нервно... Однако!

Когда Кобенков удалился, Григ засел за афишки. Взял плакатное перо и вывел решительно: ФЛЕЙТА ПАНА. Потом подумал: «Пан или пропал!» — и дописал: Экологическое рондо.

И тут уж его, художника, не переспоришь.

Так он видит.

Голые камни, скалы — обнажённые напластования, тектонический мозг Земли.

Путешествие в Неглиже. За голой правдой.

Голоя правда: король и маленький мальчик; печные дверцы из собрания собрата-художника Мошкина; царь-колокол, который не звонит, но под которым можно запросто переночевать по причине гостиничной напряжёнки в столице;

дуэльный пистолет «Лепаж», который не стреляет с середины прошлого века; серебряная труба, подвешенная к потолку в мастерской маленького Мука, — труба, которая не звучит... Но еще есть такая голая правда, когда труба запоёт, и пистолет отсалютует, а колокол заблаговестит во спасение России рассеянной, мира умирающего... во славу дня, которого ждёт художник и его друзья, наше живописное панибратство.

Прости нас, великодушный Пан!

Вот вопрос вопросов: кто что и как видит? Однажды ленинградский художник Толя Федосенко отважился написать мой портрет. Я был польщен. Но когда я взглянул на полотно, меня бросило в дрожь: на меня смотрел отверженный, проклятый человек, который, казалось, всю жизнь сидел, затаившись, по ту сторону холста, точно за кулисами, и дожидался случая, чтобы показать мне язык. Лицо его состояло из синих, фиолетовых и зеленовато-бурых мазков...

— Живопись не каша,— философически заметил я,— ее и маслом можно испортить.

— А я тебя таким вижу,— грустно ответил Толя.

— Да ты что, дальтоник? — заорал я.— Где это ты видел у меня на морде ультрафиолетовое излучение? Знать не знаю этого утопленника!

И только позже, позже...

Позже я совершил путешествие по книжным полкам маленького Мука.

...Древние греки, оказывается, писали небо чёрным: они не знали синей краски. Рембрандт изображал листья на деревьях коричневыми.

Из «Записных книжек» Чехова: «Большой выбор сигов» — так читал Х., проходя каждый день по улице, и все удивлялся, как это можно торговать одними сигами и кому они нужны, эти сиги? И только через 30 лет он прочел вывеску так, как следует: «Большой выбор сигар»...

Сюжет для небольшого рассказа.

А вот реальный случай: Поль Верлен купил сборник стихов Бодлера «*Fleurs du Mal*» («Цветы зла»), прочел название как «*Fleurs du Mai*» («Майские цветы») и написал рецензию, отметив несоответствие названия содержанию книжки.

«Я часто спрашиваю своих гостей,— писал в дневнике Анри Матисс,— заметили ли они чертополох возле дороги. Никто его не видит».

Огюст Ренуар жаловался: «Глаза утратили привычку видеть».

Эжен Делакруа констатировал: «У многих неверный или косный глаз. Они видят предметы в буквальном смысле, но не улавливают в них самого существенного...» В детстве Эжен объелся красками; они по одному только цвету своему показались мальчику обольстительно вкусными.

Ал. Бенуа недоумевал: «Почему люди не видят? Впрочем, это величайшая загадка, почему вообще люди не видят. И даже тогда не видят, когда все ясно как день».

Франсуа Клод Монэ приехал в Лондон и написал вид Вестминстерского аббатства. Работал Монэ при обыкновенном британском туманце. Когда картина была выставлена, она произвела в публике смятение: туман на полотне был окрашен в багровый цвет, тогда как даже из хрестоматий известно, что цвет тумана — серый... Покинув вернисаж, лондонцы вступили на свои улицы, взгляделись в туман и вдруг заметили, что он действительно багровый. Стали искать тому объяснение и сошлись во мнениях на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия искр в дыме фабричных и каминных труб. Кроме того, этот цвет сообщали красные кирпичи жилых домов и прочих строений... Как бы там ни было, Монэ был прощен публикой, его даже окрестили «создателем лондонского тумана». Какая обида для прекрасного английского пейзажиста Джозефа Тэрнера...

— Ну, хорошо,— возразит чеховский Икс, или лондонский Игрек, или иркутский Зэк.— Сигары мы прочли как сиги. Не разобрались в цвете тумана. Но как обстоит дело с самими художниками? На картине, например,— красный конь. Где, в какой конюшне видел художник коня такой масти? Красный туман — допустим. Красный кань — извини, подвинься. Между прочим, Петровым-Водкиным и его красными лошадьми Александр Бенуа пугал Репина, исторический факт... Или, скажем, работы испанца Эль Греко. Разве бывают на свете такие люди — растянутые, размазанные?.. Да ведь и это еще Мне самое причудливое! Абстрактное мышление плюс угол

зрения плюс классовый подход — и любая картина может быть разгадана, хоть и названий к ней при разгадывании можно дать бесчисленное множество. Но, я извиняюсь, когда мне вместо человека подсовывают утюг с ушами — увольте-с! мы от такого искусства в прострации и потеем. Мы — обыкновенные люди, и простые утюги на нас нервничают. А если художники не такие, как все, и видят по-своему, так народ здесь ни при чем.

Что ответить на такое справедливое замечание? Может быть, иной ревнитель соцреализма и скажет, что Модильяни пренебрегал натурой, что у женщин на его портретах чересчур длинные шеи и руки. Но картина не пособие по анатомии, это еще Эренбург заметил. Смешно говорить, ей-богу, что Модильяни не знал, сколько позвонков приходится на человеческую шею. Моди хорошо, точнее — досконально, знал человека. Может, потому и буйствовал, курил гашиш, пил вино чрезмерно и умер в госпитале, а через час после похорон его жена Жанна выбросилась из окна, оставив жить одинокой маленькую дочь, тоже Жанну...

Уж сколько раз в писаной истории приходилось страдать человечеству от того, что по воле короля под данные «видели» его новое платье! Буквально о том же говорит король Лир: «Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты!»

Гитлер считал себя художником. Черчилль серьезно занимался живописью. Сталин на заседаниях Политбюро машинально рисовал фигурки волков. Разные люди — одинаковая наклонность. Но ни тот, ни другой, ни третий не были людьми искусства. Да и упоминание о них вызвано всего лишь определенными ассоциациями, не более того.

Самая мудрая сказка на свете — о голом короле. А искусство (по определению Шкловского и Олеси) — это и есть тот самый маленький мальчик из сказки, который сказал простодушно: «А король-то голый!»

К слову, борьба за точное видение — это прежде всего борьба со злобным «неведением». И то, и другое дорого стоили миру в целом. И настоящим художникам — в частности.

И все-таки — так ли уж далёк от жизни иконописный (по задумке!) Красный Конь? Двойное значение слова «красный»

(красна девица, солнце красное) кое-что может объяснить в картине Петрова-Водкина. Но было бы странным лет сто назад написать Красную площадь преимущественно алой краской (сейчас — нет, не странно...)

Так ли уж далек от жизни художник, который, не теряя верности правде, постигает жизнь острее фотоаппарата?

Возьмем детали. Подробности по-кобенковски, если хотите.

Муж «дамы с собачкой», фон Дидерик носил «какой-то ученый значок, точно лакейский номер». И дальше; «...оба шли бестолково по коридорам, по лестницам... и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками».

Уж будто бы — все со значками? Все — лакеи? Все! Кроме Гурова и дамы. И собачки.

В хорошем, в общем-то, фильме Иосифа Хейфица эта сценка не нашла верного (чеховского) решения. А зря! И я сказал об этом Гурову-Баталову в Ленинграде... Он крякнул и ушипнул себя за бородку, которую вынашивал к съемкам нового фильма... Малая деталь, подробность целой эпохи, дар художнического видения и прозрения...

Эйзенштейн неоднократно писал об умножении, обогащении увиденного. Но — что такое обогащение? Подвалы старого скупого рыцаря? «Волн края жемчужны»? Золото, из которого Ильич намеревался делать унитазы коммунистических сортиров?

Обогащение жизни. Обогащение ценой жизни.

В годы войны с Гитлером детдомовская ребятня хлопала в ладоши, получая корку: «Хлебушко дают!» Хлеб превращался в изысканнейшее из лакомств. И трехлетний Шурик Игнатъев в блокадном Ленинграде нарисовал карандашом черные, страшные, запутанные петли-каракули, а посередине — овал.

— Это что такое? — спросили его.

— Это булка, — ответил Шурик. — А вокруг война. И больше я ничего не знаю...

Рисунок хранится в музее 235-й ленинградской школы.

Вот, собственно, это и есть задача художника: так увидеть хлеб.

...Из записных книжек Ильфа:

«Шел Маяковский ночью по Мясницкой и вдруг увидел золотую надпись на стекле магазина — «Сказочные материалы». Это было так непонятно, что он вернулся назад, чтобы еще раз посмотреть на надпись. На стекле было написано — «Смазочные...»

Ну, и что же? — спросите вы. А то, уважаемые, что здесь всё правда, суцая правда, голая правда. На правду таких подробностей обратили внимание и Олеша, и Шкловский, и друг мой ситцевый Кобенков. А если правда — значит, прекрасно. Лавка, где продают сказочные материалы! Прекрасно и то, что Маяковский сразу, а не через 30 лет, уточнил свое видение. Ибо: если человек уточняет, то, значит, он в глубине души никогда не отрицал существования лавок со сказочными материалами. Пусть на самом деле нет лавки. Поест художник. Солидол он делает сказочным материалом. Девушка, которую бьют кнутом на Сенной площади, оказывается Музой. Червивое мясо на броненосце российского флота превращается в приговор царизму. Пенсне врача прямо указывает на символы исторической слепоты. А простая картошка становится чапаевской конницей, преследующей беляков...

...А между тем уж кончилось веселое вино, и табак кончился, и под самым потолком, на трехметровой высоте, в уютной плотненькой паутине, словно бы в гамачке, соблазнительно обозначился приличный окурок. И маленький Мук, как и положено всякому мудрецу, заглянул с прогнозом в завтрашний день:

— Опять полы помою...

— Полы выдержат, — сказал я и предложил: — А не послать ли нам, братья-пиратя, телеграмму кому-нибудь? Например, приветствие съезду?

— Лучше отбить Лобановскому, — сказал живописец Десяткин, обожающий футбол. — Так, мол, и так, Валера, очень мы тобой недовольные...

— А я бы принцессе телеграфировал, — сказал поэт Кобенков, — в Зазеркалье...

Кончался вечер. Наступала ночь. Ушел в неписаную историю вернисаж, обозначающий в переводе с французского «день покрытия лаком». День как день, совершенно по-Шпаликову.

Однако же есть, точнее — осталась, на выставке Грига одна престранная работа...

Проезд автобусом, до здания Иркутской кинохроники. Там радушно встречают. Там на стенах вывешены картины, там всегда найдется даже чашечка чая — для протокола, и мир художника Сергея Григорьева, по-своему видящего мир, — для души.

30 августа 1990 года

## ПРО ДВУХ ТИШАЙШИХ АВГУРОВ

Музейная тишина красноречива! И Ирина Георгиевна Федчина — тишайшая пророчица этого мира.

— Вы не желаете сделать скидку на время? — спрашивает её журналист Коля Евтюхов, заранее знающий ответ.

А муза музейная заранее знает вопросы.

— Вы вспомните своё студенчество, — отвечает она. — Я не спрашиваю тему вашей дипломной работы, это неважно. Но припомните, чьи имена открывали библиографический список? Классики марксизма-ленинизма! Помню, мою дипломницу, написавшую работу "Китайский фарфор в коллекции Иркутского художественного музея", едва не "прокатили" на защите только потому, что по моему совету студентка ни разу не упомянула Маркса, Энгельса, Ленина. С большим трудом удалось доказать комиссии, что коммунистические теоретики и практики к китайскому фарфору не имели никакого отношения. Вы улыбаетесь, Коля?

...Говорят: авгур, внимая авгуру, не может не улыбнуться. Это так. Но два понимающих друг друга собеседника не были авгурами, то бишь людьми, делающими вид, что посвящены в особые, недоступные другим, тайны бытия. О, нет! Они были и есть, как все, то есть не такие, какими были снаружи: "копилки" протестующего сознания, ревнители тайной свободы, по воле

выпавшей из социализма судьбы выбиравшие из двух зоилов наименее зловердного.

## НА СВОЁМ МЕСТЕ

— Коля, — говорю я живописцу Башарину, — дорогой, и почему это у тебя в мастерской такой бардак? Даже стакана подходящего не найти. Всё валяется: где попало, как попало... Пылища. Грязища. Ты бы прибрался тут, что ли, малява...

Башарин стоит посреди художественного беспорядка в позе римского патриция. На плечах — узбекский ватно-стёганный чапан из самого настоящего Самарканда. На голове тубетейка. В руках балалайка. За спиной, на стене, — "Шоколадница" Жан-Этьена Лиотара.

Башарин щурит хмельной глаз и извещает:

— У художников ничего не валяется. У художников всё лежит на своём месте. Правильно я говорю, красавуля?

С ловкостью фокусника он извлекает из воздуха хрустальный фужер.

Потом роется в домашней аптечке, выявляет таблетку активированного угля (от поноса), принимает, ощущает её пальцами и начинает портрет...

## ВЕРНИСАЖ

Ангарский художник Александр Самарин в майский день побывал на именинах собственного сердца. Как же! Встретился со своими давними работами, которые явились в Доме литераторов из частных собраний.

Писатели выступали как по-писаному. Поэт Кобенков по-своему академичен. Прозаик Корнильцев в лирику ударился. Искусствовед Тамара Драница, как всегда, точна в определениях, не всегда понятных для окружающих. Ещё молодой драматург и уже пожилой поэт Шманов чуть ли не целые мизансцены расписывал...

— Я, — говорит, — помогал Самарину сегодня утром картины вешать. И вы не представляете, какое я получил от

этого удовольствие! Мне ещё ближе и понятней стало Сашино творчество. Вы знаете, я, вообще-то, многих вешал...

— Всех не перевешаешь, — услышалась тихая реплика.

И в этот момент в холл ввалилась живописная компания художников во главе со своим председателем Муравьевым. И пошли поздравительные речи по новому кругу...

— А что скажет ревизионная комиссия Союза художников? — спросил Кобенков.

И заговорил шаржист Олег Беседин. Он у них в теоретиках ходит.

— В наше время... в наше трудное время, когда жизнь представляется кучей, извините, не скажу чего... В наше трудное время настоящему художнику нет никакого дела до этой кучи. Задача истинного художника в том и заключается, чтобы сделать свою, новую кучу...

— Да уж, — услышался из угла прежний тихий голос.— Если уж делать, так делать по-большому...

У триумфатора были невесёлые глаза.

## КОЛЯ И ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ

В молодости художник Николай Статных жил некоторое время в Новокузнецке. С женой-живописицей и малой дочкой ютились в подвале жилого панельного дома, где до них была худфондовская мастерская.

В наследство от предшественников Колиному семейству достались: швабра, электроплитка, мешок опорожненных бутылок и творческое наследие фондовских живописцев — 50 портретов Дзержинского и 20 штук — Ломоносова.

Чему быть — того не миновать. Однажды Коля с приятелем попал в медвытрезвитель.

— Ну и что? — спросили строго блюстители. — Будем штраф платить? Или будем документы оформлять?

— Как хотите, — смиренно сказал Коля, а внутри у него всё дребезжало. — Только я хочу сказать вам последнее слово, товарищи медицинские уполномоченные.

— Говори.

— Чего-то тут у вас явно не хватает...  
— У нас не хватает? — побагровели товарищи.  
— Ага. Солидное учреждение, а портрета Феликса Эдмундовича не наблюдается. Нехорошо как-то, некультурно. И не стыдно вам?

Через полчаса от вырезателя отвалил милицкий уазик, синий, с красной каёмочкой;

Сначала до дома довели Колиного собутыльника, сдали с рук на руки ближайшей родственнице, без расписки, а потом уж и в Колин подвал направились.

— Только что из-под кисти! — объявил Коля, выдирая из кучи портретов железного Феликса; тот скрипел и не поддавался. — Вот я его сейчас ещё маленько... Маслицем, лачком, тройничком...

— Шедевр, можно сказать. Для Русского музея приготовил, да уж никак не могу отказать вашей просьбе, товарищи чекисты.

Ухватились чекисты за раму. Попёрли.

— Вы там того... поосторожней! — покрикивал на них Коля.  
— Как- никак, а всё ж таки классика! Привет начальнику!

— Ага, — уважительно говорили люди в погонах, транспортируя Феликса в машину. — Заходите, Коля, как-нибудь ещё...

— Да уж как-нибудь... Постараюсь, — уклончиво отвечал Коля.

Короче: как он ни уклонялся, но за год-полтора интерьеры всех вырезателей и милицких отделов города украсились живописным Феликсом.

А Ломоносов, к сожалению, так и не востребовался.

## **АЛЕКСАНДР, СЕРГЕЙ И АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**

Однажды живописец Сергей Корнев задумал написать портрет молодого Пушкина. Откуда свалилась такая задумка? Да ниоткуда. Вот захотел художник потрогать пальцем великого поэта, точно живого, - и всё!

Сидит как-то Сергей в своей мастерской, последний стакан портвейна «Три семёрки» перед ним то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон, это сложный вопрос... Сидит, мурлычет... душа моя пуста тобой, метафизика трижды семь, и где ж твой туз козырный завалился?..

И тут является с дружественным визитом самый близкий друг и сотоварищ по изобразительному искусству и прочим прикладным художествам Саша Шпирко: маленький, чёрненький, вертлявенький, бородатенький, и кудри до плеч, и глаза вертучие.

Как уж там у них, двух живописцев, случилось – никому доподлинно неизвестно, но факт и после факта остаётся фактом: разглядел Коренев в своём друге именно того Пушкина, которого мечтал увидеть на собственном холсте.

О, недаром говорят, что искусство требует жертв!

От шпирковской бороды через полчаса даже следа не осталось, как будто бы и вправду жизнь и судьба держались на волоске. Зато бакенбарды получились точь-в-точь, как у двадцатилетнего Александра Сергеевича.

У Коренева бешено трепетало сердце и прочие внутренние органы, руки тянулись к перу, перо к бумаге, бумага тоже куда-то утянулась... Коренева даже какая-то нечаянная робость пробрала, до того было велико внешнее сходство живого товарища с покойным гением.

Однако Саша Шпирко, которого вдруг пробрала какая-то нечаянная ответственность, мудро решил не спешить, купить ещё пару бутылок портвейна, вот тогда и сядут они, два товарища, друг против друга, примутся неторопливо, сосредоточенно и вдохновенно выпивать, закусывать и читать вслух отрывки из «Руслана и Людмилы».

На выходе из магазина Саша и Серёжа столкнулись, что называется, лоб в лоб с мужиком, простым советским человеком.

– О! – воскликнул мужик и потрогал Шпирко пальцем: – Лермонтов! Ещё живой!

После чего упал в обморок на нашу нервную, неровную почву.

Это был, вероятно, очень впечатлительный простой советский человек.

А портрет молодого Пушкина, увы, так и не состоялся. Очень жаль. Талантливая кисть молодого Коренева сохранила бы нам лицеистский облик молодого Шпирко.

Ушли...

Не единожды писано-сказано: блажен, кто верует... Но что мне, однако, эта блажь, когда я совершенно точно знаю: они, все трое – Александр, Сергей и Александр Сергеевич – безусловно встретились там, откуда известия до нас, отставших, не доходят.

...После написанного я обратил внимание вот на что: роковой январь сложился так, что дни недель совпадают — как в 1837 году, так и в 1999-м, пушкинском юбилейном.

Две пятницы — с дистанцией преогромного размера.

А между двух русских пятниц любая трагедия уместится, втиснется неизбежно... Исследователи доподлинно установили: между 22 и 25 числами января произошёл решительный перелом в настроении и поведении поэта, приведший к принятию неотвратимого решения.

Полистаем общий календарь 1837/1999 годов.

22 января (пятница). Евпраксия Николаевна Вревская пишет письмо по-французски: «22 января визит Пушкина».

В этот день умер Сергей Коренев.

23 января (суббота). Пушкин услышит от Даля, что шкурка, ежегодно сбрасываемая змеей, называется выползина. «Да, — сказал он, — вот мы пишем, зовёмся писателями, а половины русских слов не знаем»... А вечером был бал у графа Ивана Воронцова-Дашкова, где Дантес, уже женатый на сестре Натали, открыто флиртовал с весёлой и беззаботной женой поэта, а поэт скрипел зубами...

24 января (воскресенье). Пушкин явился к Далю в новом сюртуке и шутит: «Какова выползина!» Потом посерьёзней: «Я только что перебесился. Я буду ещё много работать»... Дома грустен.

Молча сидит на стуле, а на полу, на медвежьей шкуре, примостилась жена, положившая голову на колени мужа. Молчание черноречиво.

25 января (понедельник). Вревская в новом письме пишет: «Сегодня утром я собираюсь пойти с Пушкиным в Эрмитаж»... Не состоялась прогулка.

Днём на Смоленском кладбище похоронили Коренева.

К вечеру Пушкин принял окончательное решение о поединке с Дантесом и отправил городской почтой письмо барону Геккерну (дата 26 января поставлена им ошибочно).

Покончил с собой Саша Шпирко.

26 января (вторник). Дантес вызвал Пушкина на дуэль.

27 января (среда), в пятом часу пополудни прогремели два выстрела на Чёрной Речке. Черноречие обернулось красноречием.

28 января (четверг), в 3 часа ночи раненый Пушкин велел слуге подать ему один из ящичков письменного стола. Слуга исполнил волю, но, увидев в ящике пистолеты, разбудил Данзаса, дремавшего в вольтеровском кресле у окна. Данзас решительно отобрал оружие, которое Пушкин уже успел спрятать под одеялом

А боль всё усиливалась.

29 января (пятница), в 14 часов 45 минут пополудни Пушкин умер в полные 37 лет.

В это же время в могилу на Смоленском кладбище опустили гроб Шпирко. На своём 37-м году жизни он написал картину «29 января. Натюрморт с маской Пушкина» (хранится в собрании поэта Анатолия Кобенкова).

...И вновь — после написанного — дополнение из старых блокнотов, несколько строк, сделанных накануне 200-летия, в 1998 году... « В 1835 году издан сборник Гоголя «Арабески», в котором помещена статья «Несколько слов о Пушкине». Там есть известные слова о том, что Пушкин — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Прикинем!  $1835 + 200 = 2035$ . И вывод: ждать, в общем, недолго, всего лишь 37 лет. Но сочетание таких цифрстораживает...»

С тех пор прошло уже много лет, жизнь вкатилась в новый век, а я всё не могу окончательно решить: чего же с каждым годом становится всё меньше и меньше? Лет или шансов? К тройке с семёркой — ещё бы туза, но где его взять? И старуха-история продолжает высказывать тайную недоброежелательность. И — как апостольская апострофа, постскриптум от Пастернака: «Что мне делать с этим январём?» А тут же, рядом, Мандельштам: «Куда мне деться в этом январе? ..» — вопрошение ещё из той поры, когда империя температурила тридцать седьмым годом.

## ПРЕМИЯ

Поэт Алёша Шманов за маленькую книжечку стихов «Автопортрет в пейзаже» получил премию неожиданную, необычную: от художников.

Пригласили Алёшу в узкий круг краковской колбасы. Повесили на шею. Взрыв оваций. Круг почёта. Автографы.

Как положено, премию надо отметить.

Откупорили. Разлили.

— Ты, Алексей, не стесняйся, — сказали лауреату. — Будь как дома. Располагайся... Шею-то не шибко жмёт?

Алёша вздохнул и вылез из круга. Премию аккуратно порезали и разом сдвинули стаканы:

— Дрожит художника рука! Но быстро сохнет политура! Ура!

Хорошая была премия. Нужная. Нежная. Вкусная.

## ОДНАЖДЫ ИЛЬЯ ПРОРЁК...

Известный художник Илья Глазунов как только заговорит о патриотизме, так сразу вспоминает о маме. Вот и на этот раз вспомнил — в телевизионной передаче, в беседе с литератором-патриотом Павлом Гореловым на тему всепобеждающей любви к Родине.

— Патриотизм, — сказал Глазунов, — это единственная идея, которую нельзя оседлать. Как нельзя оседлать любовь к матери!

Тут, правда, вмешалось нечто гужевое. Но дальше пошло ещё более удивительное.

— Гитлер объединил все классы вокруг национальной идеи и восстановил Германию из пепла. Сталин в трудную минуту подобрал выброшенную на помойку палку патриотизма... простите, знамя патриотизма и сказал: "За Родину!" И идея патриотизма победила! Потому именно эта идея так оплётана. Её боятся, как самого страшного атомного оружия, как боятся Чернобыля...

Так впервые в своей ораторско-проповеднической деятельности Глазунов заикнулся о радиоактивности, напрямую связав свою горячительную любовь к маме с оружием массового поражения.

А "палка патриотизма" — это, конечно же, оговорка, но оговорка во фрейдистском духе, поскольку патриотизм понимается Глазуновым как средство насилия. Да и Гитлер в его монологе не случаен, и Сталин, и Чернобыль...

## ГЛАЗУНЬЯ

В декабре 1986 года в Иркутске состоялась выставка работ Глазунова. Сам маэстро посетил город, в один-два присеста написал портрет Валентина Распутина, а в промежутках между присестами порассуждал в очередной раз о патриотизме и православии...

Понятно, что компатриоты приняли этот визит "на ура". Надежда Степановна Тендитник выступила в печати с очередным панегириком во славу идей, бережно лелеемых в особнячке на улице имени Стеньки Разина.

Впрочем, были и другие мнения относительно творчества Ильи Глазунова.

— Люди, понимающие живопись, вряд ли принадлежат к поклонникам его таланта, — заметила Ирина Федчина, искусствовед Художественного музея. — Глазунов всегда кожей чувствовал конъюнктуру, чувствовал довольно тонко —

в этом ему не откажешь... Во времена хрущёвского потепления он, как говорится, выплыл на Достоевском, а через него обратился к теме Христа, теме покуда запретной. Но ведь одно дело — про что писать, а другое — как писать?.. Я помню глазуновскую картину "За ваше здоровье". Сидит мужик в драной телогрейке с орденом на груди, а перед ним бутылка водки. Такая вот картина получилась. Но тут в стране вдруг началась антиалкогольная кампания! И на глазуновском полотне произошли прямо-таки мистические превращения: вместо водки перед мужиком появился серпастый, молоткастый советский паспорт... Чудный художник.

## **ХЛЕБ, ВИНО И ДРУГИЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ**

Мир упоительно разноцветен.

Зелено вино.

Чёрные дыры. Белые пятна. Белинский с Чернышевским, кстати, тоже навели на мир полосочки...

Красные книги.

Коричневые вожди.

Серые рукописи.

Розовые девочки и голубые мальчики.

Зелёные партии.

Оранжевое небо, солнце, мама...

Человек-редиска, наподобие бело-красной гвардии.

Жёлтая пресса.

Спина белая, нешуточная, потому что она сначала вовсе не белая, а мокрая. И вообще белое... тут можно и без уточнения, просто — белое, потому что не красное, хотя пьют и то и другое...

Синь-порох. "И синий вол, исполненный очей", — как справедливо заметил легендарный Хвост, а Хвосту подпел БГ, первый рокер России. И Пётр Лещенко — из старенького коломенского разбитого патефона — о том же самом: "Сыграй мне синюю рапсодию..."

Белый стих.

Чёрная икра.

Красный петух под крышею, а крыша поехала...

Да уж, крыша... Дом. Россия. Земля. Радужный шарик, запущенный Творцом вроде гончарного круга, но ставший запущенным, как ракеты, деревни, болезни и агропромышленный комплекс... "Хочешь жить — умей вертеться!" — сказал Создатель и подмигнул художнику. И миг сей протянулся на вековечность.

Хорошо молиться тогда, когда знаешь — кому. Художник не знает "кому", знает "чему", и посему он — великий грешник, негодный мгновению. Но ведь и то правда, что не все угодники — обязательно святые; есть среди них и по женской части, и по обжорному делу, и по питейной статье. И не все святые — обязательно угодники, но каждый свят на свой манер — от мосластых баскетболистов с полотен Эль-Греко до аккуратных лилипутиков Веласкеса.

О, эти грешники! Они красят, как квасят, и квасят, как красят. Они всё знают, а если не знают, то догадываются: зачем переключаются колокольни и кузницы, отчего светится постель на пастели и почему одухотворена пол-литра на палитре... Но при всём при том им наплевать на кубизм тов. Фиделя, на кастрюльки "мыльнооперной" Вероники, на костры межпартийных инквизиций и прочее фу-фу. Такое наплевательство-направительство есть дело серьёзное, ибо является уделом только того, кто достиг такого уровня мастерства, при котором теряют смысл всякие лауреатства, дипломы, титулы, почётные грамоты и официальные юбилеи с надрывным эстетством: "Где же оно, завтрашнее слово?" Он уже сказал его — вчера. Он: друг мой Колька, Николай Петрович Башарин, русский, крещёный, беспартийный, член Союза художников с 1973 года, воинская специальность — хлебопек... Он делает всё возможное и невозможное для того, чтобы не вы, дорогие товарищи, смотрели на картину, а картина смотрела на вас. При этом художник тоже поглядывает на вас: дескать, правильно я говорю, малява?

А к вечеру прибежит из лица красавуля дочка, и Любовь Павловна прилетит из служебного космоса и организует картошку с луком плюс карасей, залитых золотом. И набулькаем мы, и выпьем за то, что 55 лет тому назад

Художник подмигнул художнику и впустил его, тогда ещё безбородого, в мир, где равноапостольно светятся крупные недостатки и приятные мелочи жизни... Игрушка и груша, иконы и кони, "Икаруссы" и Кара — пожилая ворона, живущая на гигантском тополе во дворе старого иркутского дома. Родового башаринского гнезда.

Там покой и воля...

Октябрь 1995 года

## КЛАССИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ ИСКУССТВА

Московский график Игорь Иванович Шилкин оказался однажды в Доме творчества художников в Паланге. Работал, отдыхал, досуг разбавлял водочкой, без этого не бывает...

И надо же было приключиться неприятности! Разбилось зеркало платяного шкафа. Не само разбилось, конечно. А что делать?

Игорь Иванович не стал очень-то мелочиться. Похмелившись, вдвоём с напарником по комнате они разобрали шкаф на мелкие щепочки и потом в течение нескольких дней выносили оные щепочки из дома. В портфельчиках выносили, в сосновый лесочек, где и закапывали останки бедной рижской мебели.

Перед отъездом жильцов кастелянша принимала номер. Графин один - есть, кровати две — есть, тумбочки есть... Где же шкаф — один, платяной, зеркальный, инвентарный номер такой-то?

— Какой ещё шкаф? — округлил глаза Игорь Иванович. — Не стояло тут никакого шкафа.

— И куда ж он подевался? — развела руками растерявшаяся женщина; ей было очень-очень неудобно спрашивать жильцов, но она была материально ответственным лицом.

— Получается, что мы его разобрали и в портфели спрятали, — грустно сказал Игорь Иванович и принялся открывать замки своего портфеля.

— Ой, что вы! — смутилась вконец кастелянша. — Простите, ради бога.

Покраснела, ещё раз извинилась и ушла в глубокой задумчивости. Ей было очень стыдно.

Бродячий сюжет. Совершенно вампиловский сюжет, обкатанный тремя иркутскими литераторами в одной из московских гостиниц. Тогда у них чуть не сгорел диван...

### **ОБЫКНОВЕННАЯ ТРОИЦА, или Немного расстроенная арфа орфографии**

Как-то раз забрели ко мне на огонёк два иркутских художника, Саша Шпирко и Женя Турунов. С первым я уже был знаком довольно долгое время, второй появился у меня впервые.

Как говорится, хорошо сидели, живописно пили водку, закусывали маринованными огурчиками, тары-бары-растабары растабарывали: святое искусство, искусственная святость, скандальный выход на рериховское наследие, Ельцин как зеркало русского самосознания... Хорошо сидели! Так бы всё хорошо и закончилось, если бы новый знакомец не спросил меня, очаровательно грассируя:

— Кстати, как правильно пишется: "дворинин" через букву И или "дворенин" через букву Е ?

— Дворянин, — ответил я. — Через букву Я. А что за нужда в написании?

— Пустячок, — сказал Женя. — Заполнить, так сказать, анкету нужно, а в ней, так сказать, графа о происхождении.

— Так ты из дворянского рода?

— Естественно...

### **СКЛАДНАЯ ИСТОРИЯ**

Однажды меня воткнули в камеру ленинградской гауптвахты, в то самое знаменитое здание на Садовой улице, где, как утверждают историки отечественной литературы, сживал в своё время некий поручик Лермонтов.

У меня отобрали ремни, обрили голову из гуманных санитарных соображений и втолкнули за решётку.

Я не был поручиком. Поручиков в СССР вообще не было. Меня, как арестованного, направили оказывать помощь народному хозяйству под конвоем. Конвоир мой был, судя по всему, певцом единоначалия и величайшим его поклонником. Я же не любил начальство в любом его виде: хоть в твёрдом, хоть в жидком, хоть в газообразном... Меня привезли в какое-то очаровательное здание близ Инженерного замка, в котором когда-то задушили гвардейским шарфом императора Павла Первого и учился Фёдор Достоевский.

Была осень.

Мне поручили странную работу. В подвале дома оказалось бомбоубежище. А в нём лежали друг на друге сотни, может быть, даже тысячи новеньких гробов – разных размеров, вплоть до колыбелеподобных. Работа моя называлась «складирование».

Я сидел на крышке гроба, один-одинёшенек, между гробами и колыбелями, без конвоира, и непонятная тоска дырявила мне сердце...

- Эй, парень, ты оглох, што ли?

Я поднял голову. Передо мной стоял старик. Звали его Прокопий.

На следующий день я снова занимался складированием.

Сошёлся поближе с дедом. Похожий на бича старик был не то бывшим бухгалтером, не то вообще безработным, не то старым кадровым подсобным рабочим. Впрочем, он являл собою тип совершенно мирного человека, по вечерам сидел у себя в каморке, решал ребусы из «Огонька» и, как утверждал, ни разу в жизни никого не избил, даже кошку.

Он сторожил гробы для миллионного города и проживал здесь же, на складе.

Пиджак на голом теле. Рубашки нет. Вместо неё – весёленькая кокетливая косыночка, закрывавшая седую грудь. Разбухший нос в синих жилках – как своеобразный аттестат крепости того, что он выпивал.

Дед Прокопий находился в тот раз в запое и страдал в углу, на персональной кровати.

Я шутил:

- Так какой же ты масти будешь, дядя? Нэпман или фармазон?

Дед презрительно ответствовал, подняв над головой грозный перст:

- Грязь земли не есмь грязь. Грязь человеческая есмь грязь.

- Ты уже пьяный?

- Не пьяный. Водки не нашёл. Потому и не пьяный... Не пособишь?

- Мне никак нельзя, - говорю.

Дед отвернулся к стене, плевался, что-то бурчал.

- Что, дед, - спрашиваю, - речь готовишь?

- Зачем готовить? Уже говорю.

- А-а-а... Ну, давай, давай. А я пошёл складировать.

- Ага! Сразу и пошёл...

- Так ты это кому речь говоришь? Мне?

- А кому ж ещё?

- Ах, вон оно какое дело! А я смотрю, мужчина к стене отвернулся и бубнит себе. Мешать, думаю, не стоит. Так в чём дело?

- Об смерти думаю, парень.

- Дед Прокопий, ты это... Вот это не надо! Ты лучше про жизнь думай.

- Ну, про жизнь я не знаю... - Дед лоб наморщил и вздохнул. - Вот, например, воровством увлекался. После войны... Пришлось бросить. Первый раз украл - били и отобрали краденое. Второй раз украл - то же самое: били и отобрали. У них, понимаешь, манера такая, чтобы отбирать... Ну, пусть бы били, но отбирать-то зачем? Нонсенс.

Дед всхлипнул и, точно фокусник, достал из-под подушки булькающую солдатскую фляжку.

Он дразнил меня, чмокал и кричал, сопел и булькал горлом.

- А жратвы путной не найдёшь, - говорил. - Недавно купил в гастрономе плавленый сырок. Пиисят пять процентов жирности, сто грамм веса. Называется «Дружба». Смех один. Голимый смех! С кем дружба? Со мной? Да на хрена мне такие друзья?

- А у тебя есть друзья, дед? - спрашиваю.

- А как же! Олежка, например. Одногодок мой. Он не то, что я...Он в каком-то НИИ работает, по научной части. Кошек по городу отлавливает для опытов. Мы с Олежкой ещё с пацанов корешимся. Фулюганили вместе на заре туманной юности...

Захмелел дед Прокопий. Укладывается спать. Лязгают старческие косточки. Девственно постанывают пружины кровати, которую его жена-покойница по лотерее выиграла. Как и все профессиональные бродяги из благородных, дед кладёт брюки под матрац, чтобы складочки на штанинах были отутюженными «в стрелочку».

Пристраивает к изголовью фляжку:

- Разбуди меня, сынок, когда мне выпить захочется...

Я стоял между гробами, не скрывая от мира сего ни одного из своих двадцати лет. От возраста мудрости меня отделяло, наверное, лет пятьдесят, не меньше.

Я стоял и тоже думал о жизни и смерти.

Я повторял Прокопия: «Грязь человеческая...» Чистейшая струя воды, предназначенная для тысячи нечистых надобностей, от соприкосновения с людьми становится грязной и вынуждена вновь уходить в землю – очищаться.

...Несколько лет спустя мы с приятелем-закадыкой забрели на кладбище, выпили бутылку коньяку и запели под гитару: «На братских могилах не ставят крестов...»

- А што? – сказал бы дед Прокопий. - Вы, ребятишки, не посрамили ни живых, ни мёртвых...

## ПИТОМЦЫ

В сухумском обезьяньем питомнике мне рассказали историю. Осерчавший на что-то вожак успокоил свои нервишки только тогда, когда отвесил внушительную затрещину подвернувшемуся под руку соплеменнику. Тот, разобитый до крайних пределов, выместил злобу на другой обезьяне. И так вот, по цепочке, словно эстафетная палочка передавалась оплеушина по всему сообществу. А последней обезьянке, самой слабенькой, уже некого было бить. И она заболела.

- Вылечили? – спросил я.

- Вылечили. И очень даже просто. Поставили перед ней зеркало. Она погрозила кулаком своему отражению, язык ему показала, плюнула в стеклянную рожу – и поправилась.

...Так вот же она, сущность человеческая: вассал своего вассала! Умненькие и практичные японцы быстренько сообразили: установили в офисах манекены главноначальствующих лиц, этикие куклы, на которые стали выплескивать свои стрессы-огорчения большие, средние и малые чиновники, разряжаясь от неврозов, избавляясь от психологических дискомфорта. По разному, впрочем, разгружаются: тут и каратэ, и джиу-джитсу, и даже порхающая пощёчина в стиле мадам Баттерфляй конца двадцатого века.

Учимся у старших братьев. Чему они научат нас? Задумчивый орангутанг, шаловливая мартышка, темпераментная горилла, неуёмный макака, вертлявый павиан, драчливый бабуин, любвеобильный гамадил...

Я родился в Год Обезьяны.

И сразу с ложки – в роток да по капельке: эволюшн, революшн, эволюшн, революшн...

## ЯБЛОЧКО

Есть история. Есть личность. Есть роль. Безусловно, есть и роль личности в истории.

Добавим изюминку к этому академическому ряду. В виде яблока. Существует ли роль яблока в истории личности? Размах исследования вселенский: от ветхозаветного «яблока познания» через «яблоко искушения и раздора» до лихого матросского с присвистом: «Эх, яблочко, куды ты котишься?..»

Да ведь не может же того быть, чтобы «инженеры человеческих душ» обошли стороной эту кисло-сладкую тему!

Конечно, сразу вызрели в памяти бунинские «Антоновские яблоки» и «Золотые яблоки солнца» Рэя Брэдбери. А ещё? Всё остальное можно почерпнуть из писательских биографий.

Лев Толстой обожал антоновку. Николай Лесков, наклоняясь к рукописи, обкладывался солидным запасом свежих и мочёных

анисов. Достоевский беспрерывно хрустел прибалтийской папировкой – яблочко светло-жёлтое, с зернистой нежностью... «Братья Карамазовы» должны бы в пояс поклониться такому молодильному яблочку!

«Королева детектива» Агата Кристи связала свою писательскую судьбу с сортом «лобо»: фрукт кисло-сладкий, сочный, румяно-крапчатый. Автор более 120 книг Эрл Стэнли Гарднер на своём калифорнийском ранчо содержал сад яблонь сорта «мантет»: жёлтые, душистые, с ярко-красным румянцем на щёчках, изысканный десертный вкус; дело простое: яблоки на подносе, шесть стенографисток наготове – и пошла писать губерния... Эллери Куин – это литературный псевдоним двоюродных братьев, авторов многочисленных «сюрреалистических детективов»; полное авторское взаимопонимание между братьями, кроме... сорта яблок: первый любил «уэлси», второй предпочитал «мелбу»... Другая творческая спарка – Марсель Аллен и Поль Сульвестр, создатели образа непобедимого Фантомаса; соответственные вкусы: «апорт» и зимний белый «клавель»...

Что-то я увлёкся. Не надобно. Ибо в мире существует не менее 10 тысяч сортов яблок. А сколько писателей? В десять тысяч раз больше. На всех не напасёшься. Кроме того, сахара, пектины и органические кислоты нужны, как выяснилось, не только писателям.

Короче, если яблоко свалится на голову Ньютона – это одно. И совсем другое – когда яблоко ударит по темечку какого-нибудь российского политического нувориша-законотворца.

Ещё короче: «Эх, яблочко, куда ты котишься?»

- Куда надо, - отвечает оно, вечно молодое.

Оно знает. Больше никто.

Вот то-то и оно-то...

## СЕРДЯЩИЙ БОГОВ

Тяжёлый сон, похмельный сон... Мелкий сон, рассыпчатый.

Выстраивается забавный звуковой ряд: сказки братьев Гримм – грим закулисья – гримасы Улисса и двуликого Януса...

При чём тут Улисс? Кто такой Улисс?

Улисс, оказывается, латинская форма имени Одиссей.

Одиссей – «сердящий богов», «испытывавший гнев богов» - как раз и попадает в полутрезвый словесный ряд, к сказкам, гриму, двуликости...В гомеровской интерпретации Одиссей есть олицетворение практического ума, дальновидности, хитрости, одним словом, герой. Чтобы отлынить от участия в Троянской войне, он прикидывался сумасшедшим и засеивал поле солью...Послегомеровские мифы наделили Одиссея уже отрицательными чертами. Из умного и отважного бывший герой становится трусливым, лживым и коварным.

Так живут мифы, разгоняя в жилах кровь героев и негодяев.

## КАДРИК

Помню: в фильме Андрея Тарковского о времени и пространстве Андрея Рублёва летал мужик на воздушном шаре. Роль того мужика играл актёр не профессиональный – поэт Глазков Николай Иванович: глаза с сумасшедшинкой, сошедшей с небес.

- Летю-ю-ю! – бормотал летающий мужик Николай Иванович, захлёбываясь восходящим восторгом.

Помню, помню. Когда великопостные товарищи говорят: «Этот товарищ нам не товарищ, потому что он вообще прихлёбнутый!» - то нижестоящие массы интересуются, как правило, двумя деталями: чем прихлёбнутый и на чём? Первых жалеют, вторых уважают. И то, и другое – внутренним голосом. А наружным говорят-приговаривают: «Ну, лети, Иваныч, лети, ежели ты такой беспочвенный и на коллефтиф начхать! Лети, голубь шизокрылый! Только заруби себе на своём вездесущем носу, что ишо вилами на воде писано, кто кого больше надул: человек ли шар или шар – человека...» И - начинают терпеть летающего мужика, изо всех возможных сил терпеть, а мужик на ихние терпятки всё время наступает, игнорирует ихние самобытно-общинные мозоли и при этом ещё поплёвывает на приговоры со своей колокольни. И тогда высказывается со

стороны масс сомнение единодушное при одном возгордившемся:

- А пошёл-ка ты на ...

- Щас? – интересуется раскольник колокольный.

- Сей же моментальный секунд, - отвечают.

- С вещами али как?

- Али как. Вещи твои народу останутся. За евоное смущение с твоей, Иваныч, стороны.

И отсель пошёл мужик рассеянным по России, по красе ея, по росе – в долгое хождение на... На авось. На восход. На босу ногу. Наудачу. Наобум. На кудыкину гору. На все сто с присыпочкой. Наощупь. На кулички. Нараспашку. Навеселе. Наперёд и напоследок. Намедни и навсегда. Наверняка. Навзрыд. Навыворот. Наяву. Напоказ. Наподобие. Наизнанку. Наизусть. На опять – двадцать пять, дорожка топаная... Пошёл. «Пошляк этакий!»- кричат ему. А он идёт и бубнит себе, тузу бубновому, под нос недозарубленный:

*Слава – шкура барабана,  
Каждый колоти в неё,  
А история докажет,  
Кто дегенеративнее*

Так и потянулось – чересполосицей, через авось: воздуховность пастыря на пустыре, чертоги чердаков, свечей свеченье, агония огня, воск воскресений нечаянных, мозг костей, вообщежитие, тиски тоски, суетливая память – помятая, точно с перепую, после вчерашнего, и коротенькая, вроде листочка численника, отрывного календаря... Что – что? А ничто. Куда ни кинь, везде блин. Традиционный блин – комом. Менялись времена года, цари, коллекционеры, правительства, границы – мало проку: «авось» и ныне там, где блин блином вышибают; где мимолётные кадрики, действительно, очень много решают, если им на то будет дадено великопостное разрешение; где дьявольщина орудует по большому счёту, а бесы с бесенятами не в небесах прячутся – в мелочах жизни поднебесной, в пустячках пустячковых, но вкалывают, между прочим, с огоньком; где, наконец, утвердительное «да»

совершенно неизъяснимо-законным образом сочетается с отрицательным «нет», прислушайтесь, уважаемые, - «да нет!» - рабскому данничеству, дарам данайским, дамоклову мечу подобно сие.

Летающий мужик разбился оземь. Поэт после летального исхода продолжает своё кружение. Поэтому – и поэт. Живёт по Писанию. Вы, говорит, хотите есть, а я, говорит, хочу быть. Поэтому и поэт, а не виршитель. И посему совершенно не имеет значения, как именно называется пространство, над которым и в котором совершает поэт своё головокружение: Тула, Тулун или Тулуза, иркутское предместье Марата или парижский Монмартр. Можно ведь и простенько обозначить, совершенно по-домашнему, как *quid divinum*, нечто пророческое: предвестие Иванныча, летающего мужика. Но где-то рядом с ним, в компании – Кампанелла, неосторожно преждевременный: «...Они уже научились летать»...

## СЛОВО И ДЕЛО

Тютчевское «Умом Россию не понять»...Что это значит? Одним умом? Может быть. А если скинуться на троих? Тогда получается, извините за выражение, российский либерализм.

Но что это за трёшка такая – российский либерализм? Вот что: десятилетиями вылежавшийся персидский ковёр. Или – медвежья шкура на полу перед камином, попираемая кем угодно.

Спасаясь от скуки хронического досуга, российские либералы собирались под абажуром в богатенькой, сытной столовой зале и спорили истово о свободе, о народном счастье и воле, отвлекаясь лишь на то, чтобы проглотить рюмку студёной водки, сопроводив её ложкой паюсной икры или куском заливного поросёнка, который ещё утречком бегал по зелёной траве.

- Кто виноват? – вопрос слева.

- А судьи кто? – вопрос справа.

И вопросы-то всё литературные, кукарекающие, окарикатуренные.

И те, кто вопросы задаёт, как правило, не хотят услышать ответы.

И уже вопросы (не ответы!) выступают на первое призовое место как гири героизма. Ну, господа, кто больше выжмет?

- Скажи-ка, дядя, ведь недаром...

- Недаром! Но это уже не телефонный разговор...

О, этот кисло-сладкий, пряный, мягкий, продолговатый российский либерализм!

Перезрелая думская дыня.

Отчего же перезрелая? Оттого, что причина есть, а оправдания нету.

И потому ЦК цыкало. И потому ЧК чикало.

И потому переползают из века в век либеральствующие, живут и хлеб жуют, да не хлебом единым живы, а ещё и маслицем, и бараньей котлеткой на косточке, и перламутровой рыбкой с лимончиком... Заседают господа либеральствующие, «нарабатывают» впрок и загодя три источника и три составные части национальной гордости великороссов, призывные лозунги придумывают: власть – советам! земля – крестьянам! пиво – водам! вода – матросам! овощи – фруктам! гуси – лебедям!.. Рай на земле сочиняют.

- Разве ж можно в шалаше сочинить что-нибудь райское? Мы же ж всё ж таки не Ленины какие-нибудь! Правда, товарищи? – вопрошают слева и по дешёвке приватизируют столичные квартиры и дачи.

- Есть такая партия, - вопрошают справа, - у которой честь смолоду, а ум за совесть не зашёл?

А посередке, между левыми и правыми, развалились ещё и уже сытые старосоветские помещики. Кивают они, перемигиваются, православно крестятся, поглаживают спелую грыжу, нажитую от идеологически-перестроечных перегрузок.

- Партия была, есть и будет есть, - говорят старосоветские помещики. – Потому как эпоха такая пришла. Эра томления духа.

И ведь что самое забавное в этих сугубо наисерьёзнейших «либеральных» запросах? Ни тени сомнения. Ни оттенков раздумий. Ни раздумий как таковых... Эра томления духа – и

точка. Боже милостивый, да дух-то, кажется, не горшок гречневой каши в русской печи!

Азиатчина. Алеющий восток. Восторг парторга, горторга и либеральствующего Петрухи: «Гюльчатая, открой лифчик-то! Емансипация на носу!»

А между тем покончил с собой ещё один век российского либерализма. И с веком надо попрощаться весело, без надрыва и сектантского нахлестывания, без воплей, соплей и кликушества. Одно лишь желательно – покаяние. Но это есть дело смиренное, тихое, скромное, сугубо личностное. Коллективное же покаяние ни хрена не стоит...

И тут российского либерала прошибает слеза. Слеза от смеха. Смеха человека, которого только что барин выпорол арапником на скотном дворе.

«...А вот эти все чиновные отцы... вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и сё: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, бога продадут за деньги, честолубцы, хриstopродавцы!»

Это Поприщин стенает в гоголевских «Записках сумасшедшего».

Можно и так Поприщина перевести: поприще и прыщи.

## ТОВАРИЩ

В разговорной речи, даже на официальном уровне, то и дело можно слышать: тыщ Петров, тыщ Иванов, тыщ Сидоров... Что за «тыщ»? Откуда он взялся, этот тыщ-прыщ?

А ничего страшного. Арифметики тут нет никакой. Просто-напросто, это знак, скорострельной скороговоркой заменивший нам «господина» на «товарища». У нас ведь всё и всех любят сокращать. Так и с товарищем поступили: «тыщ» - и всё обхождение. Но вообще-то с товарищами на Руси и в России никогда не было так гладенько, как может показаться на первый взгляд.

Вообразим себе на минуточку: товарищ Фурцева, товарищ Терешкова... Забавно? Ни в коем случае! Никаких забав. Советское социалистическое ухо такие словосочетания не

режут. Это лишь иноязычные фрэнды и камрады могут озадачиться: well, o'key! всё понятно! есть некий Фурцев, а у этого Фурцева есть товарищ, который так и называется – товарищ Фурцева...И ни в жизнь не догадается сообразить заморянин, не ведающий таинств русского языка, что наш товарищ Фурцев вместо штанов носит юбку.

Слово «товарищ» впервые употребил в дошедших до нас рукописях митрополит Киприан в послании псковскому духовенству. Выходит, этому слову уже примерно лет 600.

Лингвисты вычленили в «товарище» два тюркских элемента: «тавар» (скот, имущество) и «еш» (друг, спутник). Так оно, наверно, и было у тюрков: компаньон в торговле. Любопытно, что в Древней Руси словом «скот» обозначали не только домашних животных, но и деньги, а казну, сокровищницу ласково называли «скотница».

А как «товарищ» на Руси прижился? Да не очень-то ласково, прямо скажем.

*Ой, наточу товарища,  
В голенище спрячу!*

Так Тарас Шевченко проиллюстрировал историко-этнографический факт: товарищем на святой Руси называли разбойничий нож-засапожник.

В досоветский период «товарищ» означал напарника, заместителя, непосредственного помощника, как правило, высокого ранга: товарищ министра, например. Но тогда они оба – и министр, и товарищ министра были ещё и господами.

Советская власть отменила господ. Всё народонаселение, от мала до велика, сделалось товарищами. Товарищ стал чем-то загадочным: потерял мужской род, не нашёл женского, завис где-то в промежности – как неопознанный летающий объект.

Ну, завис и завис, что ж с того? Да ничего. Если бы не та зависимость от слова, в которой оказался сам человек. А нынче он и вовсе оскотинился...

## ИСТОРИЯ С ЦАРСКИМ ПОРТРЕТОМ

Известное дело: кабак в России больше, чем кабак! Последний приют избыточного чувства.

Однажды какой-то обыкновенный бухарик сидел пьяным-распьяным в питейном заведении, а над его хмельной головою, на стене, располагался портрет Николая Первого, государя всероссийского и прочая, и прочая...

Сидел бухарик и матерился.

- Заткнись, оборванец! – цыкнул кабатчик. – Неужто не чувствуешь, как царь-батюшка над тобой висит?!

- А плевал я на вашего царя!

Известное дело: приговорили бухарика к высшей мере шпицрутенов – 12 тыщ штук, «полняк», смертельная порция.

Принесли приговор к царю на подписание. А царь разозлился:

- Передайте этому гражданину, что я на него тоже плевал. А портретов моих впредь по кабакам не развешивать!

И отпустили мужика.

Известное дело: Россия в кабаке – больше, чем Россия.

## ОТ КАЛАНЧИ ДО КАЛАНЧИ

Давно уж покоится в папочке рукопись романа «Длинная пулька». Название затейливое, картёжное, из лексикона преферансистов. А сюжет простенький до неприличия. Стержнем повествования, на который шампурно нанизаны судьбы, имена, события, факты, служит вот что.

В 1855 году жители деревянного городка по названию Чита, регулярно страдавшие от пожаров, пожелали выстроить каланчу. Собрали по подписке деньги немалые, фундамент заложили, но начальство строителей за рукав придержало: «А смета где?» Что ж, составили смету, повезли её к Иркутскому генерал-губернатору. Тот не был уполномочен решать такие дела, амурский вопрос решать мог, а вот смету строительную – ни хрена, то есть – упаси бог, это дела столичные. И потащился курьер в Санкт-Петербург: смету утверждать в высоких

канцеляриях. Через два года утверждённый документ вернулся в Читу, однако же к тому времени цены в юном, бурно строящемся городке неизмеримо с прошлым подскочили. Пришлось трудиться над новой документацией, после утверждения которой оказалось, что от фундамента даже следа не осталось, растащили по кусочку, по кирпичику... Начали всё сначала... Этаким «стакановским» методом строительство тянулось аж целых 25 лет, до тех пор, покуда читинское начальство не сообразило выставить в смете сумму расходов, наперёд превышающую реальные расходы в несколько раз. После чего документ в торжественной обстановке подписали в столице нашей родины, а в Чите за недельку и каланчу соорудили. В 1880 году...

Князь-анархист Пётр Кропоткин, хорошо знакомый с Восточной Сибирью и Забайкальем, выставил в «Записках революционера» замечательную фразу: «История маленькой Читы была историей всей России».

Вот так я попутешествовал – по четверти века отечественной истории. Срок приличный. Многое произошло за это время: Путятин подписал первый русско-японский договор о мире и дружбе; умер император Николай Первый; французы оккупировали Севастополь; Герцен издавал «Полярную звезду» и «Колокол»; заключён Парижский мир; декабристам разрешили вернуться из сибирской ссылки; обосновали на Дальнем Востоке Благовещенск, Хабаровск, Владивосток; Третьяков открыл в Москве картинную галерею; освободили крестьян от крепостничества; заключили с Китаем Айгунский договор и Тяньцзиньский трактат подписали... А каланчу-то всё строили... К Российской империи силой штыков присоединили Чечню, а пленённого имама Шамиля отправили на перевоспитание в Калугу; учредили Государственный банк; открыли Мариинский театр; расстреляли польское национально-освободительное восстание; учредили Совет министров; провели реформу военного управления и впервые в истории России опубликовали государственный бюджет... На это 25-летие приходится начало и конец деятельности тайной революционной организации «Земля и воля», принятие «Временных правил о печати» и «Положения о поселении

казаков на землях кавказских горцев», открытие в Петербурге первой русской консерватории, выходы в свет романов Тургенева «Отцы и дети» и Чернышевского «Что делать?», гражданская казнь и ссылка последнего в Якутию...А каланчу всё строили, строили...Даль издал «Толковый словарь живого великорусского языка»; полковники Черняев и Верёвкин насильно присоединяли к России Среднюю Азию; в Вашингтоне подписан русско-американский договор о покупке Соединёнными Штатами у России Аляски и Алеутских островов за 7200000 долларов; изданы на русском языке «Манифест коммунистической партии», первый том «Капитала» и гениальный труд Менделеева «Основы химии»; Миклухо-Маклай и Пржевальский путешествовали; Лодыгин изобрёл электрическую лампочку; карательные отряды Скобелева усмиряли Среднюю Азию...А каланчу строили...Началась и закончилась Андрианопольским перемирием русско-турецкая война; Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова; народник Соловьёв гонялся с револьвером за императором Александром Вторым; Халтурин «адской машиной» взорвал столовую в Зимнем дворце; Гриневицкий примерял к руке самодельную бомбу...А каланчу всё строили, смету согласовывали...

С тем и поныне живём. Ракеты в космос запускаем, скороварки и женские прокладки с крылышками прилетают к нам из-за рубежа, а отечественное царство-канцелярство живёт и процветает, дуёт и в ус, и в хвост, и в гриву национальной гордости великороссов. Чиновничество исполнительной власти, паразитируя на обществе, всё же хоть что-то делает. Но депутатский корпус (даже не корпус – армия!) ни за что не отвечает, законотворчески оформляя Россию в чистопородную страну негодяев.

Но если человек покуда бессилён противостоять глобальным, планетарного масштаба явлениям, таким, скажем, как ледниковый период, то уж «период обляденения» собственной души он остановить может.

«В наш век, - говорил декабрист Александр Евгеньевич Розен, - все заразились наживанием денег, от министра до подёнщика, от полководца до фурлейта, от писателя до писаря».

Попозже Розен кое-что уточнил, дабы окончательно не потерять светлой надежды: «Даже если Сибирь не доставит никакой особенной выгоды для России, то страна (имеется в виду Сибирь – В.Д.), с увеличением населения, с посеянными в ней семенами, обещает отдельно самой себе счастливую и славную будущность».

## ОТ ЗАЧЁТА ДО ЗАЧЁТА

В одной из привычных университетских аудиторий проходил обычный, рутинно-полусонный семинар по истории КПСС. Ответ держал студент-филолог Саня Вампилов. Держал, надо сказать, изо всех сил, а сил было маловато, потому что эта учебная дисциплина не являлась предметом вампиловских интересов со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Тем не менее ответ вытягивал на троечку, на вожделенное «зачтено», что, в общем-то, в полной мере устраивало и студента, и преподавателя, и коммунистическую партию.

- Это всё, что вы знаете? – спросил преподаватель.

- Всё, - сказал Вампилов.

- Ну, что ж, садитесь... Может, кто-нибудь дополнит?

И вырос лес рук! Виталик Зоркин, Вадик Гребенцов, Андрюшка Румянцев, Игорь Петров, два Бориса – Кислов и Леонтьев... О, как лихо, как животрепещуще они дополняли, добавляли, разбавляли, детализировали, уточняли... Высокая активность радовала преподавателя. Студенты веселились, как на коммунистическом субботнике. И только один Вампилов мрачнел с каждой минутой: его тощенький принудительный ответ усыхал на глазах публики, испарялся и, в конце концов, прекратил своё существование на фоне добровольных дополнений к ответу.

- Давайте зачётные книжки, - сказал довольнёшенький препод. – Всем ставлю «зачёт», кроме... Вампилова. Слабо, молодой человек. Позанимайтесь ещё...

Что ж, студенты и есть студенты, народ моментальный. И лишь годы спустя Борис Павлович Леонтьев с укоризною вывел

собственное умозаключение об относительной ценности слов и поступков, в том числе и таких – отнюдь не школярских!-явлений, как ответ и многочисленные дополнения к оному.

## ЧЕЛОВЕК ОБРЕЧЁННЫЙ

У Абрама Терца имеется одна из мыслей врасплох: «Мы обезопасили себя тем, что поняли свою обречённость».

Потянем репку дальше...

Человечеству кое-что известно о человеке. Дарвин шёл в своих выводах от обезьянки, Вассерман – от пробирки, Райкин – от рампы, Гоголь – от слова, Шостакович и Шнитке – от скрипичного ключа, Шагал и Пиросмани – от выжимки тюбика...

Номо sapiens? Человек разумный?

Уж слишком смело в отношении того, кто есть предсказуемый и подлежащий.

И не о нём речь. Речь должна идти о Человеке Обречённом. И смысл определения – не в апокалипсическом конце, не в трагедийном фатализме (мол, все мы гости на погосте...), не в унылой безнадежности (латинское «hostia» - русская «жертва»). Имеется в виду иное: обречённость глаголом, одарённость речью, наделённость словом – когда бывшее предсказуемое становится сказуемым.

## ДОМИНО

Известное дело: настольная игра в 28 костяшек. Она даже за полночь и пуще водки объединяет и спланирует народ по месту проживания – во дворе, за столом, который под мощнейшими ударами игровых ладоней бывает вбит в землю чуть ли не по самую столешницу.

А какова терминология в игре! Дубль, криба, рыба, мыло и даже секвенция! Костяшка «пусто-пусто» родила анекдот о безработных доменщиках. Названия многочисленных вариантов игры пахнут дальними странами и ромом: блиц, севастополь,

матадор, маггинс, берген, сорок два, бинго...И всё это популярное великолепие называется простенько: забить козла. Игроки – забойщики.

*...И в забой отправился  
Парень молодо-о-ой...*

Козлы, если они не скотобойные провокаторы, тоже штучка особенная. Это во-первых. Во-вторых, «песнь козла» - именно так на русский язык переводится греческое слово «трагедия». И, наконец, в-третьих: в двух первых, если поднатужиться, то без труда и даже с некоторым душевным облегчением можно обнаружить корешки всех маленьких трагедий, бесконечных, неисчерпаемых, покуда живо само человечество.

Вот такое домино получается. Оно ведь само по себе суть взаимосвязанная сцеплённость. Наконец, существует ещё и «эффект домино» - последовательно падающие костяшки, наглядно демонстрирующие взаимозависимость: вместе стоим, вместе падаем... И цепь, и оцепенелость звена, и оцепенелость гранитных набережных, и оцепенелость кораблей в гавани...Точно слово в песне, которое, как известно, не выкинешь.

*Домино, домино,  
Будь весёлой, не надо печали.  
Домино, домино,  
Нет счастливее нас в этом зале...*

Балы 50-х годов...Неважно, в каком веке. И неважно – дворцовые или дворовые. И неважно, кто выступает в первой паре: всероссийский венценосец Романов или кумирный тенор Глеб Романов...Потому что домино – это ещё и маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном. Таинство маски... Мелодия в до миноре. Дамы и кавалеры...Девки – туды, парни – сюды, па-а-шли! А один не танцует. Он точно в таком же плаще с капюшоном: в одеянии монахов католического доминиканского ордена. Он молчалив и сосредоточен. Он в домино.

И дом отсюда. И домовина. И – выше, выше...Что? Кто? Dominus? Господь всевышний? Не знаю. Но всем известно, что доминанта – это обозначение верховной власти, высшего господства. И воскресение – доминго...И музыка сфер как память о сожжённых мостах.

А всё иное на крестном пути человечества происходит всего лишь попутно.

## ПАСЬЯНС И ЗОНТИК

Зачем собаке зонтик – это мы уже знаем. Сформулируем наш интерес иначе: для чего он вообще нужен, этот зонтик? Потерпите. Сейчас объясню.

В «Огоньке (1990, №40) напечатана фотография знаменитого артиста Качалова, держащего в руках книгу: «К.Маркс и Ф.Энгельс об искусстве». Сопутствующее редакционное пояснение: «На пути к Гамлету. Василий Иванович Качалов изучает первоисточник».

Станиславское «верю – не верю» тут теряет всякий смысл: фото – это навряде вещдока, не отвертись, да и автор обозначен многозначительной фамилией Е.Явно.

Позже объяснение к фотографии сделал ахматовед Виталий Яковлевич Виленкин, в присутствии которого и была произведена фотосъёмка. Он утверждает: досадная, абсолютно случайная, совершенно легкомысленная промашка! Действительно, кто-то прислал артисту такую серьёзную книжку, она валялась на диване, и этот дурак Явно (или явно Дурак) воткнул её в руки Василия Ивановича, чтобы тот не слишком напрягался перед объективом...Как бы там ни было, но фото состоялось. А уж подписи к нему могут быть разными и какими угодно.

Если дать Качалову другую книгу – так что изменится? Всё. Кроме самой книги.

И вот тут выказывает свои ушки так называемый «Эффект Кулешова», феномен монтажа.

Кинорежиссёр-новатор Лев Владимирович Кулешов, ученик великого Эйзенштейна (вспомним кулешовскую «фильму» под

названием «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков») открыл, что динамику развития сюжета лучше всего можно передать с помощью монтажа, и первым в мировом киноискусстве начал теоретическое исследование в этом направлении. Да и практики не чурался.

Вот в кулешовском кадре – кинозвезда того времени Иван Мозжухин. Трагический излом бровей. Нервический изгиб губ. Впалые щёки. Напряжённый блеск глаз...Выражение актёрского лица неизменно. Однако же ему сопутствует самое разное: играющий ребёнок (и глаза сияют нежностью), гроб (и брови подчёркивают необоримую скорбь), парящая миска супа (и щёки! щёки, истощённые голодом!), женщина «ню», обыкновенная нюшка, обнажённая махом (и те же глаза помазаны похотью)...Так стыковка одного и того же первопланового человеческого лица с контекстом придаёт лицу контекстовое содержание: выражения голода, горя, сладострастия...

Искусство монтажа. Вот это и есть, наверное, человеческая культура в целом. Человек в обстоятельствах. Битовский «человек в пейзаже». Битов-то Андрей Георгиевич уж точно знает, за Битова, как говорят, двух небитых дают.

Человеческая культура: кукушка вечерняя: птица серая, тоскующая: роман-пасьянс: что было, что будет, чем сердце успокоится...Французское «пасьянс» означает русское «терпение», которого уж нам-то совсем не надобно занимать у других культур и народов

...Так для чего же нужен зонтик? Для пеня под дождём.

## БУКВА В ЗАКОНЕ

Часто руками разводят: «Слов нет...»

Столь же часто оправдываются: «Слов не хватает...»

Неправда! Это не так. Народу не хватает букв.

...Когда-то Карамзин ввёл в русский алфавит букву Ё. И ежели мы уважаем Карамзина вместе с историей государства российского – так руки прочь от буквы Ё! Ё – моё!

Но вот почему-то все вокруг говорят «свекла». И в пишущих машинках «ё» отсутствует...

А между тем великий русский народ регулярно начинает с этой буквы каждый свой новый трудовой будень. Вместо физзарядки.

## КРУЖЕНИЕ

- Александр Филиппыч! Народ собрался. Имя ему – легион. Начнём год за три?

- Начнём. Как утверждает Лаврентий Павлович, попытка – не пытка, - сказал Македонский, надел золочёный шлем и вышел из шатра.

И покуда Шатров Михаил Филиппыч дописывал монолог, и покуда Александр Филиппыч Македонский устраивался в джипе, в этом кургузом и наглом механизме, способном пролезть в любую эпоху... - Малюта Скуратов всё играл и играл в шашки с товарищем. Товарищем был товарищ Сталин. Наконец товарищ Сталин отрубил шашкой голову товарищу Берия, который в шашки не играл, но был в восторге от тыняновского романа «Смерть Вазир-Мухтара».

- А ведь ты, Лаврэнтий, ба-а-альшой падлец! Ученик дьявола!

- Сам знаю, учитель, - сказала голова. – И потому счастлив доложить, что эта блядь Аннушка-пулемётчица уже пролила своё масло...

«Ха-ха, а следующая станция вообще заминирована!» - подумала голова Анны Карениной, весело глядя вслед удаляющемуся поезду.

Поезд активно пыхтел и выпускал дух во имя отца и сына Черепановых и, наконец, перевалился то ли за горизонт, то ли за рампу, в оркестровую яму, где мирно жили-поживали молчаливая молочница и трава такая же – молочай, весьма терпеливая и обязательная...

- Не спеши, Иосиф, - сказала чья-то неопознанная голова. – Ведь я за тебя даже на костёр пойду, на муки-мучные во веки вечные...

- Зачем на костёр? Костёр – это варварство, - сказал Иосиф и повелительно кивнул своим братьям, кромешникам-опричникам-особистам: - Расстрелять. А в истории болезни напишите: сгорела голова на работе и стала вечным огнём. Поставьте пионерский пост. Как лётчику Чикалову. Как путешественнику Переживальскому. Как решила сельская сходка в Гори...

Ладно, в горе – так в горе... Сельская сходка крутила-вертела и так, и сяк, и назначила бывшего попа в евреи. Бывший поп думал: ура, вот они, вольные кони! Оказалось: деревянные лошадки, карусель... Собрание. Кунсткамера. Симпозиум орденов. Станислав, Анна, Владимир, Георгий, Андрей Первозванный расшумелись в витрине ломбарда, целенаправленно раздухарились в направлении унижения самого младшенького собрата своего. А рядом пучились наградные кубки за конную выездку, золочёные портсигары за отличную стрельбу, призовые серебряные чарки, пасхальные яйца Фаберже, фарфоровые фамильные сервизы, разрозненные ложечки с монограммами августейшей семьи: Ферт – буква-мужчина, Фита – буква-женщина, славянские Орфей и Еврибоди...

И сказал первый секретарь подпольного обкома, человек торжественный, как мемориал павшим троянцам:

- Первое правило разведчика, Штирлиц: не смотри туда, куда ссышь. Это отвлекает и расслабляет. Запомнил?

- Не-а. Щас запишу. Айн момент.

Потом они решили выпить за Родину. Стали активно искать холодильник. Долго искали. Не нашли. Тогда начали искать водку без холодильника. Но её не надо было искать. Она стояла на подоконнике, как опознавательный знак того, что явка не провалена. Взяли и выпили. Но не за Родину, а каждый сам за себя.

И тут сказал ещё тот Шатров: каждому – своя роль.

Это сказано было в лоб и кстати. Торедатору – алый плащ. Бандерильеро – дротик с дразнящей лентой. Пикадор – с копьём на лошади. Матадор – последний удар шпаги. И бык сдох. Кина не будет. Кинщик заболел. И фокус не удался, потому что факир был пьян. Он старался, но не получилось. Он даже в

детстве, отрочестве и юности старался, учился прилежно, усидчиво, в каждом классе – по два года, но потом перестал интересоваться средним образованием, решив не рисковать и без того слабым здоровьем.

...Кружение по киностудийным павильонам.

По-Тынянову, здесь самое главное – это «качество присутствия».

Всё остальное – чепуха, фантазмагория, жестяная логика жизни и времени как такового. Время-то...оно тянется, потягивается, с боку на бок переваливается, с вечера – на вчерашний день, и ты вдруг заметишь с восхищённым смятением, что оно уже превратилось в оно...если, конечно, заметишь.

## СОН, СТРУЕНИЕ, ВОРОЖБА...

Акира Куросава запечатлел на плёнке восемь своих сновидений...

Как и всякому рядовому гению, ему не хватало денег на постановку фильма, и сценарий пылился в столе, откуда другой киногоений, Стивен Спилберг, не купил его, что называется, «на корню». И Куросава сказал:

- Повезло!

Шестой сон, «Посёлок мельниц», снимали на острове Кюсю, у подножия Хотака, «японских Альп», на реке Йородзуй. Там журчала чистейшая вода. В ней жили водоросли.

Максималист Куросава построил на реке шесть мельниц, настоящих, по старинным чертежам. И деревню построил, тоже настоящую. И рельеф окрестностей немножечко изменил для удобства предстоящих жителей. И посадил множество акаций, вишен, цветов.

Финальные кадры фильма: долгое-долгое биение зелёных водорослей в речном потоке...

Чтобы снять этот эпизод, Куросава упорно дозванивался и дозвонился-таки до Москвы, до кинооператора Юсова, который предвосхитил веерное движение камеры в фильме Тарковского «Солярис».

А что? Гений гению не помеха.

Курсава называл Тарковского Андрюшей. Тарковский называл Курсаву Батей.

В начале сентября 1998-го Батя умер на 88-м году жизни.

А мельницы тихо крутятся. Там живут люди. Течёт река. Вечная ворожба воды. Струятся водоросли...

Посочувствуйте гению. Ибо: всё его – не то что бы просто благостно и красиво, нет – *курсаво*.

(Курсив мой).

### ЗЛОБА ДНЯ

- Жалованье-то задерживают, - пожаловался Аркашка Счастливец.

И зрительный зал взорвался аплодисментами. Ещё бы ему не взорваться! Как мило и простодушно сказано! Как актуально! И как это чувствительно трогает за карманы, а! Какой тут, к чёртовой матери, «Лес» г-на Островского? Это ж наши родные сегодняшние три сосны! Авань, не заблудимся. Вот только одно нехорошо-с...зарплату не плотят, аж с февраля, считай, ни копеечки...Так что, мы даже очень расчудесно всё понимаем и сочувствуем тому, как новый русский актёр Виктор Пантелеймонович Егунов старого русского Аркашку озвучивает. Ретрансляция, научно называется. Но вот какая получается закавычечка в этом самом новом русском. Его запросто можно было бы назвать новым, если бы вообще русский не был тем, кто не допускает до себя никакой новизны. Понимаете?

Понимаем. Была одна партия – теперь их десятки: оптом и в розницу, распивочно и навынос. Была идеология – стали идеоложки. И уже не семеро с ложками на одного хлебопашца, но семьдесят семь. Как голосилось в стареющей песне патриотической?

*Партия сказала: «Надо!» -*

*Комсомол ответил: «Есть!»*

«Надо есть!» - вот так бы и говорили слитно, не хрен хитроумничать. Потому что всем есть надо, не только коммунистам и комсомольцам.

А учителя уже не сеют разумное, доброе, вечное. Они пашут. Неразумно, но, кажется, вечно. А у писателей-почвенников в организме внутренних органов происходит что-то. Возможно, отложение соли земли... Слева: «Наш паровоз, вперёд лети!» - справа: «Постой, паровоз, не спешите, колёса! Кондуктор, нажми на тормоза...» Посредине – тоска, вечнозелёная, без смысла и умысла, без замысла и промысла. Дай-то боже - ещё не спутать летейский пух из уст Эола с Винни-Пухом. Да вот ещё и логика абсурда, до последнего атома старорусская, точно несостоявшийся литературный псевдоним Довлатова: Шолохов-Алейхем. Понимаете?

И народ ясно говорит:

- У- у-у...

- Да это ж элементарно, Ватсон! – произнёс бы к случаю знаменитый сыщик.

- Это рудиментарно, Диксон, - бурчу я сам себе и, в толпе растворившись, выпадаю в осадок.

Пожалте, народ, вот ваш утренний кофий...

## **СТАРЫЕ КНИГИ НА НОВЫЙ ЛАД**

- Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы.

Такой репликой сегодняшняя Россия вывела коллективную аттестацию относительно самой себя.

А между тем, свыше ста лет назад нашёлся один очкарик, который диагностировал точно так же. Любопытно взглянуть на собственную историю болезни.

«Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забуддыга-муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чём выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство, справедливости нет, понятие о

чести не идёт дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а всё остальное к чёр-ту...» Чехов написал. В очерке «Остров Сахалин».

Что нам нынче мешает убраться кавычки? Ничто.

...Когда Антон Павлович странствовал по каторжной ойкумене, тамошний начальник генерал Кононович рассказал ему о литературной новинке – социально-утопическом романе американца Эдуарда Беллами «Через сто лет». Русский перевод романа под названием «В двухтысячном году» уже был напечатан в одном из популярнейших российских журналов, и Чехов залпом прочёл его, как пишет в письме к издателю Суворину, «ночюя где-то в Южном Сахалине».

Каким видел будущее этот Беллами? Мир двухтысячного года представлялся писателю индустриальным и высокоорганизованным, то есть таким, по пути создания которого уже шла молодая дерзновенная Америка. Вместе с тем, Беллами тревожился относительно монополизма отдельных видов производства, жестоких нравов конкурентного мира, безграничной страсти получения сверхприбылей. Автор настаивал на гармоническом равновесии интересов частного собственника и общества в целом, призывал к перестройке промышленной и общественной жизни на более высокой этической основе, в интересах всех граждан, богатых и бедных, образованных и невежественных, старых и молодых, слабых и сильных...

Ничего себе – поправочки к капитализму! Да уж не они ли в конце двадцатого века позволили современному индустриальному обществу одержать внушительную победу в соревновании с «развитым социализмом»? Они, они самые! Но тут же новый вопрос выскакивает: а пришёл ли, как мечтал американский писатель, «свободный, не знающий границ расцвет культуры, который будет способствовать воцарению в обществе духа добра»? Увы, не пришёл. Не соизволил.

Что же делать? На чернышевско-ленинский вопрос нужно ответить по-чеховски: работать надо, а всё остальное к чёрту!

Народ может возразить: да ведь мы и так пашем, как папы Карлы, а отдыхаем – как кто?

Ладно. Интересно, как отдыхают «папы Карлы» в такой высокоиндустриальной стране, как США. Так вот, рабочие на тамошнем производстве имеют всего 12 дней годового отпуска плюс 11 оплачиваемых праздников.

У нас загорают по месяцу плюс ещё 11 оплачиваемых месяцев в году. Нет?

## **К ВОПРОСУ О СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ВЫТЕКАЮЩИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ**

Ехал нормальный трудящийся грузовик по улице. И потерял красный флажок, означавший габариты перевозимого груза.

А следом шёл нормальный человек Чарли Чаплин. Он подобрал потерявшийся флажок и, размахивая им, устремился за автомашиной.

- Эй, машина! – кричал. – Остановись! Ты вот эту штуку потеряла!

Бежит, бежит...Вдруг слышит: гул голосов за его спиной накатывается. Оглянулся...Боже! Он, нормальный Чарли с красным флажком в руках, оказывается, возглавляет целую колонну демонстрантов. Откуда они взялись?

...Так начинаются революции.

## **РЕФЛЕКСИИ**

Вот так всегда у меня получается: думаешь об одном, а говоришь о другом и тут же припоминается третье...Какие-то похожие прохожие, какие-то голые глаголы, похвала похмелу и опьяняющие уста августа, прохладное прикосновение лба к лунному свету и загадочные мю-мезоны, у которых, как говорят, чего-то не хватает, но всё-таки они вертятся...И ещё, конечно же, - явная свобода, эта головная боль в желудке, лишившая многих россиян свободы тайной, насладительной и желанной, той самой, с которой мы так трепетно, зажигательно, чуть ли не по-лицеистски, вальсировали друг перед другом в жилквadrатах кухонных коммунальщиц...

## ЗВЕНО К ЗВЕНУ

Существует в России особый род привязанности: кружка – к общественному питьевому бачку, дешёвенькая шариковая ручка – к окошку кассы...и так далее, на цепочке, на верёвочке, чтоб, упаси бог, не спёрли! Да вот уже и модернизм наш скудный быт засветился: рекламные шалашики, точно шалашовки размалёванные, назойливо выстроились на тротуарах, прикованные могучими цепями к неunosимым объектам. Это уж вам не какой-нибудь вселенский шалаш в Разливе, а цельный образ оцепенелой российской цивилизации: песнь о вечном калеке, fuga с маслом, фугас замедленного действия...По крупному счёту!

А продолжение следует – и всегда не так, как следовало бы, и не туда, куда надо.

## ПО КРУПНОМУ СЧЁТУ

Однажды граф Кирилл Разумовский играл в карты с весьма известной персоною. Персона раз за разом проигрывала графу, однако продолжала делать ставки. Наконец, сошлись на главной, решающей ставке, которую предложила неугомонная персона: в случае очередного проигрыша к графу Разумовскому переходит в пользование законная супруга партнёра.

Распечатали новенькую колоду. Карты розданы. И граф-везунчик вновь оказался в выигрыше.

Шутка? Ничуть не бывало! Какие шутки? Договор, как известно, дороже денег. А честь игрока? Ещё дороже.

Персона уступила Разумовскому свою жену, что и засвидетельствовано в анналах истории и докатилось до наших дней.

Крупно играли предки. С размахом.

...А вы говорите: эмансипация, эмансипация! Какая эмансипация, когда баба с возу, а воз и ныне там, где авось?..

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

...Ну, что, Леонид Аркадьич, вы закруглились со своими вопросами? Закруглились. Хорошо. Тогда по вашей традиции я хочу вместо подарков в музей «Поля чудес» кое-что сказать простыми словами, но от души. Покороче? Само собой. У меня всего лишь один малюсенький вопросик, господин Якубович. Вопросик в единственном числе: ты меня уважаешь? Не торопитесь отвечать, Леонид Аркадьич, подумайте. А пока вы будете думать, я передам привет своей жене Норме Александровне...Норма, ты меня должна сейчас смотреть по телевизору. Короче, это я, твой муж Вениамин Муцинский, обращаюсь к тебе на всю страну. Алё, как ты меня слышишь? Если слышишь, то передай привет дочке Тане и сыну Ване, дяде Боре, а также своей теще Клавдии Григорьевне, пусть она на меня не обижается, приеду из Москвы с победой – вот тогда и поговорим, поставим все точки над и. Да, чуть не забыл! Норма, передай привет моим коллегам по работе: Василию, Николаю и Ивану Исидоровичу, который с первой смены, в другой бригаде. Короче, я тут в столице Москве всех умных уделал своей одной левой...Ну, как, Леонид Аркадьич? Вижу, что вы ещё не совсем готовы отвечать. А между тем, мой маленький вопросик является как бы камнем преткновения в нашем обществе. Он стоит даже впереди чисто ленинских, таких, например, как – с чего начать? Или, допустим, кто виноват? Что делать?.. Ленин тогда был ещё живой, но, кажется, уже перестал разговаривать, а тем более – брёвна таскать в свободное от революции время. Потом он умер, но вопросы его остались живые. А Ленин и теперь жалеет всех живых, безответных. Кто такие друзья народа и как они воюют? Как нам реорганизовать рабкрин? Как закалялась сталь?..Короче, это очень хорошо и правильно, Леонид Аркадьич, что вы такую игру в Останкине придумали, чтобы народ публично обращался на всю страну к правительству, пусть они там почешутся. Вопросов накопилось навалом. А судьи, например, кто? Что делать, когда никто не виноват? Кто виноват, когда неизвестно, что делать?.. Гласность, конечно, у нас есть, но что-то слышимость от этой гласности очень ещё плохая. А ведь интересы из народа так и

прут пёром! Что было, что будет, чем сердце успокоится? Но людям уже и этого мало. Русский вопрос «Кто крайний?» по-английски втихаря, без базару ушёл из очередей в политику. Но спрос возрастает в другую сторону. Над кем смеётесь? Что день грядущий нам готовит? Кому на Руси жить хорошо? Куда ведёт нас рок событий?.. Ведь всё прошло, Леонид Аркадьич, что было советское и социа-листическое, осталось одно необъятное с человеческим лицом. Так ведь? Так, никуда не денешься. Кашпировский и Чумак, допустим, запросто могут применяться как оружие массового поражения... Вот я и спрашиваю: уже две тысячи лет прошло, может быть, народу вообще уже не нужно третье тысячелетие? Или, например, так вопрос поставим: двухтысячный год – это конец чего? Или это, с обратной стороны, начало? Чего? Закрытие сезона или третье дыхание человечества? Или просто круглый юбилей? А из этого воп-роса вытекает следующий: почему китайцы, вьетнамцы и японцы не могут сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу насчёт того, как нам обходиться с ихними восточными календарями, если они одному и тому же году дают названия козы, овцы и барана? Короче, так нельзя, нужно что-то одно, а не узкий стадный интерес. А дальше уж намечаются сплошные международные вопросы. Где, например, злостные похитители спрятали картины художника Пикассо? Или вот один швейцарский пенсионер склеил из спичек чучело Эйфелевой башни. Мораль сей башни такова: зачем? Нако-нец, выжил ли мексиканец, который на конкурсе две недели подряд без передыху, без обеда и перекура барабанил в барабан?.. Короче, у меня жена, Леонид Аркадьич, уже два раза ездила за границу, в Стамбул. Турецкий марш туда и обратно – челноки, называется. Но я думаю по женским впечатлениям, что это вовсе не челноки, а целые философские пароходы. Короче, жена узнала, что на качество квашеной капусты влияют фазы луны. Отсюда выпирает вопрос на засыпку: надо ли учитывать положение других планет? Мы с Иваном Исидоровичем, который из первой смены в другой бригаде, пятнадцать минут спорили. Через пятнадцать минут он, как всегда, выплеснул в себя новый стакан...Нет, стакан был старый. Водка новая. Но после новой водки вопрос про капусту отпал и возникло другое,

но тоже в разрезе закуски. У Ивана Исидоровича сын – новый русский, а у сына жена тоже новая русская, но ещё не очень новая, так вот Ивану Исидоровичу приспичило её поучить: в какой руке жена нового русского должна держать вилку, если, например, в левой руке она держит, допустим, котлетку?.. Алё, Норма! Передай Ивану Исидоровичу, что я тут в Москве всё точно разузнал, приеду – расскажу. А ещё передай Ивану Исидоровичу три рубля, он знает какие, ещё с прошлого года тянутся. Короче, Норма, также передай мой личный привет мэру администрации нашего района Александру Ивановичу Герцину, который был для меня спонсором на «Поле чудес». Скажи ему: Вениамин Мушинский не подведёт! И пусть мэр готовит меня в «Угадай мелодию» или в «Что, где, когда?»... Ну, как, Леонид Аркадьич, вы готовы отвечать на мой маленький вопросик? По глазам вижу, что готовы. Даже прослезились. Спасибо, Лёня. Ты меня уважаешь. Поэтому я снимаю вопросительный знак. И желаю здоровья. И вообще, не бойся проигрывать, Леонид Аркадьич. Бойся выйти из игры. Благодарю за внимание.

## МНОГОТОЧИЯ

Летом 1991 года в Тарханы приехали Лермонтовы...

Многие из них впервые посетили фамильный склеп, где были похоронены поэт, его мать и бабушка. Надгробье, слава тебе господи, оказалось на месте. Однако же в полу иновременной заплатой выделялось цементное пятно: ещё до войны (Великой Отечественной) гробокопатели прорыли в усыпальницу подземный ход, добрались до бабушки, косточки перетряхнули – авось, да сыщутся в домовине крепостницы Столыпиной фамильные драгоценности...Прах поэта не потревожили. И нынче гроб его, запаянный для пущей надёжности в свинцовый ящик, выставлен для экскурсионного обозрения.

*Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,*

### *Любовь к отеческим гробам...*

Постояли, помолчали Лермонтовы в склепе – да и разъехались по белу свету. Что им за дело до российских свинцовых музейностей?

Побывали в СССР и потомки Льва Николаевич, «зеркала русской революции». Те, кто постарше, не скрывали своей сентиментальности. Среднее поколение прикидывало, чем можно помочь России, а вокруг них всё время волчками вертелись представители тульских коллективных хозяйств, дёргали Толстых за рукава и переводили общегуманитарные разговоры в прагматическое русло. Молодые Толстые и вовсе не выдержали многодневной напряжённой, да ещё и с возлияниями, программы мероприятий. Незаметно исчезли. Оставшихся привезли в центр Тулы возлагать цветы к памятнику великого предка. Они, покачиваясь, вышли из автобуса, остолбенели перед каменным матёрым человечисцем, обозначавшим Льва Николаевича, и, поморщившись, возложили... Потом ещё и памятную доску открывали – на доме, куда как-то раз заглядывал писатель и даже разговаривал с молодым Станиславским. Между прочим, на мемориальную процедуру и попов пригласили – доску освящать. Вроде бы, нелепо, писатель всё-таки был отлучён от церкви православной. Но святые отцы тульской епархии поморщились и освя-тили...

*Животворящая святыня!*

*Земля была б без них мертва,*

*Как .....пустыня*

*И как алтарь без божества.*

Многоточия – как «продолжение следует». Но Пушкин уже не допишет строчки черновика. Возможно, на усмотрение своих потомков доверил им поиск точного определения? Однако Россия помалкивает. Страна, победившая социализм с человеческим лицом, не интересуется многоточиями. Она привыкла к восклицательным знакам: «Будущее – за нами!» - провозглашает она победительно. За нами – значит, позади. А что, в таком случае, будет впереди? Вопрос не стоит...Но всё

вместе это – уже не просто беспамятство и совсем не то, что мы помним. Это – именно то, из чего мы состоим.

## НАЧАЛА И КОНЦЫ

*Почтенный председатель! Я напомним:  
Во что бы то ни стало на турнире  
Дождёмся ночи здесь. Ах, наконец,  
Все говорят: нет правды на земле.*

*Спаси тебя господь! Прости, мой сын,  
Ужасный век, ужасные сердца.  
Убийцею – создатель Ватикана –  
Я гибну – кончено – о донна Анна!*

Всего-то ничего: четыре начальные строки плюс четыре строки завершающие. Получилось восьмистишие.

Самая маленькая трагедия на темы удивительных пушкинских алгоритмов.

## НАЧНИ С КОНЦА...

...И тогда я принялся вслух читать знаменитый роман в стихах, энциклопедию нашей прошлой, настоящей и будущей жизни.

*Итак, я жил тогда в Одессе...  
Лишь море Чёрное шумит.  
Объемлет небо. Всё молчит.  
Прозрачно-лёгкая завеса.  
Немая ночь. Луна взошла  
И бездыханна и тепла.  
Но поздно. Тихо спит Одесса.  
А мы ревём речитатив,  
Его невольно затвердив.*

*Слегка поют мотив игривый  
Сыны Авзонии счастливой.  
При блеске фонарей и звезд  
Толпа на площадь побежала.  
Шумя, торопится разъезд.  
Финал шумит. Пустеет зала...*

Конечно, вскоре все узнали «Евгения Онегина». А я гнал строчку за строчкой и строчкой же погонял.

*...Залог достойнее тебя  
Хотел бы я тебе представить,  
Вниманье дружбы возлюбя,  
Не мысля гордый свет забавить.*

Я ожидал: вот-вот кто-нибудь прервёт моё чтение и скажет: ну, хватит же валять дурака! Никто не прервал. Не сказал. Никто и не заметил, что читал я пушкинскую поэму задом наперёд, от последней, заключительной строки до первоначальной.

## **ПУШКИН НА ХИТ-ПАРАДЕ**

Польские математики задумали сногшибательный эксперимент: рассчитать на ЭВМ количество информации, содержащейся в некоторых, наиболее известных миру, литературных произведениях.

Да возможна ли в принципе такая сальериевская проверка гармонии искусства алгеброй? Оказывается, возможна. Ибо алгебра – это тоже гармония. Гармония поверяется гармонией.

И вот, значит, смелые польские гармонисты нажали на кнопки... В подопытной очереди классических произведений заняла своё место и «маленькая трагедия» Пушкина «Каменный гость». Уже первые две строки заставили компьютеры трудиться на полную катушку.

*...Ах, наконец,  
Достигли мы ворот Мадрита!..*

Строки, разумеется, не полочки, но умные машины разложили содержание строчек на свой машинно-логический ряд.

АХ – выражение степени усталости: долго, значит, путники шествовали.

НАКОНЕЦ – протяжённость действия во времени.

ДОСТИГЛИ – завершение этого действия, итог, конец, безусловно, желанный.

МЫ – множественность действующих лиц.

ВОРОТ – это деталь, свидетельствующая о средневековье, то есть время действия трагедии.

МАДРИТ – география, место действия, конкретная страна под названием Испания.

...В электронно-вычислительном хит-параде Александру Сергеевичу досталось первое место.

## ВЕНЕЦ

Жизнь шла, шла – и увенчалась: «Дорогому сыночку от безутешных родителей», «Василию от жены», «Другу Васе от друга Коли», «От трудового коллектива»...

От, от, от – и всё ему, одному, представившемуся. Какие, в сущности, чистосердечные признания: от чьих рук пал этот Вася жертвой в борьбе роковой. Свои – не чужие, не враги заморские! – бьют больнее, убивают с гарантией.

...В 1993 году в городе Вологде устроили выставку, посвящённую Николаю Рубцову. Женщина, почти жена, задушила мужа Колю...И были на той выставке: старый чемоданчик, пиджак потрёпанный и такая же потрёпанная гармонь-трёхрядка. Весь джентльменский набор. Больше в России личных вещей поэта не осталось, а может быть, и вовсе не было.

При жизни Рубцову многие помогали сойти в могилу, даже скоростно. После смерти это, как ни странно, оказалось никому не нужным. И за гробом шли единицы.

## ПАСТОРАЛЬ С АВТОМАТОМ КАЛАШНИКОВА

Кажется, в 1985 году литературный критик Анатолий Бочаров вывел поразительную статистику: за 40 лет после победы СССР в Великой Отечественной войне опубликовано 20 тысяч полнотражных произведений прозы. Получается: по 500 штук в год, по 10 на неделю, по одному произведению на тысячу загубленных жизней, если брать в расчёт округленное число жертв в 20 миллионов.

Разумеется, из такой горы книг о войне я не прочёл и сотой доли. Но, с одной стороны, какому дураку и какому гению взбрёт в одинаково круглую голову мысль осиливать подобные писчебумажные монбланы? А с другой стороны: многое из того, что издано (романы, повести, рассказы) невозможно назвать литературными произведениями даже при самой либеральной фантазии. Большинство таких сочинений можно уложить в несколько строк и даже зарифмовать для изящности. Вот так, например:

*Не опишешь в этой были  
Всех боёв, какие были.  
Немцев били там и тут,  
Как побили – так салют.  
Не расскажешь в этой были  
Всех чудес о нашем тыле...*

«Э-э-э, братец, – заметит наверняка прозорливый читатель, – ты, Диксон, не ту литературу копаешь. Надо смотреть на взрослые книжки, а ты нам что подсовываешь? Книгу для чтения во втором классе, напечатанную аж десять лет назад. Общая литературная редакция, между прочим, действительного члена Академии педагогических наук СССР С.В. Михалкова. Съел?»

Нет, скажу, такого дерьма не принимаю ни в детской литературе, ни во взрослой. Между прочим, добавлю, после изобретения группой Сахарова водородной бомбы знаменитый баснописец в полковничьих погонах, он же – автор вышеприведённых «чудес» писал уже для сугубо взрослой аудитории:

*Не угроза городам  
С мирным населением,*

*А острастка господам  
С дутым самомнением!*

...Литература о войне есть явление не менее опасное, чем сама война. Что такое, спрашивается, довоенные шапкозакидательские романы Шпанова, в которых Красная Армия в считанные часы доходит победительницей до Берлина? Эти романы и другие, подобные им, послужили делу победы, подготовили страну к войне? Нет. Они по-своему обернулись бесчисленными жертвами, бесцельно пролитой кровью. И вышло это так не только из-за неумения воевать, но прежде всего из-за преступно низкой цены за человеческую жизнь, сознательно, в том числе и литературой, установленной ещё задолго до войны. Отсюда – искажение всей шкалы человеческих ценностей, что привело в конечном счёте к пониманию «человека» только как «материала идеи». Ах, если бы это было всего лишь «понимание», на котором можно было бы и точку поставить! Однако это «понимание» начало работать на самой себя и подталкивало к соответствующему использованию «материала».

Ещё до войны поэт Павел Коган написал стихи с предчувствием неизбежной схватки, в которой будет предрешена судьба целого поколения:

Мальчишки в довоенных валенках, Оглохшие от грома труб,  
Восторженные, злые, маленькие, Простуженные на ветру.  
Когда-нибудь в пятидесятых Художники от мук сопреют,  
Пока они изобразят их, Погибших возле речки Шпрее...

Увы, заниженность цены единичной человеческой жизни происходила и в мирные времена, скажем, в тех же «трубных», но осуществлявшихся как бы поверх человеческих голов «планированиях» социалистического прогресса... В газетах последних лет сообщалось, например, что взрыв в районе Семипалатинска был мощностью 100 килотонн.

– Это соответствует действительности? – спросили дотошные журналисты у одного из руководителей ядерного испытания.

– Вы знаете, – ответил он, – мы думали, что будет килотончиков двадцать. А оно... как шархнуло!

То-то и оно, что шархнуло... В стране, где цивилизация разбавляется варварством (а этим варварством всё разводится!

Даже Марксов «Капитал» по сию пору разводят – как самовар, русским сапогом, на свой посконный манер), так вот, в этой стране всё возможно. Причём «всё возможное» отнюдь не означает «непредсказуемость». Тут всё наоборот: парадоксальная предсказуемость, фатальность, если хотите...

Мне говорил старый солдат:

– Конечно, Гитлер и товарищ Сталин – две волчары поганые. А вот представь, Алексеич. Сталин в июне сорок первого развязывает вторую мировую. Возможно? Так точно. Но антисталинская коалиция: Германия, США, Англия и Франция – выигрывает эту войну. Что бы тогда было? Как бы мир развивался?

Мы долго с ним говорили, спорили, но сошлись на том, что выиграть можно кубок, приз, золотую медаль, наконец, победу. Но когда говорят: выиграл войну – это чудовищно. Ибо так и было на самом деле: СССР выиграл войну против целого мира и против собственного народа, что означает: мы проиграли мир.

А кто же он такой, «мальчишка в довоенных валенках»? Скорей всего, деревенский малый. По достижении призывного возраста он, как жеребчик, рвался в армию. Это уж потом стали говорить: «забрали в армию». Точно в кутузку. Он стремился. Да и как ему не стремиться, когда с одной стороны дед-колхозник выговаривает: «Стремись, внучек, стремись!», а с другой стороны девки насмешливо глазами стреляют, почище ворошиловских стрелков: уж не бракованный ли наш Ванька? Вот и стремился. От деревенской кабалы и нищеты, от беспаспортной лагерной зависимости, от любого партийно-колхозного самодура. Куда стремился? Опять же, в родимую армию. А там после срочной службы, глядишь, и в кадровые младшие командиры можно выбиться, деревенскому парню усердие не в новинку, за то – одежда чистая и привлекательная, галифеи, сапоги кожаные, ремешки разные с хрустом, фуражка со звездой, а внутри той фуражки – заворотки такие, а под заворотками – иголка с нитками, беленькой и чёренькой... Господи, вот что такое Советская власть! Три раза в день кормят, чуть что не силком: ешь, говорят, положено по

довольствию, в разные кина водят, баня обязательная, да ещё у каждого бойца койка отдельная, почти что своя, железная, а на койке и матрасик свой и одеяло своё, и подушка в белом чехольчике, и аж две белые простыни, да ещё тумбочка на двоих, там разное твоё имущество в аккуратности и порядке, полотенце, мыло... Мечтательная жизнь, одним словом.

И вот они приходили, эти крестьянские сыны, преимущественно в пехоту, «царицу полей». А потом была война. Рабоче-крестьянская Красная Армия столкнулась с такой военной машиной, какой ещё не знала история. Ошеломлённая европейской фантастикой, она не скоро пришла в себя, но однажды придя, матерясь и мыча от боли, она заломала хребет фашистам. По-русски размахнулась – и заломала. Иначе и быть не могло.

Но ведь было и такое, на которое нужно ответить: почему было и почему такое... «Царица полей» только на войне увидела аккордеоны и губные гармошки. И бритвенные приборы с круглыми зеркальцами (услуга деревенских девах!) и складными бритвами золингеновской стали, которые можно править на обыкновенном солдатском ремне. И наручные часы. И фотоаппараты. И ножички-складешки. И фонарики со сменяющимися трёхцветными фильтрами. А фляжки с ромом! А шоколад толстыми плитками! Живут же люди... И чего им не хватало? И на хрена они к нам попёрли?

Было: безоружный солдат-окруженец голыми руками придушил немца-велосипедиста да заодно и велосипед растоптал: как на ём, паразите, к своим пробиваться? Ежели в деревне в жизнь таких механизмов не водилось, ехать не обучен, так пропади оно всё пропадом...

Было: коровник в Восточной Пруссии, куда ворвался наступавший солдат, и что же там, в этом вражеском коровнике, увидел он? Водопровод, кафель, аромат свежайшего сена, а надо всем этим немецко-фашистским райским благолепием, в котором и человеку нескучно поселиться, сияют... «лампочки Ильича». Сияют как ни в чём не бывало. За что такое сияние? И вот тогда взвыл солдат от обиды за деревню свою, в которой не только что кафеля и электричества отродясь не водилось, но и с

коровами было туговато. И шпарил солдат из ППС по этим ё...м кафелям и лампочкам, куда не распатронил весь диск.

Было: гнал солдат на восток, в Россию, стадо сытых фашистских коров. Задание такое: доставить конфискованных крупных рогатых скотов в населённый пункт Н., после чего вернуться в расположение своей части под город Дрезден и доложить об исполнении. С любовью и великой нежностью выполнял солдат приказ командования, хотя и строго кнутом пастушьим пощёлкивал, без строгости в таком деле никак нельзя. Шёл солдат и как-то незаметно расставался с подотчётным подразделением: в каждом сожжённом селе, перед каждой бабой с оравой ревущих ребятишек вокруг подола – как не оставить коровёнку? Щедро расставался. Как Бог. По возвращении в часть его расстреляли.

Один из мифов, вошедших в историю с подачи «литературы», таков: поднимается в атаку боец – «и перед ним промелькнула вся его жизнь...», а потом, когда она промелькнула (родные берёзки, напутствие бригадира на ратный труд и т. д.), боец делает шаг на Запад с кличем: «За Родину-мать, за Сталина!»

Относительно Сталина в литературе до сих пор существуют две противоположные точки зрения. Фронтовики, поднимавшиеся в атаку, утверждают нечто конкретное: не было Сталина, и Родины не было. Мать, правда, была, но не родная, а, как бы сказать, отвлечённая.

Одна московская газета опубликовала записи переговоров лётных экипажей, попавших при выполнении полета в экстремальную ситуацию. Практически все тексты – из «чёрных ящиков» разбившихся самолётов. Уж на что, казалось бы, образованные лётчики и штурманы воздушных лайнеров – ай нет! Матерятся, точно первые парни на деревне, правда, виртуозность уже не та... И если я сейчас вспомнил об этом, то только потому, что верю в Родину погибших пилотов больше, нежели в Родину наискромнейших беллетристов, которые подчас напоминают мне игроков на телевизионном «Поле чудес»: слово-то он отгадал, да вот выговорить не может.

Болезненный вопрос: может ли наше прошлое нравиться всем без исключения, приниматься без внутреннего содрогания? Нет, не может. Ну а если это самое прошлое является не только

«историей», но и самым лучшим временем жизни человека, тем более дорогим временем, чем менее его остаётся впереди? Каково читать что-либо скверное о прошлом времени тем людям, которые жили тогда в полную силу молодости и здоровья – пусть они были при этом правы или не правы, свободны или несвободны? Ведь признать скверну, которой была опутана единственная (больше не будет!) юность, – значит, в чём-то отказаться и от самой юности, что равнозначно подведению черты под собственной жизнью раньше отпущенного срока...

Жёсткость, суровость военной прозы Дмитрия Сергеева (я имею в виду его роман «Запасной полк») – от честной любви. Это ложь может быть беспощадной, правда же таких прилагательных не имеет.

Придирчивый читатель может заметить: всего-то разок и упомянул я имя этого замечательного писателя-фронтовика...

Отвечу так: замечательный писатель тем и замечателен, что люди размышляют над страницами его книг. То, что я написал, рождено прозой Сергеева, с которой я до нужной поры прощаюсь так, как актёр прощается с ролью, которую он уже никогда не сыграет.

## ЦЕНА ВЕСЕЛЬЯ

...«Для веселия планета наша мало оборудована».

Ладно. Пусть будет так: планета для людей. Но ведь на всякого пролетарского Маяковского сыщется свой буржуазный Экзюпери: «планета людей», а это совсем не то, что люди планеты.

Глобальность же – не от Глобы, нынешней «чревоущательницы». Глобальность людей от того, что есть гора Го-рация, есть безмерный Гомер, есть море Мора, есть Шекспир, как вселенский пир на весь мир: планетарные явления в лице людей, ничуть не меньшие по значимости, чем материки, моря и незримая земная ось. «Весёлому человеку» приблизиться к этим явлениям, разумеется, можно, но прежде нужно стать хотя бы таким слепым, как Гомер, или глухим, подобно Бетховену,

или таким великим немым, как Чарли Чаплин или Великая Книга.

Но гора не выше моря. Она только потому и гора, что вокруг неё есть море или равнина.

И Грибоедов не обнимался с Пушкиным, напротив – дружил с его антагонистом Булгариным. И Чаадаев не привечал Гоголя. И Лев Толстой ругал Шекспира и Бетховена. И Тургенев не любил Чернышевского... Всё это – в глобальной природе вещей.

Вот Достоевский: он отвергает любой мир, основанный хотя бы на единственной слезинке ребёнка.

Вот Гоголь: он сотворил мир вечера накануне языческого идола, где шестилетнему Ивасю отрубили голову... Василий Розанов обвинил Гоголя в причастности к духовной гибели России: Гоголь-де осуществил первое в русской литературе убийство младенца, чего нет и не могло быть ни в одной русской сказке.

Различия между Гоголем и Достоевским очевидны, как очевидны созданные ими сообщающиеся миры.

Так что же, вход там, где выход?

Там.

Можешь войти, «весёлый человек». Неси, как крест, вес веселья.

Но есть одно славное правило в православных монастырях – словно пароль с отзывом. Ежели хочешь войти в монашескую келью, надо нараспев сказать: «Господи, помилуй нас». И коли ответят из-за двери «Аминь», значит, можно войти. На каком языке будут произнесены эти четыре слова – неважно, как не важны сами слова. Лишь был бы чистым язык.

## МЕТАФИЗИКА ВАЛЯНИЯ

Кто из русских и приблизительно русских не умилялся руслановскими нервозно-стервозными озорными страданиями?

*Валенки д'валенки,  
Не подшиты, стареньки,  
Не в чем к милому ходить,  
Надо б валенки подшить...*

Вопрос и в лоб, и по лбу: конечно надо, а... нету ли чего поконструктивнее?

Валенки, пимы да катанки, «запросившие каши», чинили подомашнему до тех пор, покуда ещё можно было к заплатке пристроить заплатку. Но однажды наступал предел латания. Жены и дочери вопросительно взирали на хозяина дома. И батька принимался со свирепой задумчивостью шариться в домашнем собрании войлока, дратвы, кусков вара, толстых иглоков и вощёных ниток, острейших шильев и ножей, лоскутов телячьей кожи, меховых лохматочков... Всё есть. Не считая нищеты. И придумал батька: поверх множества заплаток наложил одну, кожаную, фасонисто вырезанную, прошитую узорчатым двойным швом.

Мужику недосуг было формулировать соображение о том, что российская нищета является испокон веку блаженной плёткой творческого вдохновения. И он говорил простенько:

– Ну-кась.

Жинка примерила:

– И-их! – топнула ножищей, кокетливо носочек вывернула и зарделась по-новодевичьи. – Шибко дуже!

Дочки обувку обновили:

– Ух ты! – и на пятках кругнулись. – Очень даже!

А батька на валяных голяшках уже завороты натягивает да кожаные подошвы деревянными шпильками простукивает...

– Весьма сугубо! – сказали односельчане.

– Одним словом, очень! – одобрили рационализаторство в соседней деревне.

Не сапоги, не валенки. Эрзац-сапоги и эрзац-валенки. Бурки! Они явились во множественном числе, предел бедности перекувыркнулся и стал пределом богатства, модою и мерилом достатка.

Белый фетр, коричневый нежнейший хром... полувоенный френч, портфель... Получался законченный партийный секретарь, даже не подозревавший, что на ногах его – ближайший родственник заплатанного деревенского валенка, сделавшийся вдруг символом дефицитного распределения: «зарплата на зарплатку».

В сущности, процесс превращения валенок в бурки весьма прост. Наши бедные старики помнят фразу: «Катанки-то совсем прохудимши... Пора бы обсоюзить».

«Обсоюженная» обувка не казалась вечною. Но, так или иначе, в том или ином виде, она пережила и стариков, и «обсоюженную» Россию, и иные-прочие Союзы, могучие и нерушимые. Только потому и пережила, что была ближе к земле, чем многие слова о земле, а латание индивидуальных дыр зависело не от монстра с человеческим лицом, но от самого человека, от хозяина дома, от батьки.

### ХОЛОДНО...

«Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд...» Пастернак так и не отрыдал своё.

13 февраля 1917 года директор императорских театров Владимир Теляковский записал в своём дневнике о последних событиях в России: «Из всех разговоров с русскими людьми в Москве я твёрдо убеждён, что не может долго просуществовать наш прогнивший до мозга костей строй. Никакой Вильгельм не мог бы сделать стране столько зла, сколько ей сделал царь, допустивший себя морочить кучке проходимцев. Это даже не правые и не крайние правые, а просто наполовину дураки и наполовину нечестные люди, которые даже очень дешево покупают и продают отечество и Россию...»

В тот же день в своей газете «Утро России» известный предприниматель-миллионер Павел Рябушинский заявил: «Мы вот теперь говорим, что страна стоит перед пропастью. Но переберите историю: нет такого дня, чтобы эта страна не стояла перед пропастью. И всё стоит».

Восемьдесят лет отсвистело с того февраля – а всё мёрзнем. Холод. Стужа. Озимь с инеем синим. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...» Да неужто и в самом деле вся Россия, как Зимний дворец? Ледяной дом? Гиперборейский айсберг? Вечная мерзлота? Поцелуй на морозе, по-хлебниковски? Или яблоко на снегу, по современно-эстрадной версии?

Пастернак пробивался к сути. А суть оставалась древней: через монастыри и террор, Россия во всём доходит до крайности, до пропасти, заглядывает в её пасть и только тогда может остановиться, задуматься и не пропасть бесследно. Но и задумчивость её беспредельна.

## ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

Если поэт пророчествует в одиночку, он, конечно, может и ошибиться. Когда их двое, то – иногда. Трое – уже никогда.

...Давным-давно, ещё при Боге, при букве «ять»... летом 1916 года Марина Цветаева пророчила мальчику, которому в ту пору не было и четырёх лет:

*Рыжий львёныш  
С глазами зелёными,  
Страшное наследье тебе нести!  
Северный океан и Южный  
И нить жемчужных  
Чёрных чётков – в твоей горсти...*

Так и случилось в жизни мальчика, отцом которого был поэт Николай Гумилёв и матерью – поэт Анна Ахматова... Отца расстреляли «за участие в контрреволюционном заговоре», и посему «рыжий львёныш», не кончив университетского курса, был определён на строительство Беломорканала, потом – в Норильск, в таймырскую тундру. В 30-е годы он открывал для себя тайгу и гольцы Хамар-Дабана близ Байкала, палеолитические пещеры Крыма и степи вокруг хазарского города Саркела, горные ущелья по Вахшу и таджикские кишлаки, где изучал язык Фирдоуси... С 1943 года Лев Гумилёв на фронте, освобождал Польшу, брал Берлин. После войны закончил университет, защитил кандидатскую диссертацию. И снова был призван к ответу перед «соловецкой» властью – уже за мать свою, Анну Андреевну, попавшую в опалу... Трижды лагерником был дважды доктор наук – исторических и географических, профессор Ленинградского университета Лев Николаевич Гумилёв, ученик и последователь академика В.И. Вернадского.

*Дай ему Бог – вздох  
И улыбку матери,  
Взгляд – искателя Жемчугов.  
Бог, внимательней  
За ним присматривай.  
Царский сын – гадательней  
Остальных сынов...*

Бог, конечно, присматривал. Но всемогущие органы, железы внутренней секреции государства, справлялись с этим делом куда как профессиональней. С 1974 по 1989 год книги Гумилёва не печатались. Какую крамолу, какое зловерное инакомыслие усматривали коммунистические властители в его научных трудах? Возможны ли замахы на партийные догмы в статьях о хунну в Китае и кочевом мире евразийских степей, в трактатах о древних тюрках и Тибете, в монографиях о старобурятской живописи и хазарах? Оказалось – возможны. Исповедники великодержавно имперской идеологии «третьего Рима» и по сей день шарахаются, точно черти от ладана, от гумилёвской пассионарной теории этногенеза, глобальной концепции этнической истории Земли... «Этносы преходящи, и одни из них могут родиться и исчезнуть в пределах одной общественно-экономической формации, другие способны существовать, переходя из рабства в феодализм, капитализм и т. д. Как мне представляется, отсчёт времени для сугубо определённой этнической общности идёт примерно 1200–1500 лет... Народы, как люди, смертны, но в отличие от людей ни один из народов поголовно не умирает, а просто вступает в новые комбинации со своими соседями, пришельцами и даже врагами».

Из более чем двухсот статей и десятков монографий Л.Н. Гумилева сложилась «Степная трилогия», охватившая полтора тысячелетия жизни народов от Амура до Дуная: «Русь и Великая степь», «Этногенез и биосфера Земли», «От Руси до России». В 1992-м Лев Николаевич умер, не дожив нескольких месяцев до 80-летия. Он успел сказать свое, главное – на пороге Большой Перемены. Он оставил нам все, даже автонекролог... «Личная биография автора, – писал он в 1988 году, – никак не отражает его интеллектуальной жизни. Первую биографию мы все пишем для отдела кадров, а последнюю, некролог, обычно

пишут знакомые или просто сослуживцы. Как правило, они выполняют эту работу халтурно, а жаль, ибо она куда ценнее жизнеописаний, в которых львиная доля уделена житейским дрызгам, а не глубинным творческим процессам. Но можно ли судить за это биографов: они и рады бы проникнуть в «тайны мастерства», да не умеют. Тайну может раскрыть только сам автор, но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания и развития научной идеи...» Проще говоря, черта, подведенная под собственной жизнью,— ни черта, в принципе, не стоит, потому что, слава Богу, у вещей, у книг, у идей, рожденных людьми необычайными, куда более долгая жизнь, чем у их творцов.

*Имя ребенка – Лев,  
Имя матери – Анна.  
В имени его – гнев,  
В материнском – тишь.  
Волосом он рыж.  
– Голова тюльпана! –  
Что ж, осанна  
Маленькому царю.*

Он приблизил нас к пологу тайны.

Он не разменял свою жизнь на блестящие и звонкие, как пятаки, пятилетки. Он не был суетным. Он не любил дрызги. Он был естественно нешумлив.

Великий Океан – он же и Тихий.

И нить жемчужных чёрных чёток...

## **РУКОЙ ПОДАТЬ ДО ЗИМНЕГО ДВОРЦА...**

...Квартира – это ведь не только жилые комнаты, но ещё и всякие закутки с подсобками.

В подвальном этаже была кухня с комнатой для кухарки и прачечная с двумя жилыми помещениями для работниц. Во дворе располагалась конюшня на шесть стойл. Дровяной сарай. Сеновал. Ледник для провианта. Винный погреб. Каретный сарай на три единицы городского транспорта: кабриолет, двухместная коляска и большая четырехместная дорожная

карета... Людские комнаты. Прислуги-то – около двадцати человек мужского пола и женского.

Здесь он и проживал согласно контракту.

«...Я, нижеподписавшийся, двора его императорского величества камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин, заключил сей контракт... в том, 1-е, что нанял я, Пушкин, в собственном ее светлости княгини Софьи Григорьевны Волконской доме... весь от одних ворот до других нижний этаж из одиннадцати комнат состоящий со службами...»

Дом на Мойке.

Последняя обитель поэта.

В узком полутёмном коридорчике, соединяющем парадную анфиладу с внутренними жилыми комнатами, выстроились от пола до потолка пристенные стеллажи. Фактически домашний склад нераспроданных изданий «Истории Пугачёва» и журнала «Современник» – в связках, стопами, пачками... Поэт бедствовал.

Расходную книгу в доме вёл крестьянин Н. Мозжухин. В тот день, когда Василий Жуковский получил распоряжение опечатать пушкинский кабинет, Мозжухин сделал запись о покупке сургуча на сумму сорок копеек. На следующий день, января, было заплачено 80 копеек «извощику», посланному за доктором – для Натальи Николаевны, разумеется, ведь Пушкин был уже далеко. Потом – идёт роспись поминальных расходов: ром, сливки, изюм для кутьи. Четвёртого февраля розданы 3 рубля 75 копеек нищим на паперти Конюшенной церкви – на помин души усопшего, пусть помолятся. Здесь же ниже – запись: «Жандармам – 2 рубля сорок копеек». Какие жандармы? Обыкновенные. Каждый день, с января по 5 февраля, из хозяйственных денег пушкинского дома Мозжухин исправно оплачивал постой восьми жандармов по 30 копеек на нос. Жандармов прислал царь. Для защиты от беспорядков, как объяснялось. Отеческая попечительность государства Российского...

Рука об руку: слава, нищета, лицемерие, приручительный порядок...

В сталинской России семью известного киноартиста Черкасова из трёх членов обихаживала за госсчёт прислуга из пяти

человек, включая личного шофёра. В доме поэта Симонова – официально прикомандированный лакей. Вряд ли Константин Михайлович мог отказаться от услуг такого домового, от его заботливого упитанного взгляда...

## **ЖИЛ ДА БЫЛ КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ**

– Нравы нашего литературного подворья становятся всё более и более дикими. Про обличителей разных трактиров, ресторанов и прочих приходится слышать вещи самого возмутительного содержания. Они являются всюду, едят, пьют, получают подарки и хвастаются, что обличат тотчас, если что не по ним, то есть если не дадут им взятки или спросят за выпитое вино или съеденный обед деньги».

Тяжеловат слог. Да уж что поделывать... «Санкт-Петербургские ведомости», 8 июля 1865 года.

## **КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ**

На проблему перемещённых ценностей периода второй мировой войны как на предмет острого спора между Государственной думой и президентом России можно, в конце концов, взглянуть и с иной, нетрадиционной, точки зрения.

Фёдор Михайлович Достоевский, как известно, был большим любителем азартных игр, о чём свидетельствуют не только факты его личной биографии, но и роман «Игрок», написанный с великим знанием картёжного дела.

В свой последний приезд в Висбаден писатель квартировал в самой дорогой гостинице города «Нассауэр хоф». Тогда Достоевский проигрался в пух и прах и вынужден был тайком бежать из отеля, не заплатив за проживание.

...В 1992 году германский федеральный министр по делам семьи и престарелых госпожа Ренш предложила в знак дружеского расположения к России оплатить гостиничный счёт Достоевского из своего личного кармана.

Российские представители, которым фрау Ренш сделала это предложение, были поражены столь скрупулёзным, педантичным немецким счетоводческим делопроизводством. Однако к затее министра отнеслись с опаскою; россияне – народ нежный и доверчивый до идиотизма, а ну как двинутся колоннами по пути, протоптанному славным русским литератором?!

Но всё же главным и решающим препятствием в принятии положительного решения стало мнение хозяина гостиницы.

– Возражаю, – заявил он, – потому что отель не должен лишаться одной из самых замечательных достопримечательностей!

Так и остался Фёдор Михайлович в почётных должниках висбаденской гостиницы. И по сей день пребывает!

Кажется, это единственный случай, когда российские долги за границей приобретают статус культурного достояния.

Достояние Достоевского – прецедент.

## ПРО ФЕДЬКУ КАРПОВА

Императрица Елизавета Петровна однажды посетила Александро-Невский монастырь. Радужный архиепископ Феодосии оказал государыне подобающую учтивость, а после трапезы позабавил высокую гостью причудами медвежонка, обученного приказным келейником Федькой Карповым.

Проказливый и смышлёный зверёныш до того понравился Елизавете Петровне, что она выписала из Москвы двух медвежат для своей собственной потехи.

– А Федька пусть научит! – приказала. – Деньги на прожор и выучку из Монетной канцелярии возьмите. По рублю на день.

И поскакал гвардии отставной солдат Шестаков в монастырь, к Карпову. За обшлагом мундира рубль покоился, с портретом государыни.

– Рупь? – спросил келейник-дрессировщик. — Да энтим рублевиком только жопу подтереть! Давай пятьсот!

Шестаков доложил о конфузе главному судье Монетной канцелярии статскому советнику Шлаттеру. Шлаттер поспешил

с докладом к кабинет-министру барону Черкасову. Черкасов – к императрице устремился.

– Пущай архиепископ уймёт этого Карпова! Не то отправлю сего звериного ментора на выучку в Тайную канцелярию. Там из него живо вышибут денежный интерес, – сказала государыня.

Карпова, конечно, уняли. И в скором времени пара весёлых медвежат потешала Елизавету Петровну да Алексея Григорьевича Разумовского. Императрица заливалась по-девичьи:

– Пущай Карпов наденет на зверей штаны какие-нибудь... Нехорошо, когда ихние причиндалы на виду болтаются...

Фаворит крутил малороссийский ус и ухмылялся:

– Яйца, матушка, дар божий.

– Ох, баловник! – смеялась государыня. – Зато я у тебя вместо Феды Карпова буду. И – не за рубчик!

## ДЕРЗОСТЬ

Неистовый Виссарион Белинский начал свою литературно-критическую карьеру с отчаянного возгласа: «Итак, у нас нет литературы!» После чего написал двенадцать томов со статьями об отсутствующем предмете.

«У нас ещё нет ни словесности, ни книг», – сокрушался Пушкин.

Салтыков-Щедрин, современник и публикатор Толстого и Достоевского, бранился предпоследними словами по поводу вырождения российской словесности.

Маяковский швырял за борт классиков, да и с современниками не церемонился: «Чересчур страна моя поэтами нища...»

Вот и наш современник Виктор Ерофеев объявил о скоропостижной кончине русской литературы...

Есть во всех этих декларациях непостижимая дерзость, объяснить которую я не могу.

И только дневники Андрея Платонова кое-что объяснили. Там есть кощунственная (с точки зрения советских литературных педелей) запись: кто сказал, что Пушкин и Гоголь останутся непревзойдёнными?

В сегодняшнем российском литературном мире не сыщется никого, кто бы смог повторить эти слова. А жаль!

Дерзкие – они не только дерзят. Они ещё и дерзают.

## КАК НАРОД ОБМАНЫВАЛИ

Самое начало царствования Елизаветы Петровны.

Канун коронации.

Санкт-Петербург.

18 января 1742 года.

Перед зданием Двенадцати Коллегий с самого утра собралась толпа, извещённая со вчерашнего дня барабанщиками:

– Публичная казнь врагов Государыни и государства Российского! Смерть Остерману, Миниху, Левенвольду, Менгдену и прочим псам царствования Анны Иоанновны и регентства Анны Леопольдовны!

«Псов» выводили на эшафот, наклоняли им головы на плаху и – зачитывали указы о помиловании. Народ роптал. Народ почёл себя обманутым.

– Вона как! Обещались башки рубить – а тут одно надувательство! Не ж-ж-жалаем энтова!

Солдаты Астраханского полка разогнали разбушевавшуюся толпу.

## КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ПАССАЖ

Берлинский педагог Фридрих Клоден в молодости любил развлекаться составлением географических карт.

И вот однажды, в 1810 году, накануне войны Наполеона с Россией, некий чуткий владелец торговой лавки заказал Клодену изготовить карты Российской империи.

– Забавно, – сказал Фридрих. – Но попробую. А денежки-то...заплатите? Или как?

– Или как, – отшутился лавочник. – Не обижу.

Картограф-любитель с головой зарылся в книги о России, в записки путешественников, статистические справочники,

географические атласы... В результате получилась подробная карта современной России.

Лавочник выгодно продал карту Наполеону, и французские маршалы нанесли на ней первые диспозиции со стрелами, направленными на Москву.

Клоден, между прочим, не получил от своего любительства ни шиша.

Однако его авторское самолюбие было удовлетворено вполне – тогда, когда русская армия-победительница вступила в Париж.

Русский офицер – весёлый, пьяный, любвеобильный – обнял Клодена, расцеловал в обе щеки и, аттестовав картографа по высшей гусарской мерке, признался:

– Сукин ты сын! По твоей карте я, русский помещик, впервые узнал размеры болот в моём имении... Хвалю!

## К ВОПРОСУ О НАЛОГАХ

Когда-то, точнее давным-давно, один известный древний полководец приказал обложить жителей покорённого им города двойной данью. А через некоторое время спросил:

– Что с налогом? Как чувствуют себя налогоплательщики?

– Плачут от непосильного бремени, – ответили ему.

– Увеличьте бремя в три раза, – последовал невозмутимый приказ.

Слово повелителя – закон. Увеличили.

– А что теперь? – поинтересовался полководец.

– Продолжают плакать. Но в три раза больше.

– В таком случае увеличьте налог в четыре раза.

А вскоре крайне удивлённые сборщики налогов донесли повелителю, что жители смеются.

– Вот теперь достаточно, – последовал ответ полководца. – Им уже нечего терять...

Вольтер, кажется, чего-то не додумал, когда сказал: «То, что сделалось смешным, не может быть опасным».

## ВОЕННАЯ ТАЙНА И ПОПУГАЙ

Война со Швецией кончилась славной российской викторией... Слава Богу! Виват солдату российскому! Исполать генералам! Аллилуйя героям!

Император восседал на самом крайчике супружеской кровати, императрица по-девичьи зарылась с головою в подушки, а светлейший князь Меншиков подавал Петру Алексеевичу опохмельное пиво гамбургское – кружка за кружкой.

– Куды теперя двинем, мин херц? – спрашивал Меншиков.

– В Персию! – отвечал император. – В Персию пойдём всенепременно!

– Когда двинем, мин херц? Мы завсегда готовые...

– Сие секрет, – отвечал император. – Наистрожайший.

Наутро петровский денщик, надевая ботфорты своему государю, конфиденциальное сообщение сделал:

– Скоро, говорят, пойдём войною на персиянского царя. Правда ли?

– Ты откудова сие услышал, подлец?

– Попугай глаголил.

– Какой попугай? Ты что ж, стервец, на попугая имперские тайны валишь?

– Прости, Пётр Алексеич... Уж ты лучше у птички сей поспрашивай, а мы тут сбоку припёку, людишки неразумные...

Учинили допрос попугаю, что содержался в клетке в императрицыной опочивальне.

– В Персию! В Персию! – орала дурным голосом птица экзотическая.

Государь Пётр Алексеич бледнел, краснел, зеленел, синел, чернел... – а потом рассмеялся и приказал вынести попугая из государевых комнат.

На Руси всё тайна, и ничто – не секрет.

## ТЕЛЕФОННАЯ МАГИЯ

В романе Кафки «Замок» есть удивительное действующее лицо, герой, персонаж, уж как хотите – назовите: магический

телефон. Он появляется в самом начале романа и со скоростью необычайной вытесняет все другие персонажи, предметы жизни и явления, куда не становится полным олицетворением царства-канцелярства. Снимаешь трубку – шум. Что это значит? То ли чиновничество перьями шуршит? То ли человечество стонет, замученное канцелярией? «Ждите ответа...» – «Ждите ответа...» – «Ждите...» Не дождётесь, милые. Есть спецы по вопросам. Нет спецов по ответам.

### **ЕСЛИ БЫ МЕНЯ ПОЗВАЛ ЧЕ ГЕВАРА...**

Насильно мысль не будят. И не будет, никогда не будет того, чтобы правили бал да при этом ещё и баллы выставляли человеческому сознанию: ни пуля-дура, ни штык-молодец, ни инквизиторская идеология, ни психотропная аппаратура, ни эзотерические опыты в духе Сэдэо Кина...

Однако насколько всё-таки большего мужества требует не краткий подвиг боя, а – незримая миру перемена в образе мыслей!

...Я помню шумный год. Страстный год. Год-перевертыш. Хоть вверх тормашками перекувырни его магические арабские цифры – всё равно получается: 1961.

Полторачасовой, весёлый – будто с ледяной горки на санках скатился! – полёт Гагарина вокруг планеты, вынос Сталина из Мавзолея, денежная реформа... Но главным событием того бурного года было, конечно же, опубликование в воскресных газетах, 30 июля, Программы КПСС – программы построения коммунизма, рассчитанной на 20 лет.

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», – сказал первый коммунист Никита Сергеевич Хрущёв. Ему поверили. И это было первым, самым запоминающимся пунктиком. Второй – Моральный кодекс строителя коммунизма – тоже хорошо запомнился, его конспектировали пионеры, пенсионеры и все, кто жил посередке, заучивали наизусть, а кто-то даже пытался примерить на себя: не жмёт ли? гожусь ли в ближайшее счастливое будущее или пока ещё недостаточно поработал над собою? Третий пунктик:

«Догоним и перегоним Америку...», «Держись, корова из штата Айова!», сыты будем – не помрём, товарищи, хуже уже не будет, свою порцию голода Россия уже отголодовала, и всего лишь через четыре ударные пятилетки наши мамки, наши молодые мамки, уже не будут сбиваться с ног и ломать головы над алогичной задачей: где им достать продукты к столу и каким образом похудеть для фигурности...

Во всех трёх пунктиках к горлу подкатывал романтический спазм революции: что она? зачем она? для кого она? Покуда более-менее понятным принималось лишь то, что серп и молот с колосьями перескочили в советский герб из «Утопии» Томаса Мора. Однако уже менее, чем более понятным принимался постулат, опостылевший, как закалённая сталь: революции полезны не тем, что размежёвывают старые и новые взгляды, плохих и хороших людей, исповедующих эти взгляды, но тем они, революции, полезны, что делают попытку произвести решительное размежевание между плохим и хорошим, между дурным и недурственным в самом человеке; в этом смысле революции не кончаются, покуда жив человек, покуда он домогается сверхзадачи: что он? кто он? зачем живёт и хлеб жуёт? для того ли, чтобы лизнуть космическую соль истины, или – для полного домашнего удовлетворения?.. Каждый выбирает своё. Каждый желает видеть то, что желает. И увидит, конечно же увидит! Но – ошибётся. Потому что это уже не революция, когда она вечная...

Ах, этот год-перевёртыш! Он не только сам совершал головокружительные кульбиты. Он людей ставил с ног на голову и в обратном порядке... Сталинизм превращался в сталинщину. Возвращались из лагерей потёртые люди в телогрейках – и попадались на глаза «чувакам», стильным юношам: брючки-дудочки, усики-ниточки, галстучки-удавочки ниже пупа...

А Куба? Захватив власть ещё 1 января 1959 года, Фидель умудрился только 16 апреля 1961 года объявить, что кубинская революция получилась социалистической. И вскричали лозунги: «Руки прочь от Кубы!», «Патриа о муэртэ!», «Родина или смерть!». Мужественные барбудос. Береты. Молодые майоры. Экспромты зажигательных речей...

О, если бы меня тогда позвал Че Гевара!  
Но меня никто не звал. Я был нужен своей стране.  
Я начал читать «Правду».

Главная коммунистическая газета «Правда» в 1964 году совершила чудовищную, необычайного заряда, крамолу, с точки зрения собственной идеологии.

Ещё не улеглись трёхлетней давности страсти по материально-технической базе коммунизма и моральному кодексу его строителей, ещё по инерции многие граждане страны Советов жили хрущёвской оттепелью и потому, образно говоря, «сопливили»... Но уже и подмораживало, местами был гололёд, а я в ту пору только становился на крыло... «Ну, – думалось, – что такое джаз, бокс, сочинение стихов, дрянное винцо? Всё это уйдёт, а что же будет взамен? Надо, чёрт побери, на время остановиться, осмотреться. На остановках же, как правило, люди помалкивают. А во времена молчания рождается ересь».

А тут ещё соседская бабушка Вера со всепогодным фило-софическим прищуром, да ещё вон что выкинула! – с «Правдою» в руке:

– Шлындаешь всё! А тут вон чего творится!

– Чего такое, бабвера?

– Господи Иисусе, да не иначе как конец света надвигается! На почитай-ка старухе, а я уж так и быть послушаю...

Огромная, на всю правдинскую полосу, глянула на меня статья лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти «Памятная записка».

Такой оценки положения в странах соцлагеря, состояния международного коммунистического и рабочего движения я раньше не встречал в прессе, да и в разговорах об этом уже стали умалчивать: ну их на хрен, этих гэбэшников, у них уши везде, даже, извините, в самых непубличных местах.

Вот что было в «Памятной записке» касательно Советского Союза сказано:

«Хуже всего создавать сначала впечатление, что всё всегда идёт хорошо, а затем внезапно сталкиваться с необходимостью говорить о трудных ситуациях и их разъяснять».

Не в бровь, а в оба глаза!

А вот ещё пассаж: «Мы должны стать поборниками свободы интеллектуальной жизни, свободы художественного творчества и научного прогресса».

И это утверждалось тогда, когда в стране социализма, победившего окончательно и бесповоротно, бульдозерами сметали художественные выставки, громили с самых высоких трибун разных евтущенок и прочих не туда вознесенских, раздавали всем сенькам по шапке с лагерным номером...

Когда «дали по шапке» Генсенке Никите Хрущёву, в октябре того же 1964 года, через два месяца после опубликования статьи Тольятти, – гайки стали закручиваться поосновательней...

Всё то, что значительно позже, уже при горбачёвской лихорадочной перестройке, провозглашалось о правах человека, о гласности и общечеловеческих ценностях, всё это имело место в предсмертном письме Тольятти, умершего странным, довольно неожиданным образом на отдыхе в Ялте. Стоит ли говорить, какова была цена тем открытиям для вчерашнего искромётного пионера, но уже криво ухмылявшегося комсомольца?!

А дальше было проще. То, что казалось ядом, оказалось лекарством. Разница между тем и другим – в дозировке.

...В этом же году Всесоюзное радио познакомило страну с новой патриотической песней «Идут полки рожденья сорок пятого...». Пел Юрий Пузырёв, и я, нелюбитель коллективных речёвок, подпевал ему.

В этом же году я познакомился с Калашниковым.

Я ещё не знал, что коллизии купринского поединка вышли далеко за пределы армии и охватили всю страну.

Я уже знал, что защищать свой дом можно и на биологическом уровне, подобно пингвину или собаке.

Я ещё не знал, что изображение автомата Калашникова появится на государственном гербе Республики Мозамбик, нищенствующей родине моих сокурсников по военному училищу, но уже тогда я с ними легкомысленно перемигивался: АК – он и в Африке АК! – и они, чернокожие братья по оружию, поднимали в знак восхищения большой палец.

Я уже знал, что картавый шквал автоматных очередей, лязг танковых траков, рёв истребителей-бомбардировщиков могут разбудить в человеке всего лишь инстинкты, но не сознание.

Из фондов библиотеки крупнейшего и единственного в стране по своему профилю военного училища газета «Правда» с завещанием Тольятти была уже изъята.

## СРЕДИ УЗБЕКСКИХ ДАСТАРХАНОВ

В Термезе меня впечатлили не только дыни...

С регулярностью часового механизма на городок обрушивались потоки афганских ветров – сухих, обжигающих, насыщенных то ли памятью о барханах, то ли субстанцией, которая когда-то называлась песком...

Притчи причитают – в каждой песчинке.

...Явились как-то дехкане к мечети. Явились, чтобы умолить муллу замолвить словечко перед всемогущим Аллахом о ниспослании живительного дождя.

– Нет, – сказал мулла, – ничего не получится.

– Почему? – спросили жаждущие, страждущие.

– А потому, что вы не верите мне.

– Верим, верим!

– Нет, не верите. Если бы вы мне верили, то пришли бы с зонтиками.

...А между тем афган задувал. И в шёпote его слышался Маяковский:

– Назревали, зрели дни, как дыни...

Приходило ещё не осознанное до конца безверие.

## УГОЛОК ДЛЯ КАВОТА

В начале июня 1666 года в Париже на сцене театра Пале-Рояль состоялась премьера комедии Мольера «Мизантроп». Роль одного из главных героев, Альцеста, исполнял сам драматург.

Заключительный монолог Альцеста – полушёпот, полувыкрик:

*А я, измученный, поруганный жестоко,  
Уйду от пропасти царящего порока  
И буду уголок искать вдали от всех,  
Где мог бы человек быть честным без помех!*

И эта мука мученическая – в комедии?!

Без малого полтора века прохлопало ушами в ладошки – и эхо смеха докатилось до России. «Горе от ума», русский вариант. Заключительный монолог Чацкого – полувыкрик, полушёпот:

*Вон из Москвы! сюда я больше не ездук.  
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,  
Где оскорблённому есть чувству уголок!  
Карету мне, карету!*

Так кто же он, этот нервический типчик, надоевший ещё в советской средней школе? От чего его горе? От ума? От того, что «судьи кто»? От смеси французского с нижегородским? От горечи отеческого дыма? От дамских чепчиков, парящих в атмосфере салютацией в честь генерала Скалозуба? Не-а! Горе потому, что – один.

...Чехов носил кольцо с надписью «Одинокому везде пустыня».

Ёмкое слово – одиночество: ода, один, инок, ночь, очи, отчество, честь... «Один» вырос из Отечества, как вырастают из детской рубашечки, и не по рубашечке тоска его, но по миру детства, в котором всё было таким взаимно ясным: ты ещё и говорить-то не научился, а уж все тебя понимают, но вот обучился речи и – обречён: «Встань в угол, мизантроп! На колени!»

Угол зрения. Угол атаки.

Уголок искомый – и там, и здесь, и дальше везде: то хлопоты уголовные, то боль головная.

*...Вновь я посетил  
Тот уголок земли, где я провёл...*

Да и вправду ли он никогда не тесен, как выпевал Козин?

«Уступи мне, скворец, уголок», – просил Заболоцкий; после его смерти на письменном столе остался листочек с задумкой

будущего сочинения: " 1) Пастухи, животные, ангелы. 2)..." Что искал Заболоцкий? Кого?

«Я всё ищу кого-то...» – тоскует в песне Алиса Фрейдлих. А где он, кто он, этот всевременный Кавот?

Бог знает, карета подана, фореитор на запятках...

Попутно заглянем в словарь иностранных слов: «Мизантропия – ненависть к людям, отчуждение от них, человеко-ненавистничество».

И следует мизансцена с мизантропом. Занавес закрывается, потому что действие происходит за кулисами.

## ПОЛЫНЬ

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Полынь горькая. *Artemisia absinthium*. Понтийская абсинтия. Так Гиппократ, посетивший Скифию, назвал одно из двух тысяч эфиромасличных растений семейства сложноцветных... Два источника, две составные части истории: «Откровение святого Иоанна Богослова» (гл.8, стр.10–11) и «Справочник по лекарственным растениям».

И мне говорят:

– Зачем этакая вычурность? Кому они нужны, вот такие ваши наворочки-заморочки? Ангелы какие-то, источники вод, полынь понтийская... Давайте без понту говорить. Давайте говорить просто, по-человечески. Есть богослов?

– Есть, – говорю.

– А бог?

– Когда как.

– Почему так неопределённо?

– Потому, что гипотеза о боге – самая экономная из всех гипотез. В трёх словах, чуть ли не на пальцах, она вмиг всё на свете разъясняет, и нету в этом разъяснении никаких чудес, кроме имени бога, который может всё.

– А человек где?

– Нету человека.

Публика ощупывается и негодует: как же так? вот же мы, сидим! О, эта публика! Она превосходно образована. Ей не нужен перевод с латинского «Homo homini lupus est». Разбуди посреди ночи – моментально выдадут: «Человек человеку – волк». Этой начитанной публике не нужно пояснять, что фраза принадлежит римлянину Титу Макцию Плавту, автору комедии «Ослы», а Плавт оную фразу стибрил (на берега Тибра, стало быть, перевёл) из Греции, из сочинений малоизвестного Демофила-народолюбца... И тут же процитируют мандельштамовскую строчку о веке-волкодаве, который, двадцатый по счёту от рождения Христа, вероломно кинулся на плечи нежному человеку... Так неужель она, почти почтеннейшая публика, так и не сможет сообразить, что во всей этой связке нет человека, и гусь свинье есть такой же тамбовский волк, как человек человеку – не друг, не товарищ, не брат... О, публика! Я обнажаю голову пред нею. Она вскормлена с ложечки академической хронологией, той самой, что на подсобных страницах, напечатанных в конце учебников истории: вот это было «до», а вот это – «после». Увы, мне уже недоступно такое чистописание по паркету, потому что в истории для меня сделались важными одни только контрапункты, которые, помимо фиксированных дат, пронизывают времена, подобно «солнечному ветру» в пространстве.

Вопрос, что называется, «на засыпку»: когда в России рухнул военный коммунизм? Пятёрочки чеканят число, месяц, год, инвентарный номер партсъезда, провозгласившего переход к НЭПу. А контрапункт истории точен по-своему: тогда, когда восстал Кронштадт, оплот и твердыня революции, и большевикам стало нечем запугивать петроградских рабочих: не бастуйте, дескать, а то мы вызовем морячков...

Когда рухнул СССР? Отвечают: число, месяц, год, «три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу», Беловежская пуца. Полночь! Крушение супердержавы состоялось тогда, когда рухнула в ад крошечная советская атомная промышленность, самая престижная сфера, цементирующая го-

сударство: Чернобыльская трагедия. И уж потом повалился картонный домик, и кончилось равноправие всех республик перед кнутом.

...«Полынь» на украинском языке называется «чернобыль».

## **РОКОВАЯ ПРОМАШКА**

Некоторые книжные полки в моём кабинете по содержанию своему напоминают кунсткамеру.

Вот один из раритетов. Название «История ВКП(б). Краткий курс». Ниже следует: «Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год». Сопутствующая издательская атрибутика: Госполитиздат, 1952. Тираж 2 млн экземпляров. Цена 4 р. 50 коп.

Книжное нутро – как в метро: за пятачок – монументальная помпезность, скоростное одностороннее движение и никаких утомлённых солнц.

Последний абзац выписываю целиком: «Таковы основные уроки исторического пути, пройденного большевистской партией».

Ниже абзаца – слово, выделенное вразрядку:

« К о н е ц ».

Не дремлет дух Фрейда!

Однако наибдительнейшая сталинская цензура, натасканная на каждой букве текста, не усмотрела в слове «конец» ни фатального приговора режиму, ни диагноза ему же, ни летального исхода! По сути дела, словом «конец» уже заранее, чуть ли не рукой самого вождя, был обречён период советского коммунизма. Мина, которая неминуемо взорвётся.

...Кажется, весь мир не замечает истории. Так человек не обращает внимания на воздух, которым дышит. И только в России историческое время всегда начинается взрывом. Взрыв – это страшно. Но ведь и интересно же, чёрт побери.

## СПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМ!

– Как жизнь? – спрашивают походя, на бегу – и исчезают со скоростью света, не дождавшись ответа.

Мне такой ритуал однажды чертовски надоел. Я остановился, встал покрепче, надёжно, как триумфальная арка, и взял вопрошающего за пуговицу.

– Тебе в самом деле интересно? Ну, спасибо, дорогой. Тогда слушай, как жизнь протекает в плане снабжения, в разрезе колбасы, и с точки зрения... Мочи нет! Кстати, о моче. Во-первых, анализы вчера сдал. Говорят, маловато нассали, несите ещё. А где мне взять столько мочи, чтобы на анализы хватило? Пенсию-то третий месяц не несут, чай не пью, на одной водке сижу. Короче, ума не приложу... Кстати, об уме. Во-первых, тёща вконец выжила из ума. Но это ещё не весь конец. Она ещё и тестя выжила из квартиры, старая ведьма. Это как называется? Кстати, о квартире. Ремонт затеял. Две банки половой краски купил и одну белил. Окно застеклил, с прошлого года ведь жил с дырой, когда с женой разводился, а в дыру, сам понимаешь, и снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, и зуб на зуб не попадает. Кстати, о зубах. Четыре вырвал, один поставил, зато золотой. В отпуск собираюсь. Сейчас все собираются. Богема – на Багамы, трудяги – на огороды. В прошлом году у меня на дачке ворюги окно выставили, бильярд, падлы, уволокли. Я ж его и в двери-то с трудом впихал, а они вон что, в окно! В общем, сплошные переживания. Уже никаких хороших чувств в организме не осталось. Телевизор – хуже дерьма. Реклама эта... Нет, пора, пора чистить каналы! А тут ещё принцесса Диана, понимаешь, разбилась с ухажёром на пару... Да, вчера мне Черномырдин приснился. К чему бы это?

В пальцах у меня была пуговица. Что называется, с мясом. Мне было грустно. И я засмеялся.

## ПОЗЫ ПРОЗЫ

Цитата с претензией на эпиграф ко всему нижеизложенному:  
«Зад – не самая лучшая часть человека. Спереди – другое дело,

за это спасибо, а так, чтобы зад – что ж это? Нельзя в зад снимать!»

Так сказал не Заратустра, не Маркс-Энгельс, не Ленин-Ульянов. Так сказал вождь «Трудовой Москвы» Виктор Анпилов в беседе с телевизионными операторами.

Итак, тело – тема щекотливая, дело деликатное...

Однажды фоторепортёр принёс в редакцию газеты смелый до умопомрачения снимок: кавалер и барышня, из одежды на них – только... дымчатые очки, и состоит эта сладкая парочка в позе, которую секс-пособия для начинающих и непросвещённых называют «вход сзади» – простенько и конкретно, навроде дорожного указателя для пешеходов: «вход со двора»... Пошумели журналоги, поахали, помолчали, поохали – и хочется, и колется! – и решили-таки, что если уж пошёл такой отчаянный плюрализм мнений и свобода слова, так и не надобно становиться попере́к процесса и отставать от времени, вот только огорчает одно затруднение: какую подпись к фотосюжету придумать, чтобы не очень было чтобы, но и не так, чтобы очень? Хмурили лбы, покуда один весёлый и находчивый не наткнулся на мысль и при этом столкновении чуть не получил сотрясение мозга.

– Братцы, – прошептал он ошеломленно. – Поза, конечно, универсальная. Так ведь и проза наша... тоже не менее того! – И принялся судорожно шуршать газетными полосами, считывая с них заголовки статей и заметок – все подряд, без разбору.

(Вот здесь мне придётся для пушей правдоподобности и убедительности воспользоваться газетным материалом, который был в действительности.)

– Эва, эврика! – кричал весёлый и находчивый. – «Комсомолка» за третье сентября! Выбирайте, братцы, подпись к снимку! Начали... А что, если сделать целковый евровалютой?! Расслабьтесь и получите хоть что-нибудь. Власть продолжает ударную вахту по углублению кризиса... Ну, как? А вот «Комсомолка» за четвёртое! За все наши вклады ответит Сбербанк. Когда всё это кончится? Хочешь учиться – это так просто. Виагра маленькая и невкусная. Не отставать! Графиня, я разорён! Плохое зрение – что делать? Как мы рассчитались за грехи Минфина. Местного производителя нужно срочно

поддержать. Классический подход. Зоопарк ночью. Толчок в будущее...

– Позвольте спросить, – послышался невесёлый и не находчивый голос. – Что такое виагра?

– Отстань! – рявкнул хор журналистов.

И все разом кинулись ворошить газетные подшивки. И зашелестели, и заговорили страницы, ещё вчера, казалось бы, никому уже не нужные, утратившие смысл, словно бабочки-однодневки, а сегодня, в сей час, в сию минуту сделавшиеся вечно актуальными.

– «Совмол-номер один» за четвёртое сентября, слушайте!.. Распутин наших дней. ЦБ атакует коммерческие банки. Невменяемость. Жертвы амуров. Шуршащий двигатель прогресса. От мала до велика. В его руках судьба России. Блестящая партия. Мы скоро поженимся! Голые. Праздник не для всех. Нагибайся почаще. Хочу добиться справедливости. Альфонс на час...

– Ребята, а что такое виагра? – донеслось из угла.

– Сгинь, зануда. Может, это ошибка, да не шибко. Ты лучше сюда слушай... «Восточка» за пятое. Последние из могикан. Программа для малого бизнеса. Гостям вход воспрещён. Вот тогда я поняла, чо те надо. Хорошо висим! Какая девушка не мечтает об этом? Иркутянки в сборной России. Достойный эндшпиль иркутян...

– А я хочу знать, что такое виагра!

– Заткнись! Дайте ему нашатыря понюхать... Итак, берём «Комсомолку» за виагру... тьфу! – за пятое сентября... Пришло время заглянуть Родине в закрома. А где ваши локоны? Пусть всегда буду я! Одно неосторожное движение и вы – банкрот. Москва ещё не прочь резвиться всю ночь. Некоторые особенности конкурентной борьбы в России...Годится?

– Годится! А вот ещё «Восточка» за восьмое... Фестиваль народных артистов. Ноу-хау счастья. Источник соблазна и греха. Человек человеку – волк или товарищ?

– Стоп, товарищи волки, довольно! Давайте возьмём за виагру...тьфу! – за основу что-то одно. Например, последнюю «СМ-номер один» за восьмое. И выберем подпись к позе. Поехали... У страны наступили критические дни. Лишь бы не

было войны. Впереди темно. Каждый выживает, как может. Слабые вымирают, сильные размножаются. Мир не без добрых людей. Учебный год школьники встретили с оружием. Настоящие рыбаки тюрьмы не боятся. Подорвался на собственной mine. Аргентинский вариант: хорошее начинание, но не для нашего климата. Гребцы за медалями. Всадник на коне... Быстренько выбирайте, а кто ещё про виагру спросит – получит в лоб!

Задумались журналисты. Кто же ожидал такую бесплатную золотую россыпь готовых к делу старых заголовков, каждый из которых и «позу» устраивает, и положение в стране, и в мире, и вообще...

Всем понятно, что всё растущее живёт. Но вот растёт ли всё живущее? Это вопрос. Глупый? Может быть. Однако сплошь и рядом оказывается, что чем глупее вопрос, тем умнее ответы на него. Есть новые вопросы – нет новых ответов. Все старые, как мир. И старые газетки молчат до поры. Выразительно молчат. Так что, не проходите, братцы, мимо мима. Это такие Марсели Марсо...

А в заключение ещё одна цитата – из последней книжки автора этих строк – не саморекламы ради, а уж так сложилось, что к слову приходится, задним числом: «Я хочу знать: почему весь мир идёт через тернии к звёздам, а моё отечество – всегда через жопу и в никуда? Почему никто на свете так не умеет жить, как мы не умеем? Мы же не боимся новизны? Не боимся. Но пусть минует нас любая новизна, которая приносит старые неприятности...»

Уж каким только ящиком не называют бедный наш телевизор! Голубой (в известном смысле), полированный, мусорный, помойный, долгий, бесовский и даже «ящик Пандоры» – вместилище всех грехов человеческих.

Но вот что удивительно. Замечено – задним числом, задним умом и, слава тебе, господи, не задним местом! – что в дни смятений и общественных перегрузок, во времена помрачений, кризисов и смут названия передач, планируемых в телерадиопрограммах, наполняются какой-то невообразимой, по-фрейдистски провидческой многозначительностью, словно

бы таинственный безымянный ясновидец наперёд спланировал развитие событий, фактов, итогов...

Журналисты вспоминают, что в 1991 году кинофильм «Только три ночи» значился в телевизионной сетке передач именно 19 августа – не раньше и не позже! – но, конечно же, замечено это было уже после того, как миновали три дня и три ночи трагических событий коммунистического путча. Чертовщина? Чёрт его знает... Ведь его не спросишь, и он не объяснит, почему в разгар следующего кризиса, октябрьского 1993 года, на первом канале ОРТ заранее (!) был анонсирован кинофильм «Заговор обречённых» – в самую точку, и в бровь, и в глаз Руцкому, Хасбулатову, фашистикам Макашова и Баркашова, провокационно громившим Москву до той поры, покуда они сами не были вышиблены из Белого дома.

Вот и августовско-сентябрьские события 1998-го. 23 августа правительство «киндер-сюрприза» Сергея Кириенко падает. Доллар поднимается. Биржи неистовствуют: «Спад пошёл в гору. Понижение повышается!..» Парижская «Либерасьон»: «Русские на дне ямы и, кажется, уже нельзя опуститься глубже. Но это не так. Русские продолжают копать».

Потянуло запашком профсоюзно-коммунистической гапоновщины, а профсоюзник-то из «Союза труда», Андрияша Исаев, слава богу, что не полковник ГРУ Максим Максимыч, которому было приказано выжить, но так же и не вполне логично, что Андрияша – бывший активист российского анархо-синдикализма, свой среди чужих, чужой среди своих... Эскиз углём: шахтёры и политика. Не в забой отправился парень молодой, не в запой – на рельсы. Пищевая промышленность: стоит на карачках, на окорочках куриных из штата Небраска. Номенклатурная элита ёрзает в креслах – как в кино: лучшие кадры те, которые ещё не сняты. Госдума. Будем называть вещи своими именами: легализованный саботаж. Чем хуже, тем лучше. Всё, что связано с депутатским корпусом, – это вопрос скорее экологический, чем общественно-политический. Народные избранники дружно констатируют: Россия в разрухе! – и немедленно (вторично!) принимают поправки к Закону о статусе депутатов, которые предусматривают законодательное увеличение социальных льгот для самих себя на общую

суммочку 130 миллионов. Вот и думай после этого: что ж это за Дума такая? Нижняя палата? Палата мордов? Или боярщина, хоть и не в шубах вонючих, а в пиджаках от Диора...

«Новые русские». Зарождающийся, но уже крепко сидящий в народном фольклоре класс крупной буржуазии с мелкобуржуазными инстинктами, с необъятно положительными карманами: туда – можно, оттуда – ни-ни, упаси бог! Конечно, русские. Но уж никак не новые.

День памяти Александра Меня. Восемь лет прошло, убийство не раскрыто. Топорное убийство, топорное следствие.

Иосиф Кобзон дочку Наташу выдаёт замуж за австралийского Раппопорта. По самым скромным расчётам пребывание 800 гостей в ресторане «Прага» обошлось в 80 тысяч «зелёных». Букет цветов – 400 долларов. Гости: Жириновский, герой соцтруда Махмуд Эсамбаев, Станислав Говорухин, Лёвчик и Вовчик, неутомимая Бабкина (ей, как сообщалось в прессе, присвоен чин казачьего полковника), Джуна (она наградила молодожёнов дворянским титулом). Конечно, мэр Лужков. И, как ни странно, Муслим Магомаев, принципиально избегающий тусовок. Нынче, видать, оголодал. Никаких царских рыб и фаршированных глухарей не было. Столы украшали скромные классические нарезки, запечённые поросята, чёрная и красная икра, отечественная водка, греческий коньяк и грузинские вина. Папа пел. Аккомпанировал ему ансамбль Внутренних войск МВД. Семнадцать мгновений – и всё горько! Пир во время чумы.

На здании Иркутского притивочумного института – транспарант: «Слава советской науке!» А зачем ей слава, товарищи учёные? Может быть, деньги нужнее славы? И ещё вопросик: антибиотик – это что такое? Если «анти» – против, а «био» – жизнь, то как-то неожиданно получается оружие массового поражения, которое мы и не заметили. Что ж, такое бывает. Всякое бывает. У кого-то, как говорится, жемчуг мелкий, у кого-то супчик жидкий. Вопиющее разнообразие. Как заметил Юз Алешковский, много тел на душу населения. Се человек. Се жизнь. Се ля ви. Когда люди из этого «ви» (вия?) сталкиваются с реальной действительностью, то

пострадавшими от столкновения оказываются прежде всего люди, а не действительность.

В солнечную и смешную Одессу, в Дом творчества писателей съехались на международный симпозиум «воры в законе». Решения съезда в жизнь провести не удалось. Повязали авторитетов. То ли Одесса-мама так жестоко подшутила, оказавшись гостеприимной не для всех. То ли чекисты «сглазили».

Белый маг Юрий Лонго (прохиндей, по-моему, перво-классный) даёт в газетах рецепт от сглазу: в 12 часов ночи поймать чёрную кошку, опустить в котёл с кипящей водой, варить 12 часов... «Человек добр», – возвещал премудрый Леонард Франк. Ой ли? Ой!

Несправедливо избитая истина: добро побеждает зло. Скрижально сказано. Вот только осталось разобраться: кто кого побеждает?

Очереди. Наши отдельные недостатки всегда очень хвостатые. Стоят с флагами и транспарантами. Огрызаются, не отходя от кассы, а если шутят, то всё на тему рубля. Вечная тема – народ и рубль. «Рупь ты мой упавший, рупь заледенелый...» Народ, во всём половинчатый, во всём «полу» (точно в убийственной пушкинской эпиграмме по адресу Воронцова), народ-полтинник... Ужель он не достоин своего кровного национального целкового? Этот рубль, рубчик, рубличик, рублишко, рублице, рублишище, деревянненький, рваненький, разыгрывающий нешутейную прелюдию к инфаркту... Ему, сентябрьскому, сказали: «Стой, кто идёт!» Он встал. Процесс пошёл. Цены поднимаются. Народ падает. Но не весь. Кое-кто атакует банки, меняет рубли на доллары, доллары на рубли... Как нас теперь называть? «Объединённые российские вымираты»?

Таков краткий очерк российской истории очередного кризиса.

И вот в это самое время мы смотрим на телеэкран – и видим супермногомерные знаки неумолимого, чуть ли не античного, рока. Эпический фатализм. Обручённость с ленточным кольцом Мёбиуса. Ухмылка Нострадамуса... «А вот это провал, – подумал Штирлиц. – Это крах!» – и закадровый голос Ефима Копеляна обрёл какое-то новое звучание в легендарных

«Семнадцати мгновениях», четвертьвековой юбилей которых (мгновений этих) отметили именно в эти самые партизанские дни... Крутятся фильмы и передачи: «Менялы», «Большая перемена», «По тонкому льду», «Крыша поехала», «Апокалипсис сегодня», «Закат и падение империи».

Вот выписка из телепрограмм, далеко не полный реестрик того, что заранее было включено в сетку передач с 8 по 13 сентября. Детективный телесериал «Преступление и наказание». Мультик «Незнайка учится». Драма «Участь белого человека» с Джоном Траволтой в главной роли. Ещё мультяшки: «Замок лгунов» и «Колесо фортуны». Снова «Преступление и наказание», но уже в виде ток-шоу Артура Крупенина. Кинокартина «Потоп». Детектив братьев Вайнеров «Вход в лабиринт» и ток-шоу «Лабиринт». Худфильмы «Униженные и оскорблённые», «Безумный», «Притворщик», «Отпущение грехов», «Новые времена», «Москва слезам не верит». Мультик «Кто самый сильный?».

Действительно, кто самый сильный? Противоборство всех властных структур достигло пика. Президент Ельцин, обложенный импичментом со стороны левой и правой оппозиции, точно медведь в берлоге, заявляет с телеэкрана: «Ничего у них не получится. Раньше конституционного срока я никуда не уйду!»

А на радио в это время Олег Табаков озвучивает роман Маркеса «Осень патриарха», где президент Барбоса, вытлкашиваемый заговорщиками со своего поста, говорит: «Ни фига не выйдет! Я не уйду!» А потом угощает генералов изысканным кушаньем в виде зажаренного министра обороны, главного оппонента с петрушкою во рту...

Светится голубой экран. Боевики «Схватка» и «Провокатор». Комедия «Маленькие плутишки». Триллер «Неожиданный ад». Киноленты «Действуй по обстановке», «Долгая дорога в дюнах», «Только для сумасшедших», «Склока», «Ералаш»... И снова, как в августе 1991-го, «Кошмар на улице Вязов», фильм, по касательной, поперёк шерсти погладивший путчистского маршала, министра обороны Язова, даже отдалённо не напоминающего Роберта Энгмунда... «Плохой хороший

человек». Документальный «Естественный отбор». «Ответный огонь».

А что же в конце недели? Чем сердце успокоится? Извольте ознакомиться из телепрограмм. «Конец операции «Резидент». «Взаимное согласие». «Счастливый конец». Короткометражка «Эй, на линкоре!». И бесподобный Федерико Феллини: «И корабль плывёт».

*...Громада двинулась и рассекает волны.  
Плывёт. Куда ж нам плыть?*

Последние строки незавершённого сочинения Пушкина. Начинается оно тоже весьма многозначительно: «Октябрь уж наступил...»

В эти же смутные дни, кстати или некстати, нижегородский губернатор Иван Склярков предложил причислить Александра Сергеевича (ловеласа-то! дуэлянта и любителя «Вдовы Клико»!) к лику святых. Вот чудо-то! Когда ж не в шутку занемог сей нижегородский дядя самых честных правил?

...О, кино! Великий немой. Не мой – наш общий. О, телевидение! Это только Штирлиц чётко знал, что проснётся через двадцать минут, а ты, всевидящее око голубое, вон куда заглядываешь, аж на три недели вперёд. О, радио! Не ты ли подталкиваешь к пониманию того, что не устная речь, но слово написанное, и только оно, располагает к молчанию, чтобы подумать, и развести руками, и опаматоваться в гениальной немой сцене. «Умное безмолвие» – любимое изречение Нила Сорского... О, газетные телерадиопрограммы, картёжный веер цыганки-гадалки! Чёрт-те что, и чёрт не знает, с чем чёрт не шутит...

И сказал чёрт – Ивану Карамазову: «Ведь я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас всё очерчено, тут формулы, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределённые уравнения... Я здесь все ваши привычки принимаю».

Значит, очерчено? Верить ли? Ну, тогда перекрестись троекратно. Заручись надеждою Нила Сорского. Что получишь? Троеручицу. fff. Три форте – кричащая пустота.

## КУДА МЫ ПОПАЛИ?

В начале сентября 1993 года бывший оплот коммунистической нравственности – Дом политпросвещения Иркутского обкома КПСС – аплодировал оголтелому французскому антикоммунисту и антисоветчику, профессору русской литературы парижского университета Нантер и, по совместительству, главному европейскому издателю книг Солженицына, директору издательства ИМКА-ПРЕСС Никите Струве. Маленький, хрупкий, изящный, седая эспаньолка, галльская картавость в чистейшем русском языке... Шпаги нет.

Никита Алексеевич приехал на открытие выставки французской книги, придуманной и де-факто организованной иркутским вольным философом и книголюбом Володией Демчиковым. Наша история отметила: прадед Никиты Алексеевича – Бернгард Струве в середине 50-х годов XIX века вице-губернаторствовал в Иркутске, содействовал трудам знаменитого графа Муравьёва-Амурского.

– Не снится ли прадед? – спрашиваю.

– О, нет, – отвечает правнук. – В Иркутске мне приснилась Анна Ахматова...

Советник посольства Филипп Этьен и директор французского культурного центра в Москве Клод Круайя понимающе улыбались: авгур поймет авгура!

Освящая мероприятие, епископ Вадим что-то говорил, говорил округло и долго, напоминая речи Михаила Горбачёва, да всё о роли и значении православия... Епископ часто выступает, везде и по любому поводу. Немудрено, что при таком напряженном ритме православного просветительства он выпустил из виду, что парижское-то издательство – протестантское... Туда ли попал владыка?

Церковный хор грянул хоровую молитву во славу сладчайшего Иисуса... Господи, господи, как неуютно, как позорно и страшно приходилось тебе в этом сером доме, в цитадели атеизма областного масштаба! Вон стоит университетский философ Валера Кардашевский, он-то знает, он до последнего времени пытался поставить атеистическую пропаганду на научную

основу – и вот, извольте видеть, попы популярней оказываются, чем кандидаты наук... Туда ли попал Кардашевский?

Если прошловековой вице-губернатор Бернгард Струве в лице своих потомков породил антимарксизм, антикоммунизм и антисоветизм, то у первого постсоветского вице-губернатора Бориса Алексеева – никаких анти.

– К числу тех, – говорит он в приветственной речи, – кто приложил руку к организации этой выставки, относится, не побоюсь этого слова, великий писатель Валентин Григорьевич Распутин...

И понесло вице-губернатора по псевдо-патриотическим кочкам! Должно быть, позабыл, речистый, куда он попал...

А народ не безмолвствует. Народ уже шумит. Народу надо-ели речи. Народу хочется поглазеть на французские раритеты.

– Слава, – обратилась к поэту Филиппову редактор книжного издательства Людмила Афанасьевна Васильева, – Слава, как бы там сделать потише в твоём районе?

– А я что, полицейский? – ответил Слава с высоты своего положения. – У нас демократия, пусть говорят...

Куда мы попали? Попы в атеистическом храме, рыцарь без шпаги, фокусники-шпагоглотатели...

Мы переглянулись – и вышли вон: Толя, Слава, Миша и я.

Если пересечь улицу Российскую да пройти дворами-задворками, то и упрёшься в глухую стену. Грамотные товарищи оставили на ней стенограммы: граффити в стиле Эдички Лимонова, бесчисленные рисунки – сплошь как в Древнем Египте.

Полуразрушенная скамья. Битые бутылки. Хлам... О, шемаханская старина, пошехонская сторона! Где же ещё нам поговорить накоротке о высоком искусстве?

Прошла мимо строгая старуха.

– Ханыги! – сказала. – Расселись тут водку пьянствовать...

Прошёл мимо весёлый мужичок:

– Привет, бичары!

Прошли мимо озабоченные женщины и аттестовали единогласно:

– Прохиндеи!

Спасибо, люди добрые. Мы не туда попали. Но что вы, собственно, знаете о нас?

Вот Толя Кобенков. Поэт. Он уже две книжки тому назад, время приличное, к пустым и битым бутылкам стал относиться с категорическим осуждением. Вся подвластная ему империя страстей теперь выстроилась на книжной полке да на письменном столе распласталась голым бумажным листочком; вперится в него поэт – вот уж тут он король, на кончике пера, а чтоб на стене свои страсти расписывать – нет, не Есенин, однако...

Вот Слава Кокорин. Театральный режиссёр. Он окурки в коробочку аккуратно складывает. Но на политику, извините, плюёт. Он считает: режиссёры в политике – это не только плохая политика, она ещё и опасна, потому что привычки у режиссёра нехорошие... В театре режиссёр волонтаристски делает картину в целом и мизансцены в отдельности; он властелин для актёров, постановщиков, художников, операторов, композиторов, осветителей и даже для сценаристов. Но режиссёр-политик опасен уже только тем, что забывает, подлец, о том, что существуют законы и логика истории, которые невозможно подчинить творческому замыслу даже великого человека...

Вот Миша Швыдкой. Ну какой он ханыга? И не сорил он тут, на скамеечке. Он и вовсе не тутошний, из Москвы на пару дней прикатил. Заместитель министра культуры России.

...Через полчаса мы попали туда, куда надо: вернулись в ДПП и нежно щупали корешки французских книг.

## **АВГУСТЕЙШИЕ ПРЕРЕКАНИЯ**

И было написано: «...События показывают, что твои советники продолжают вести Россию и тебя к верной гибели... Приходишь в полное отчаяние, что ты не хочешь внять голосам тех, которые знают, в каком положении находится Россия, и советуют принять меры, которые должны вывести нас из хаоса... Правительство сегодня тот орган, который подготавливает революцию. Народ её не хочет, но правительство

употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных и вполне в этом успевают».

Письмо наглухо упаковано в темницах спецхрана. Его написал императору Николаю Второму великий князь Александр Михайлович.

А вы-то, небось, подумали, что речь идёт об августейшем сезоне очередного российского политического и финансово экономического кризиса? Подумали, братцы-славяне, подумали. Непременно подумали. Потому что мы так думательно устроены. Потому что мы весьма крепко думаем только тогда, когда даже в банковском имени Менатеп послышится что-то греческое: возможно, это райкинский музейный зал, а возможно, и целая страна, где всё есть, покуда нас там нету.

## **ПРО ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ТРЕЗВОСТЬ СУЖДЕНИЙ**

Стало привычным: любого откровенного дурака сравнивают с Дон Кихотом, воюющим с мельницами. Не надо. Не обижайте мельницы. Мельницы ни в чём не виноваты. Они делают своё дело, а Рыцарь Печального Образа – своё.

Что такое Дон Кихот? Это философская мысль, показанная через безумие.

И сделано это умно, верно и трезво.

– Вот вы, – говорит один другому, – всё пьёте и пьёте. Почему не можете остановиться?

– Потому! – отвечает другой одному. – Когда пью, то становлюсь другим человеком. А тому, другому, тоже, небось, пить хочется.

Безупречная логика у данного мужика!

Мир безумен – без women. Но эта women в миру умна не в меру, а значит, мягко говоря, глуповата или, по-светски, чересчур кокетлива. Если она называет своего избранника самым умным на свете, то это вовсе не означает, что он такой и есть. Скорей всего, women даёт понять, что после него второго такого дурака в мире не существует. Логика – без страха и упрёка.

А относительно трезвости суждений нам вообще не стоило бы заикаться.

Вот товарищ. Он уже стоит. Он трезвый, но не окончательно. Что ему теперь нужно? Собраться. Например, собраться пойти. Куда, зачем и за чем? Пойти найти. Что? Пойти найти купить. Что? Пойти найти купить выпить. Что именно? На ваш вопрос последует характерный жест: зачем, дескать, дальше с дураком разговаривать? А в окончательном виде мысль выражается так: надо встать собраться пойти найти купить выпить. Всё!

Вот чудо-то сказочное, эта целомудренная трезвая русская речь! Она избегает имён существительных, она скользит по существу вопроса, точно нащупывающий нужную нотку палец скрипача по грифу, и отделяется какими-то неопределёнными, тягучими, гуттаперчевыми глаголами... На вопрос: откуда, из какого первоисточника такое взялось? – товарищ утверждает формулировочно: пьянство как одна из активных форм сопротивления советской власти. А почему бы и нет? Тоже ведь – логика.

Вот я и думаю: даже великий логик Эйнштейн не подозревал, насколько всё в мире людей может быть относительным – как туда относительным, так и обратно.

## МЕЖДУ САМЫМ И САМЫМ

Что предпочтительней: тупик или лабиринт? Дурацкий вопрос. И дурацкий не потому, что это — вопрос, а потому, что это уже есть в некотором роде ответ.

Белинский говорил: «Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения и гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства... По-вашему, русский народ самый религиозный в мире. Ложь. Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ».

Гоголь говорил: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли

и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот чёрный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений».

А ещё говорил булгаковский Шариков Полиграф Полиграфыч: «Тоже мне, бином Ньютона!»

А ещё говорил красноармеец Сухов из знаменитого, предстартового любимца космонавтов «Белого солнца пустыни»: «Это точно!»

Если Белинский видел ощутимо-земное социальное зло, то Гоголь – невидимку, от которой нет спасения ни философу Хоме Бруту, ни иному любому человеку, покуда душа его не исполнится совершенства. Если Белинский призывал исправить социальные условия жизни, то Гоголь – саму душу человеческую.

Разорванность сознания между «самый религиозный» и «глубоко атеистический» – вот это и есть беда, но одновременно и стимул к умствованиям русской интеллигенции. На одном полюсе – Достоевский с его «слезой ребёнка», на другом – Степняк-Кравчинский с категорическим императивом: ужаснее террора может быть лишь безропотно сносимое насилие. Русский народ стоит, раскорячившись триумфальной аркой, на обоих этих полюсах. Он переносит насилие с таким нечеловеческим терпением, что многие и в самом деле поверили в исключительные свойства его души; Лев Толстой на этом и «сломался»... А «телега» жизни стояла на месте: между колёсами не было оси, и каждое крутилось само по себе.

И так-то вот по сию пору – когда «Марс» и «Сникерс» восстали против Маркса и Энгельса и когда снова заговорили о так называемом российском менталитете, унылом и надёжном, словно кочка в тундре.

– То, что у каких-нибудь американцев «ай», то у нас будет «Я». А то, что у них «я», то у нас «ай». А если, например, у каких-нибудь немцев есть «я», то у нас это будет категорическим «нет»!

## О ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Орлеанская Девственница – уж не знаю, не ведаю – была ли девственницей. Не важно. Важно то, что объявили деву сию святой. А дальше – что ж, давайте спорить со всемирной историей, с традициями иконопреклонения.

На Руси с этим дело поставлено весьма забавно.

Вот пример.

Жил-был парнишечка. Сенькой его звали.

Наскучило Сеньке с тятькой и мамкой проживать, сбежал от них в монастырь: бродячие люди, котомники бесприютные посоветовали.

Сидел Сенька в монастыре. Опять скучно ему стало. Захотелось подвигов покруче – и удалился Сенька в лес, а в лесу выбрал горюшку покруче, согласно устремлениям своим. Сел на горе, огородился заборчиком, внутри сего огорода поставил стоймя бревно и цепью железной к нему себя приковал. Славно ему показалось. И сидел, ровно пёс на привязи.

И потянулись к Сеньке страннички престранные. Вот, дивились они, чудный человек...

А Сенька в те поры надумал иной чудой пришлецов удивить, пушай шибче сухарики преподносят... На макушке столба, вкопанного стоймя посреди огорода, приладил Сенька деревянный мосточек, площадку, насест – два лаптя в ширине, еле-еле устоять можно. И забрался туда Сенька, и уселся, как обязательная кура на яйцах, и не слезал...

Приходили туда страннички. И назвали Сеньку за сии подвиги Семёном-столпником. И причислили его к лику святых.

14 сентября – день сего придурка, люди добрые.

И, кстати, совершенно напрасная констатация: покуда живо человечество, будут живы и болезни его. Куда ж деться от них... Как живём, так и болеем.

И ещё: при умелом обращении даже со святых можно получить прибыль.

## СТРАСТИ ПИСЧЕБУМАЖНОГО ПОДВОРЬЯ

Членский билет писательского Союза на имя Елены Викторовны Жилкиной скрепил своей подписью Максим Горький...

Двадцать пять лет прожила Елена Викторовна в квартире, выходящей окнами на шумную улицу Карла Маркса. Много людей там перебивало. Там поэтесса подарила мне два своих стихотворных сборника. Там, у подъезда, повстречал я в первый и последний раз хмельного Вампилова; его лохматую голову раскачивали думы: сколько рублей одалживать у милейшей «выручалочки» на предмет опохмела – тройк или уж сразу десятку? Елена Викторовна никому не отказывала в столь благородных просьбах.

В декабре 1989 года она рассказывала:

– Что стало с нами теперь, с писателями? Откуда столько раздражения, столько озлобленности? Может быть, вся беда от того, что наши писатели вдруг увлеклись политикой, да так увлеклись, что забыли о своём предназначении – нравственно поднимать человека, говорить о его душе, будить совесть. Я говорила об этом с Ростиславом Филипповым – он отшутился: и Толстой, мол, и Достоевский занимались политикой, и это никому не возбраняется... А я думаю, что Толстой и Достоевский, чем бы они ни занимались, всё же оставались художниками – в первую очередь. Ведь политики могут ошибаться, идти на поводу у конъюнктуры, наконец, намеренно вводить кого-то в заблуждение. Художник же, писатель должен быть вне политики, он размышляет о понятиях вневременных, о ценностях общечеловеческих. Мне кажется, у нас какое-то ослепление. Вдруг – такая вспышка антисемитизма... Откуда эта межнациональная рознь, объясните мне ради бога? Почему льётся кровь тех людей, с которыми ещё совсем недавно мы мирно соседствовали? Многие наши проблемы, мне кажется, тонкими ниточками связаны с нашей государственностью, пока не определившейся. Гласность открыла нам глаза и слух – и мы ужаснулись...

Ах, Елена Викторовна, Елена Викторовна! Наивный вопрос: «откуда?..» Не на пустом месте возник раздрай в писательской среде.

И Жилкина вспоминала.

– Помню собрание нашей организации в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Встаёт один обличитель и заявляет: «Вчера я был в ресторане и слышал, как поэт Балин сказал, что...» – и приводит некий компромат. Встаёт другой обличитель и подхватывает: «Лебедев-Кумач пишет: «Москва моя, ты самая любимая», а что пишете вы, Балин?» В ту же ночь Александр Балин был арестован... В тысяча девятьсот сорок шестом году вышло ждановское постановление об Ахматовой и Зощенко, и начальственные умы начали зорко высматривать вокруг сходные «ахматовские» настроения. Тогдашний секретарь обкома комсомола по собственной недалёкости однажды так отреагировал на мои стихи: «Опять эта ахметовщина!»...

В начале октября 1994 года в Иркутске проводились так называемые Дни русской культуры и духовности, организованные по инициативе Валентина Распутина. Среди приглашённых был редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев.

– Меня, – сказал он в одном из своих выступлений, – привела за руку в газету «Советская молодёжь» покойная Елена Викторовна Жилкина...

Из зала донёсся робкий голосок:

– Она ещё не покойная, Станислав Юрьевич...

– Да? Ну, значит, долго жить будет, – сказал Куняев. И ведь даже не покраснел, подлец, не смутился.

...Иркутская областная библиотека носит имя литератора Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Чем славен этот писатель – читатели не знают, за исключением, пожалуй, одной пикантной детали: Валентин Распутин, женившись на Светлане Молчановой, стал зятем Ивана Ивановича, а Иван Иванович сделался тестем Валентина Григорьевича. Впрочем, к литературе это не имеет никакого отношения.

Но если семейные дела есть дело сугубо личное, то факты литературной жизни суть публичное достояние, тем более когда факты эти являются к читателям из запасников совершенной секретности...

В журнале «Новый мир» (1995, № 3) напечатана статья Виталия Шенталинского «Воскресшее слово», кое-что разъясняющая относительно Ивана Молчанова – в год зловещий, тысяча девятьсот тридцать седьмой, в год рождения будущего зятя.

Поэт Константин Седых написал официальное заявление на имя Молчанова, тогдашнего уполномоченного Союза советских писателей по Иркутской области:

«Считаю необходимым довести до Вашего сведения следующее. 30 ноября вечером ко мне на квартиру заявился неизвестный Вам И.Трухин в сопровождении какого-то не знакомого мне человека, которого отрекомендовал мне и находившемуся в это время у меня Ан.Пестюхину (Ольхону) поэтом Рябцовским или Рябовским, точно не помню. Оба они были пьяны.

Подобный визит Трухина меня чрезвычайно изумил, так как никакого близкого общения у меня с ним нет. Поэтому я встретил его достаточно холодно. Но пьяному Трухину море по колено. Он извлёк из кармана бутылку водки и стал приглашать выпить. В последовавшем затем разговоре Трухин, ничем и никем на то не вызванный, допустил гнусный контрреволюционный выпад против товарища Сталина. Слова его были таковы:

– Да что вы мне все! Да если на то пошло, так я и самого Сталина распатрону!

Я немедленно оборвал Трухина и заявил ему, что о его поступке доведу до сведения уполномоченного ССП. Затем я сразу же выдворил и его, и его приятеля из квартиры...

Трухин считает себя советским поэтом. Но за такими его словами, несмотря на то, что сказаны они в пьяном виде, скрывается неприглядная физиономия враждебного нам человека. Мне, например, кажется, что если бы он был настоящим советским человеком, то не позволил бы такого выпада и пьяным...»

Наступила очередь отреагировать Ивану Молчанову, что он и совершил, направив заявление Седых в НКВД, «товарищу» Бучинскому (вот ещё имечко – литературно-идеологического куратора!).

«5 декабря, – пишет Молчанов, – ко мне пришёл поэт К. Седых и рассказал о фактах, описанных в заявлении. Я ему предложил всё это изложить в письменном виде. Сразу же позвонил Вам... Посылаю также рассказ «Жаркая ночь», присланный на консультацию к нам. Автор – П.И. Короб из Нижнеудинского аэропорта. Весь рассказ просто начинён контрреволюционными разговорами. Ответ автору я пока задержал... Во время дежурства консультанта А.Ольхона приходил студент Финансово-экономического института Садок с рассказом «Иван Зыков». По отзывам консультанта, этот рассказ – памфлет на советскую действительность, клевета на колхозы и колхозников... Идеиная вредность рассказа вне сомнений... Был на консультации курсант школы военных техников Филиппович с пьесой «Враг». Автор не лишён способностей. Но пьеса «Враг» заслуживает разбора лишь как политическая ошибка автора, который в силу своей идейно-политической близорукости написал антипартийную пьесу... Оценка пьесы может быть только одна: «Враг» – вредная, не советская пьеса...»

Далее в статье В.Шенталинского приводятся тексты двух рапортов Молчанова, извлечённых нынче из архивов. Первый рапорт адресован в Москву на имя Генерального секретаря правления Союза советских писателей Владимира Петровича Ставского:

«Только после февральского Пленума ЦК ВКП(б), после изучения доклада и заключительного слова т. Сталина была развёрнута самокритика в литературной организации Восточной Сибири... За связь с контрреволюционными организациями были исключены из Союза писателей А. Балин, Ис. Гольдберг, П. Петров, М. Басов... Все они были арестованы органами НКВД. Была засорена чуждыми людьми околосредовая среда: начинающий писатель Новгородов, поэт В. Ковалёв, поэт А. Таргонский...»

Второй документ отчётного характера направлен в Иркутский обком ВКП(б):

«В результате притупления бдительности областная организация Союза писателей оказалась засорённой врагами народа. Долгое время у руководства Союзом стояли, оставаясь

неразоблачёнными, такие матёрые враги народа, как Басов, Гольдберг, Петров и Балин. Сразу же после разоблачения врагов народа правление было переизбрано. Новое правление немедленно приступило к работе по ликвидации последствий вредительства. В Союзе писателей, после арестов, остались два члена: И. Молчанов и К. Седых...»

Два бойца! Комментарии излишни, кроме одного: в 1997 году ангарский поэт Валерий Алексеев выступил с инициативой исключить из названия библиотеки имя доносчика.

...Повторяю: мои обширные выписки из публикации В.Шенталинского являются фактами скорее истории литературы, чем литературы как таковой. Но это только повышает их социальную значимость.

Конец XX века стал концом советско-партийного тоталитаризма. Стало очевидным: коммунизм лишён величия заката; он умирает некрасиво и нудно, всхлипывая и угрожая, как умирает омерзительный, грязный, изъеденный проказой старик... И тем важнее для нас становится потребность извлечения уроков из истории с её жуткими «чёрными дырами», которые застенчиво называют «белыми пятнами».

Всё смешалось в Доме...

Дом «со львами». Бывший купеческий особняк на улице имени знаменитого разбойника Стеньки Разина. Иркутский Дом литераторов имени Петра Поликарповича Петрова, того самого Петрова, которого литературное начальство в лице Ивана Молчанова-Сибирского выдало на расправу чекистам.

...Весной 1937 года, сразу же после ареста писателя Исаака Григорьевича Гольдберга и ряда других литераторов, в областной газете «Восточно-Сибирская правда» была напечатана статья некоего П. Михайлова. Не будем гадать, кто укрывался под прозрачным псевдонимом, однако же почерк вполне угадываем... «До недавнего времени в нашей областной писательской организации видную роль играли писатели Гольдберг и Петров и поэт Балин. Правление Союза возглавлял бывший заведующий областным отделом народного образования Басов. Теперь эти литературные «корифеи» разоблачены как враги народа». В чём их вина? Статья разъясняла: эти «преступники», будучи литературными консультантами, «старались всемерно

тормозить рост литературного молодняка», а лично Гольдберг «не стеснялся прямо говорить молодым писателям, что они якобы бесталанны и невежественны». Вывод суров: «Действительно советскими писателями Гольдберг и Петров никогда не были, ибо советская действительность им всегда была чужда».

Из Гольдберга сделали японского шпиона. Жена писателя Любовь Ивановна писала ходатайства об освобождении, ездила в Москву, добивалась справедливости... Тщетно. Какая справедливость? какая Москва? – если в Иркутске при случайной встрече на улице поэт Ольхон (мемориальной доской нынче отмеченный...) перебежал на другую сторону, чтобы только не встречаться с женой Исаака Григорьевича. Кончились хлопоты тем, что жену тоже арестовали, малолетние сын и дочь остались брошенными на произвол судьбы.

Погиб Гольдберг в 1939 году. Через 17 лет его реабилитировали. Но ещё живы были доносчики! Правда, многие из них позабыли о своих нелитературных сочинениях: как будто бы и не было ничего.

Вот что написал 20 ноября 1964 года «младший собрат Гольдберга по литературному цеху» (по определению литературоведа В.П. Трушкина) Константин Фёдорович Седых: «Сегодня, когда исполняется восемьдесят лет со дня рождения большого писателя-сибиряка Исаака Григорьевича Гольдберга, я бесконечно рад, что вырвано из мрака забвения его доброе имя, что возвращена жизнь его талантливым произведениям. Тридцать пять лет тому назад я прочитал его книгу «Путь, не отмеченный на карте», и эта книга буквально потрясла меня суровой правдой жизни и тем высоким мастерством, с которым она была написана нашим замечательным земляком. Пленила меня в своё время и созданная Гольдбергом «Поэма о фарфоровой чашке», в которой писатель поэтично и правдиво рассказал нам о рабочих Хайтинской фарфоровой фабрики, создав целый ряд ярких незабываемых образов. В заключение мне хотелось бы пожелать новым поколениям советских людей, чтобы они познакомились с романами и повестями Исаака Гольдберга и полюбили их на всю жизнь. Его книги достойны такой любви. Константин Седых».

И ведь – ни тени раскаяния...

Пришло-таки и восьмидесятилетие Константина Седых. Пришло – и не застало человека в живых. На Радищевском кладбище в Иркутске, метров тридцать от входа – могила писателя. 1988 год. Уж девять лет лежит «временная» плита с неразборчивой надписью. Некрашенная покосившаяся оградка.

– Уход за этой могилой выходит за пределы заботы родственников, – говорит заместитель ответственного секретаря Иркутской писательской организации Станислав Китайский. – Могила почётного гражданина Иркутска должна быть под особым контролем.

В зале Иркутской филармонии тем временем шёл литературный вечер памяти. Сменяли друг друга выступавшие писатели Алексей Зверев, Ростислав Филиппов, Марк Сергеев, литературоведы профессор Василий Трушкин и кандидат филологических наук Павел Забелин, редактор книжного издательства Лина Иоффе, вдова писателя Татьяна Васильевна. Писатели в основном упирали в своих речах на проблему увековечения имени лауреата Государственной премии СССР мемориальной доской и названием одной из городских улиц...

А «Восточно-Сибирская правда» в эти дни отметила: «Невольно подумалось о том, с каким пафосом все мы в один голос говорим сейчас о потребности и необходимости досконально знать свою историю, в том числе и историю литературы. Почему же так коротка бывает наша собственная, близкая память?»

И отвечает Вечная Книга, Библия:

– Каждому воздастся по делам его.

Однажды я написал в газету о том, что именно думаю о писателе Валентине Распутине как о человеке, претендующем на роль общественного, политического и духовного лидера России. Вокруг статьи, напечатанной после путча 1991 года под названием «Игра в классики, или Нужны ли нам уроки французского?», завязалась перепалка. Из лагеря «ультрапатриотов», почвенников и т. д. в мой адрес полетело: «Донос! В духе тридцать седьмого года!»\*

---

\* См. Приложение I

Бедные, бедные оппоненты! Да где ж такое видано, чтобы доносы писали и публиковали тиражом в сотню-другую тысяч экземпляров?

В Толковом словаре В.И. Даль определяет: «Донос – тайное сообщение властям, начальству, содержащее обвинение кого-либо в чём-либо».

А вот теперь, вооружившись определением великого энциклопедиста России, попробуем разобраться: кто же они, маститые защитники Распутина, «обиженные и оскорблённые», кричащие на всех перекрёстках о начавшейся с Распутина «охоте на ведьм»?

Начну с последнего. «Охота на ведьм» – это распоряжение президента США Трумэна № 9835 в марте 1947 года. В переводе с образного языка на язык общественно-политический это означает не что иное, как преследование коммунистов. Если быть логически точным, то защитники Распутина относят себя к приверженцам коммунистической идеи. Что ж, вольному воля. Однако же весьма любопытно, как они отстаивают свои интересы? Публично? Или посредством испытанного приёма, имеющего на Руси долгое хождение, вековые традиции?

Писатель Василий Белов написал... Что? Будем называть писанину «сочинением»... Итак, написал «сочинение» в ЦК КПСС на имя тогдашнего секретаря по идеологии А.Н.Яковлева. О чём? Белов требовал устранить Виталия Коротича с поста редактора журнала «Огонёк» и примерно наказать «как троцкиста».

Поэт Станислав Куняев отправил в своё время в ЦК КПСС обширное «сочинение» об альманахе «Метрополь». Речь он вёл «о завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах альманаха». Издание было разгромлено. Семёна Липкина и Инну Лиснянскую исключили из Союза писателей.

Известно «сочинение» Сергея Владимировича Михалкова, направленное в ЦК КПСС. Баснописец и известный царедворец жаловался на критика Станислава Рассадина, который посмел выступить в газете «Московские новости» с негативным суждением о тексте сталинско-брежневско-михалковского Гимна СССР. Сановный и обвёзданный всеми возможными регалиями «дядя Стёпа» спрашивал у чиновников со Старой

площади подобающей партийной оценки поведения Рассадина и покарания.

А вот ещё один «сочинитель», Владимир Бушин, яростный и непримиримый противник академика Сахарова. О нём рассказал кое-что пикантное писатель Григорий Бакланов. Во времена послевоенной борьбы с «безродными космополитами» «...гаденького, бездарного критика с нашего курса (Литинститута – В.Д.) Бушина, у которого должность была – пару поддавать, теоретически обосновывать, я публично назвал фашистом; не зря назвал. Мы четыре года воевали с фашизмом, а он нас дома ждал. Он ещё и тем был мне противен, что на войне ошивался где-то при штабе армии, числился комсоргом; на фронте говорили: там не война, а мать родна. И точно в духе времени настроил он тут же заявление в партком: «В моём лице оскорбили бывшего комсорга...» И дело завертелось...»

Вот и Валентин Распутин... Он пошёл дальше других. Своё «сочинение» с призывом усмирить «аморальную позицию» иркутской газеты «Советская молодёжь» он направил не только в обком партии, но и в управление КГБ. Не думаю, что Валентин Григорьевич отнесёт это письменное обращение к властям к разряду публицистики. Уверен также, что постыдится включить его и в собрание сочинений...

Будем последовательны. «Эпоха гласности настала!» – восклицал в 1866 году поэт Василий Курочкин. – Во всём прогресс – но между тем Блажен, кто рассуждает мало. И кто не думает совсем»... Гласность, образовавшаяся в России спустя сто с лишним лет, распахнула архивы. И полезли оттуда зловонной лавою доносы, доносы, доносы... И вышли доносы – в свет, то бишь появились на страницах газет и журналов в качестве примечания к российской истории. Так что и мне придётся указать на источники, зафиксировавшие активное «сочинительство» тех же Белова, Куняева, Михалкова, Бушина... – последовательно: «Юность», 1991, № 8, с. 69; «Российская газета», 18.10.91, «Демократическая Россия», 1991, № 28, с. 15; «Октябрь», 1991, № 11, с. 8.

А под сенью краснознамённой державы многим лицам можно, оказывается, жить припеваючи. А под тенью? В тени надобно держать ухо остро, не то вмиг окажешься в поло-

жении средневековой японки, которая семенила всегда позади мужа, но при этом ещё и опасалась нарушить строжайшее правило, как то: наступить на мужнину тень есть страшный, несмываемый грех.

## А ЧТО ГОВОРИЛ ИЕРЕМИЯ!

Книжные воришки появились одновременно с книжками.

На первой русской печатной книге «Апостол», изданной Иваном Фёдоровым в 1564 году, первый книговладелец Семён Савельев сделал в 1570 году замечательную надпись – собственноручно:

«И хто сию книгу возмет насильством, орхимандрит или иные хто, и он в том со мною судица пред богом».

Серьёзное заявление, ничего не скажешь. Но иначе и быть не могло: так велики были сила, вес и значение слова на Руси, особенно слова печатного. Книга не спорила с иконою, но почиталась наравне с нею.

Вот другая надпись – на последней странице «Евангелия учительного» Кирилла Транквилиона, изданного в 1619 году:

«1714 года августа в пятнадцатый день сию книгу продал Кормового Дворца стряпчий Михайло Андреев сын Юдин для сущих нужд своих, а Великого Государя денежного жалования десять лет не имею».

Заведующая фондом редкой книги Научной библиотеки Иркутского государственного университета Наталья Дмитриевна Игумнова наткнулась на эти строки в один из январских дней 1997 года. Прочла горестную жалобу Михайлы Андреевича Юдина и вздохнула: жалко стряпчего, десять лет без зарплаты – это ж надо умудриться прожить в безденежье – две пятилетки, Боже мой! Нет, не допетрил царь Пётр-реформатор, чтобы работникам своим воздавать за труды честной монетой, не допетрил! Хорошо хоть, что про кормовое довольствие не забывал...

Покручинилась Наталья Дмитриевна над издержками реформаторского курса XVIII века – и отправилась на заседание методического совета Научной библиотеки, где должен был

обсуждаться животрепещущий вопрос: продолжать терпеть многомесячную задолженность государства по зарплате библиотекарям или снова, как в прошлом году, выходить с транспарантами на центральную площадь областного центра?

...О, светлейшая книгиня! Сколь жалкая участь опалает чистые крылья твоих страниц! Уже не воришка, уже нуворишка с манерами «вора в законе» вершит твою судьбу.

А пророк Иеремия что говорил? «Горе тому, – говорил он, – кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдаёт ему платы его».

Это написано в Первой Книге, в Великой Книге.

Ветхий Завет.

Но уж такой ли он ветхий?

## **ПРЕДВКУШЕНИЕ ЯБЛОКА: ПЕРВОЕ ИСКУШЕНИЕ**

Недавно перечитывал Шиллера. И вот на что моментально среагировал прищуренный глаз, выхватив, как курьёз, из перечня действующих лиц драмы «Разбойники»: «Беспутные молодые люди, впоследствии разбойники». Как тут не удержаться от искушения поразмышлять на эту злободневную тему? В ней слишком много пророческого, чтобы быть и оставаться простым курьёзом. В ней слишком много того, что оказалось «впоследствии» сущей правдой, разнесённой по миру революциями и театрами всех революций, которые, если не ошибаюсь, очень полюбили Шиллера.

Вот, скажем, оборонитель и спаситель отечества, готовый, не раздумывая, выстрелить из лука в яблоко на голове сына. Он приготовил две стрелы: одну – для яблока, по желанию ландфохта Геслера, другую – для самого Геслера, ежели первая вдруг окажется смертельной для маленького Вальтера. Такова будет цена свободы отечества.

А зачем отечеству такая... нет, не цена такая, а такая свобода? Зачем, спрашивается? Во имя чего она, когда отец, стреляющий в своего сына, может «впоследствии» во имя той же «свободы для всех» придумать кое-что и покруче для чужих детей?

Над драмой, над игрушечными страстями героев игрушечной страны люди рыдали, в то время как нужно было смеяться, когда ещё была возможность всего лишь посмеяться над тем, что настоящая смерть в игрушечной обстановке, в невсамделишной революции представлялась совершенно невероятной. Вот не смеялись – и всё. Однако уже тогда «каждый из всех» был помечен мишенью.

Печать яблочка... Это и штурвал кормчего. И магическое «колесо жизни». Циферблат часов. «Золотое сечение» с распятым внутри образцовым человеком. Замкнутый на бесконечный маршрут тюремный двор. Воронка. Белка в колесе, и колесо в телеге, и то, что в парках культуры и отдыха называется «чёртовым». Карусель. Прищуренный глаз – левый, правый, третий... Хоровод. Круги по воде. Наборный диск телефона. Гончарный круг. Игровая рулетка – с крупье или с барабаном в нагане. Детский волчок. Сетка снайперского прицела. Арена цирка и машинная шестерёнка. Грампластинка и планетарные орбиты... Всё начиналось с яблочка. И всё возвращалось на круги... А был ли отец? Был. А был ли мальчик? И мальчик был.

Вероятно, мы уже готовы признать, что главного героя драмы зовут не Вильгельм Телль, а Вальтер Телль. Когда-то Шиллер пошутил с главным героем, но шутки не поняли. И «впоследствии» драма обернулась скверным историческим анекдотом, вызывающим, как и всякий анекдот, сердечные приступы смеха. Но к этому времени уже потребовались рыдания... Ибо мир, такой, в сущности, маленький, сполна познал цену свободы, свободу цен, а также свободные сцены красивых романтических революций, целью которых и был тот самый мальчик с яблочком на макушке – мишенью для папы, который мог попасть или не попасть.

## А ЛОЖИ БЛЕЩУТ...

*Из истории литературы:* Фридрих Шиллер в 1789 году прочёл публичную лекцию о странах, постоянно колеблющихся между войной и миром.

*Из историософии в кухонной кубатуре:* человечество живёт в яблоке, и грызёт его, и пожирает само себя.

*Из собственных сочинений:* «Пусть приснится ему, дальтонику, цветное яблоко, красное яблоко, молодильное райское яблочко, уж такое чтоб было райское – райчей не бывает. А серое яблоко не может быть сладким. Оно вообще не имеет права называться яблоком».

*Из русской песни перманентной гражданской войны, слова народные, а музыку никто не заказывал, сама собой явилась под топот и свист:* «Эх, яблочко, куда ты котишься?..» На все времена и режимы – свидетель раздоров, познания истины, земного притяжения.

...В первом ряду партера – зритель с любовницей, за ним, по степени важности положения, в затылки друг другу глядят зрители с супругами, с жёнами, со своими бабами и без.

Но есть ещё полускрытый раёк! Там можно быть самим собой.

И вот я вижу: средневековый герой пьесы по ходу действия спектакля постепенно и незаметно избавляется от своего костюма и грима и в финале является взгляду зрительного зала совершенно современным человеком, словно только что сошедшим с подножки городского трамвая, в мятых джинсах, в лёгком свитере...

Занавес. Конец? Конец. Но на аплодисменты, поклоны и цветы актёр выходит в прежнем виде, в изначальном обличье, в котором начинал исполнение роли.

Условность происходящего не ограничена сценой, она уходит в зал и спрашивает: а вот теперь, господа, самое главное, выбирайте, что именно пожелаете оставить с собой, перевернув песочные часы?

Условность спрашивает. Ложки блещут. Бегут на трамвайную остановку три сестры: Анестезия, Амнезия и Аномалия.

## ПО ТУ СТОРОНУ КУЛИС

Мальш, играющий в песочнице, сосредоточен не менее дяди-архитектора. Он играет – но ему не нужны зрители и жюри. Он самодостаточен. И он непременно станет созидающим человеком, если его детские игры не пресекут назидательные, серьёзные взрослые люди с педагогическими принципами или беспринципная школа.

Вот хорошо бы этак играть актёру – без придуманных, вымученных «школ» и «систем», без канонических правил о «святости сцены», о «волнительном алтаре театра», без всего того, при котором постепенно утрачивается и исчезает самый счастливый момент игры – перевоплощение.

Ну, а если всё же приходится изображать персонажей, измученных рефлексам, раскоченных страстями? Гамлета, скажем, или чеховского Треплёва? Всё равно. Актёр должен получать удовольствие от игры. Как ребёнок? Да, как ребёнок.

А то ведь что получается? Актёр ещё до выхода на сцену уже закомплексован так называемой «русской психологической школой». Что это значит? Это означает «школу переживания»: чтобы выйти из себя и войти в роль, артист выпьет стакан водки, потом на сцене рвёт жилы, надрывается, плачет настоящими слезами, а после спектакля, в гримёрке, он, кислый от слёз, снова водки шархнет – чтобы поскорее в себя прийти, до следующего представления. Таков он, лучший способ сделать из актёра законченного психопата.

Обострённая нервозность – это расплата за утраченную меру высокого трагизма. Место трагического героя в театре пустует. Чем мельче актёр, исполняющий обязанности героя, тем сильнее он издёрган, тем круче и безнадежнее ввинчивается в истерию.

И тогда пушкинская ночь в маленькой трагедии уже не пахнет лавром и лимоном.

## ПРО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Топонимика, то есть наука о происхождении географических названий, имеет полное право вмешиваться в научные споры историков. Например, в такой: была ли Россия, а потом и СССР, империей или не была?

А вот вы, граждане и гражданочки, возьмите в свои рученьки географическую карту, щедро изуродованную русскоязычной топонимикой, – и вот он, как на ладони, как под микроскопом, – имперский взгляд из Москвы.

«Закавказье» – это что? Это то, что видно из Кремля.

Ну, а если точку зрения переместить в это самое «Закавказье», то есть в Тбилиси, Баку и Ереван? Насколько мне известно, грузины, армяне и азербайджанцы никогда не называли, не называют и уже никогда не назовут свои территории проживания «Закавказьем». Для них «Закавказье», в принципе, по существу, по здравой человеческой логике, это всё, что находится севернее Кавказского хребта. Там Москва. Москва и есть Закавказье.

Вот вам география.

Вот вам и история.

Вот вам Закарпатье, Забайкалье, Заполярье, Дальний Восток...

## В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Вчера разговорились... Ночь-то долгая! Он говорил о чём-то. Я говорил о том же. И лишь к утру чётко обозначилась одна из двоих тема: «переходное состоянье».

...Сто пятьдесят лет тому назад в России словно бы с цепи сорвался високосный год. Эксперт III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии доносил: «Белинский и его последователи... нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то, похожее на коммунизм». И далее: Белинский «восхищается произведениями одного Гоголя, которого писатели натуральной школы считают

своим главою... Превознося одного Гоголя...они хвалят только те сочинения, в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратительные люди».

Невский проспект пуст... Засуха. Пожары. Погорельцы. Холера... Лечились камфарными микстурами по методу Распайля, настоем ромашки с бузинным цветом да ещё ревенем с магнезией...

Из Европы наносило потрясениями. Сначала забурлил Рим, потом Париж, Вена, Берлин, Прага...

– Седлайте коней, господа! – вскричал Николай I на придворном балу, получив извещение о февральской революции во Франции.

В Россию присылают революционные газеты, замаскированные под выкройки модного платья.

В патриотическом запале русский царь решил двинуть на Европу свои войска. Умные головы отсоветовали. Тогда армию направили в глубь России.

«Времена шатки, – отметил Владимир Даль, – береги шапки!»

Министр внутренних дел разослал по губерниям циркуляр: «Государю не угодно, чтоб русские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получают известия, что число бород очень умножилось. На Западе борода – знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по выборам».

Так в очередной раз всё смешалось на Руси. Призыв к освобождению крестьян и упразднению дворянских привилегий сопровождался крутым закручиванием гаек по всем направлениям общественной жизни.

Главный жандарм Дубельт круглосуточно находился в своём кабинете с окнами на Фонтанку.

Гоголь находился на пути в Иерусалим.

Белинский умирал в собственной постели.

И только древние пребывали в покое. Древние авторы считали, что книги должны создаваться только в весёлом настроении. Они не признавали в литературе какой бы то ни было власти – признака жестоких нравов и трагических перемен.

Римляне вслушивались в слова, греки всматривались в говорящего...

И Гоголь тогда написал о «переходном состоянье». До него этот термин не употреблял ни один историк и литератор, хотя пребывание России в таком состоянии есть дело обычное, привычное – изначала и посейчас.

...Первое апреля – последний срок подачи деклараций о доходах.

– Какие доходы? Да у меня даже кровная жена не знает, сколько я получаю, а вы мне тут про налоговую инспекцию... Ага! Щас! Разбежался!

Первое апреля. Во всём мире – День дураков, и только в России этот праздник не возведён в ранг государственного.

Переходное состоянье!

Гоголю очень не понравилось, что я цитировал черновики его писем к частным лицам; он крутил носом, безошибочно вынюхивая оппонентов со столятидесятилетним стажем и порывался сжечь добрую половину моей «гоголевской книжной полки», в том числе сочинения добрейшего гоголеведа (гоголиста? гогольянца?) Игоря Золотусского.

## О СЧАСТЬЕ РЫДАТЕЛЬНОМ

Популярный телеавтор Эдвард Радзинский однажды, уже давненько, рассказывал – с библейским акцентом:

– Жил-был бедный еврей. И у него была печальная жизнь: крохотная каморка с кучей детей. Еврей страдал и брюзжал. И пошёл, наконец, к раввину: «Помоги!» И сказал раввин: «Делай то, что я скажу тебе. Посели в каморке свою козу из хлева»...Через неделю еврей пришёл и плачет. «Теперь, – говорит ему раввин, – посели у себя своих кур». И вновь явился еврей, уже рыдающий. И сказал раввин: «Посели у себя корову свою и приходи через неделю». И пришёл еврей с кровавыми слезами. И тогда сказал раввин: «Убери кур». Через неделю явился еврей – весь весёлый: жить стало лучше, жить стало веселее! «А теперь козу убери в хлев»... Когда же, по совету

раввина, пришла пора корову переселить, то еврей был на седьмом небе от счастья.

Комментарии излишни. Зачем комментарии? Ведь даже козе (и курице, и корове) ясно, о чём и о ком идёт речь в этой притче: Россия, кнут и пряник, революции и контрреволюции, вожди и вожжи, сверхчеловеческое терпение и наивность... Полузадушенному народу ослабляют державную удавку, он благодарно вдыхает глоток свободного воздуха – и счастлив до обморочного блаженства.

### **ЗУБ НА ЗУБ НЕ ПОПАДАЛ...**

Легко и просто, проще некуда, говорить про выдающихся людей, когда речь идёт о прошлом, о далеко и безвозвратно минувшем: там все таланты стоят рядышком. Ну, а как же было на самом деле?

Чудовищный эгоцентризм Гёте. Он ни в грош не ставил Гельдерлина, Клейста, Фихте. Гёте вообще признавал из современников, себе достойных, только Шиллера да Наполеона.

Ницше публично отрекался от Вагнера.

Вяземский писал Жуковскому о 18-летнем Пушкине: «Стихи чертёнка-племянника чудесно хороши. Этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших».

Писемский говорил о молодом Льве Толстом после «Севастопольских рассказов»: «Этот офицеришка всех нас заклюёт, хоть бросай перо».

Зрелый Лев Толстой иронически относился к Шекспиру.

Фета с Некрасовым вообще никак не примирить.

Блок издевался над Мандельштамом. Маяковский и Есенин взаимно зубатились.

Маяковский грозился сбросить Пушкина с корабля современности. Не получилось. Пришлось признаваться в любви.

Цветаева долго не могла достучаться до Ахматовой.

Во времена относительно безопасные (когда уже не было ни Жданова, ни Фадеева, но люди ещё путали Окуджаву с Аджубеем) Валентин Катаев написал: «Бунин променял две самые драгоценные вещи – Родину и Революцию – на че-

чевичную похлёбку так называемой свободы и так называемой независимости, которых он всю жизнь добивался...» В молодости Катаев яростно издевался над фрагментарной манерой письма Олеси; в старости – этаким же манером, точь-в-точь по Юрию Карловичу, Катаев накатал свои последние романы.

...Ясно лишь одно: сносят здание не зодчие, но другие люди, не творцы, но чернорабочие.

## МОСКОВСКАЯ РАПСОДИЯ

– Ну, как там наша златоглавая? – спросил я приятеля, вернувшегося из Москвы с торжеств юбилейного 1997 года.

– А что столица? Клубится...

Я не стал уточнять, что имелось в виду: может, многочисленные клубы – от дворянских и конноспортивных до «новорусских» типа «Феллини», где впервые в России опробовали, не вставая с диванов, певческие прелести японского караоке; а может быть, мой приятель имел в виду всего лишь клубнику со сливками типа театра Татьяны Дорониной... Не в этом дело. Ясно: Москва – символ. И этот «сим-сим» открывается просто, не стоит мудрить. Там, в сущности, давно уже нет никаких тайн, кроме таинств (каинств?) «Подмосковья»; под этим названием я понимаю не московские окрестности, а земные пустоты под городом, природные и рукотворные, где засела какая-то тёмная и жуткая жизнь и куда в будущем веке неизбежно провалится, словно град Китеж, весь этот чудовищный монстр-мегаполис; и всё покроет вода... – и Кремль, построенный итальянскими мастерами, и Манеж испанца Августина Бетанкура, и жэковскую художественную самодеятельность в духе Зураба Церетели...

Не люблю Москву. Она давно была, но так же давно и перестала быть духовным центром России. В конце века её всего уместней именовать духовым оркестром, огромным, сверкающим, пышущим сытым довольствием и сочными маршами. Да и сам мэр Юрий Лужков – вылитый тамбурмажор. Или брандмайор пожарной команды.

Вспоминается: в России издавна духовыми оркестрами славились прежде всего пожарные команды. Как же-с! Первые городские кавалеры – блестящие красавцы, отважные, усатые, в медных касках!

Кокают лбами оземь православные прихожане вокруг пластмассового муляжа Храма Христа Спасителя. Перемигиваются на башнях византийские орлы и сверхдержавные звёзды-пентаграммы. Шумит Москва. Гудит Москва. Клубится подобием болотных серных испарений, выпускает банно-прачечный пар сотен эстрадных шоу. Всё перемешалось: кока-кола, колокола... И уже почти невозможно расположить по душе бронзовые распевы:

– Кока – кола – коло – кола...

Привет от тёти Аси!

## КНИЖКИ И МЫ

Казалось бы, нет проще вопросов: как звали гоголевского Плюшкина или Дон Кихота?

Между тем на эти вопросы ответил всего лишь один из двадцати опрошенных мною в порядке любопытства.

В поэме упоминается дочь Плюшкина – Александра Степановна, значит – Степан Плюшкин.

А в конце второго тома Сервантеса – собственное признание Рыцаря Печального Образа: «Я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано». Его возлюбленная дама – не Дульсинея Тобосская, а сельская девушка Альдонса.

Так мы читаем, братцы.

## ЛЮБОВЬ К САНАТОРИЮ

Электричка с Ленинградского вокзала Москвы. До Фирсановки – две сигареты, пара пива, 37 км.

Если пройти Фирсановку по улице Лермонтова, то придёшь в Лигачёво; не путать с Егором Лигачёвым, членом Политбюро. В XIX веке это была деревенька в 20 дворов, где обитали

краснодеревщики. Высокий берег речки Горетовки. За рекой – другое селенье, убогонькое Средниково.

Средниковский парк с просёлочной дорогой, носившей когда-то чуждое русскому уху название «аллея».

Тем не менее бывшая аллея исправно ведёт к двухэтажному белокаменному дому с башенкой-бельведером. Кстати, «бельведер» в переложении с итальянского на русский язык означает «прекрасный вид». Не совсем по-итальянски, но всё же вид такой: на юг – бывшая аллея с бывшим парком (английское, между прочим, название, чуждое); на север – ступени пандуса (французский эквивалент широкой и длинной лестницы), ведущего к пруду, лиственницы; две дороги; правая идёт через полуразрушенный Чёртов мост к бывшей церкви... Какая-то зловещая двусмысленность! Дом соединён закруглённой колоннадой с двумя двухэтажными флигелями (с этим названием немцы подгадили).

Главный дом. На парадной лестнице была когда-то резная голова льва. На дверях когда-то были литые бронзовые ручки. Дыры бывших каминов: когда-то здесь были узорчатые чугунные решётки. Обшарпанные стены. Когда-то их украшали гобелены. Венецианское зеркало тоже можно назвать бывшим: оно всё в сетках расколов, но ещё держится в рамках приличия. С клавиш пианино содраны пластинки слоновой кости.

Всё вместе это называется так: Московский областной противотуберкулёзный санаторий «Мцыри».

Кто присвоил такое название этому демоническому месту?

Официальные власти, наделённые полномочиями. С какой стати? Стать сугубо поэтическая: «любовь к отеческим гробам», а также «к родному пепелищу». Здесь юноша Мишель Лермонтов провёл четыре лета, вон в той комнатке, на втором этаже правого флигеля, уйму стихов сочинил, а дом принадлежал Дмитрию Алексеевичу Столыпину, брату лермонтовской бабушки...

Был я там мимолётно в конце 80-х годов. Приехал здоровеньким. Уехал больным.

## РУПЬ ДЕЛОВ!

В начале 90-х годов XIX века случился нечаянный спор между двумя дамами. Писательница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник побилась об заклад с приятельницей Чехова Ликой Мизиновой, что сможет всего лишь на один рубль купить и подарить приятельнице двадцать необходимейших в обиходе вещиц, причём каждая вещица будет ценою в пятак.

И купила-таки! И подарила! А вот и реестрик подаренного: французская булка, пеклеваный хлеб, вяземский пряник, медовая коврижка, плитка шоколада, казанское мыло, кокосовая мочалка, чёрный английский пластырь, розовый пластырь, катушка ниток, пачка иголок, набор булавок, тетрадь, почтовый набор из десяти листов бумаги и десяти конвертов, городская почтовая марка, два карандаша Фабера – простой и красный, ручка-вставочка, дюжина стальных английских перьев, резинка для стирания... Всё.

Воспоминание о таком длинном рубчике звучит, как музыка.

## ПО ПЕРЕСЕЧЁННОЙ МЕСТНОСТИ

Народу много. Людей мало. «Людей не хватает!» – стенают высшие российские управленцы. А подходящих людей так и вовсе нет, считанные единицы. Где же мы так порастерялись и порастрагались? Или чересчур – всерьёз и надолго – заигрались на подмостках истории? Или история наша – закулисная?

...Многие ещё помнят пьесу «Любовь Яровая». Правда, самого автора уже позабыли, драматурга Константина Андреевича Тренёва. Он был сыном крестьянина. Получил три высших образования, окончив археологический институт, духовную академию и агрономический факультет университета. В 1926 году сочинил свою «Любовь», через десять лет состоялась премьера во МХАТе, в 1941 г. – Госпремия СССР. «Краткая литературная энциклопедия» отмечает в пьесе широту социально-исторических обобщений, глубокое проникновение в исторические закономерности революционной эпохи. Энциклопедия не врёт! Выписываю: «Судьба главной героини –

сельской учительницы Яровой, которая, пережив тяжёлую личную драму (переход мужа на сторону белогвардейцев) и преодолев в себе иллюзии надклассового порядка, становится настоящим товарищем большевиков, защищающих правду социалистического гуманизма, проводящих линию Коммунистической партии в формировании нового человека... В «Любови Яровой» Тренёв явился одним из зачинателей драматургии социалистического реализма». Тут всё верно – от первой косноязычины до последней! Вот только знаки плюса и минуса надобно поменять местами – и всё наполняется новым смыслом: и сельская учительница, и её потерянный муж, и комиссар Кошкин, маузером утверждающий большевистский гуманизм, да и сам Тренёв, не подозревавший о возможных метаморфозах позднейшего прочтения. Забавен, кстати, его фотопортрет: чеховское пенсне, сталинские усы, брежневские брови...

Так где же мы так заблудились? Какие такие закулисные истории закрутили-закружили Россию, да так, что взгромодила она на широченные плечи свои львиную долю мировых страданий?

...Достоевского у нас ещё мало знают уже хотя бы только потому, что многие не помнят имени его идеального литературного героя – князя Мышкина. А между тем у князя парадоксально значительное имечко – Лев. Лев Мышкин. Каково? Лев Николаевич. Уж после Мышкина иные львы и львиные доли в свет явятся – Толстой, Гумилёв...

В конце 70-х известный польский режиссёр Анджей Вайда обратился к «Идиоту» и поставил спектакль «Настасья Филипповна». Это не инсценировка. Спектакль начинается там и тогда, где и когда кончается роман Достоевского.

Так вот и продолжается российская жизнь-игра... С беспредельной вежливостью князя, который в ответ на истошные крики предлагает: «Не лучше ли нам разойтись: вы направо к себе, а я налево». С истеричными воплями и скорострельным правом фанатичного комиссара... И выходит, что, в общем-то, нигде мы не потерялись и не поистратились. Какими были, такими и остались: между князем Мышкиным и комиссаром Кошкиным.

Линия жизни – как на ладони. Иди – от идиота, означающего саму нежность и сострадательную доброту, до социалистического гуманиста с маузером и в куртке из «чёртовой кожи». Иди – туда и обратно. Какое пространство?

– Эва! – восклицают. – Эволюция!

Никаких эволюций. Обычное российское шествие с происшествиями: от Рюрика до Рериха, скачки с препятствиями, бег по пересечённой местности, туда и обратно.

## ПРО УТЕЧКУ

Как щедро Россия одаривает мир своими поэтами! Бродский и Наум Коржавин в Америке, Алексей Парщиков – там же, в Стэнфорде. Илья Кутик – в Дании, Алёша Хвостенко – в Париже, Юрий Кублановский – в Германии, Бобышев – в Австралии, российский гуру, посреди кенгуру...

Депутатские сопли-вопли относительно утечки талантов. А отчего утечка-то? «От России», – говорят. Да нет же, вы меня не так поняли, я спрашиваю: почему?

Но по этому поводу уже сказал своё слово Александр Адабашьян, давно сказал, ещё в 1990 году:

– А что я имел в России? Напишешь сценарий, приносишь. Тебе говорят: оставьте, через недельку прочитаем. А через недельку снова говорят: ещё не прочли, позвоните на днях. А на днях спрашивают после звонка: у вас случайно не осталось экземплярика? А то мы, знаете ли, куда-то положили и вот найти не можем... Вот всё это есть каноническое унижение, угнетение!

В Италии Адабашьян работал над сценарием. Поселили его в роскошных апартаментах. Утром выходит сценарист в ближайший магазинчик за бумагой и карандашами, и столкнувшийся с ним продюсер смотрит на Адабашьяна как на придурка: святая мадонна, да зачем же вы, Саша, куда-то ходите? Позвоните – и всё необходимое для работы вам моментально доставят в номер, а вы только работайте, пишите, Саша...

Вот вам и «заходите через недельку»! А таких неделек в году – 52 штуки. И Адабашьян остался вне России.

Можно ему верить, можно и не верить, но в хирургически-аптекарской точности ситуационных определений ему не откажешь. В своё время по Москве бродила Сашина шуточка о том, что половину всей советской кинопродукции можно запросто снять всего лишь в двух стационарных павильонах: в «землянке», где сидит Олялин, и в «кабинете секретаря обкома» с Евгением Матвеевым во главе стола...

## ЗА БЛИЖНИМ И ДАЛЬНИМ БУГРОМ

...И не мы простили эмиграцию! Она – нас.

Одной плитой накрыты Иван Алексеевич с Верой Николаевной. И голос бунинский, беспощадно язвительный, витеет над этой плитой, и над Парижем, и над Европой, и не может, подобно желанному антициклону, пробить непогодный занавес на российской границе: «Какая это старая русская болезнь... вечная надежда, что придёт какая-то лягушка с волшебным кольцом и всё за тебя сделает...»

Под деревянным крестом с макушечкой в форме церковного купола упокоилась чета Шмелёвых. Перед кончиной Иван Сергеевич писал тоскливо: «Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Всё – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много...» «Скрытый фашист» – так обозначили писателя в послевоенном донесении советского посла во Франции.

А надгробные камни в память кадетов и дроздовцев, алексеевцев и галлиполийцев стоят, точно в армейской шеренге. Могил много, голос один – Николки Турбина: «Эх, громче, музыка, играй победу! Мы победили...»

Ох, Николка, да так ли уж победили? Кого?

Последующие, вослед первой, волны беженцев из России весь мир обрызгали контекстом – он же приговор, диагноз и прогноз: эмиграция – это капля крови нации, взятая на анализ (так говорит Марья Васильевна Розанова). За рубежом россияне неизбежно приходят к созданию структур, аналогичных советской системе: своя оппозиция, свои диссиденты, свои

официозы, «парижский обком» (с Владимиром Максимовым, «Русской мыслью» и «Континентом»), «вермонтский ЦК» во главе с Солженицыным... И Абрам Терц с Марьей Васильевной – наособицу: что Абрам в России, то Синявский во Франции, а Марья всех на хрен посылает...

## ГЛАВНОЕ - СПОКОЙСТВИЕ!

Первый блин комом...

Не отчаивайтесь! Блин блином вышибают.

И не нервничайте. Выдержка важна не только фотографу. Вспомните барда-шестидесятника Борьку Вахнюка:

*Между небом и землёй или  
Между мною и тобой, там, вдали,  
Ты же видишь, дорогая: вбили  
Первый*

*блин*

*журавли...*

Клин клином вышибают.

Первый блин – комом.

Что ж, в Коране сказано обнадеживающе: «Препятствиями растём».

И ещё: спокойствие, только спокойствие! Так любил говаривать некто Карлсон, живший на крыше в те времена, когда крыша ещё не поехала.

Карлсон, конечно, не Карл Маркс, цитированию не подлежит, но его фантастический пропеллер в заднице куда как реальной и надёжной капитальной бороды первого апостола Коммунизма.

## ВОСПОМИНАНИЕ О КАМЕННОМ ГОСТЕ

В чеховской пьесе «Три сестры» несколько действующих лиц являются артиллеристами. Но ведь никому не взбрёт в голову идея изучать по драматургическому тексту и сценическому действию бомбардирское искусство в частности и военное дело в целом. Ещё: Чичиков с Ноздревым в шашки играют. Хорошо

играют. Так ведь мы точно знаем, мы почти уверены в том, что поэма Гоголя – вовсе не о спорте... Это есть первая логическая посылка.

Вот вторая.

– Какой маленькой кажется гора Синайская, когда на ней стоит Моисей! – воскликнул Гейне, вечный изгнанник, всюду чужой, еврей среди немцев, немец среди французов.

Каким огромным теперь кажется осиротевший домик в подмосковном посёлке Семхоз, когда из него навсегда ушёл священник Александр Мень, доступный всем и каждому, эллинам и иудеям, почитателям и убийцам.

Можно уже делать вывод из этой логической конструкции. Но я не спешу. Потому, что речь идёт о людях, которые бывают настолько захвачены идеей, что полностью отождествляют с ней самих себя, свою психическую структуру, свою физическую плоть, причём так намертво взаимосвязывают, что и впрямь выходит нечто упокойное: насильно лишиться довлеющей идеи – значит для идееносителей заживо умереть. Отсюда – несколько подходов к одной жизни или, может быть, несколько жизней в одном-единственном подходе к небытию. Второе, пожалуй, более приемлемо для моего поколения, у которого мутация голоса вопреки физиологическим законам происходила не в ломком юношеском единожды, но – сверхъестественное множество раз, в течение безголосых десятилетий следовала лабиринтом так называемой генеральной линии. Такая «мутация» породила мутантов. Ломка голоса сопровождалась трагическими срывами. Фамилия – та же, человек – другой. Люди из хора, громко переживающего историю страны, в котором, кажется, для отдельного голоса уже и не находится местечка в реестре гражданских добродетелей. Да какой уж там голос? Выговориться не успеешь: человек человеку – друг, товарищ и бр-р-р... Застопорит. И др... Можно, конечно, и покороче: человек – буква закона. Но каков закон, такова и буква. Вот и голосовали хором из-под палочки дирижёрской: руки вверх!

Дети времени? Да. Бойтесь, дети человеческие, детей времени...

Листаю старые газеты. Вот генсек на трибуне. Раскорячился, как триумфальная арка. Вот депутатский форум. Указательные пальцы. Харизматические маски, имевшие прежде лицедейское название «хари скоморошьи». Накачанные силиконовые лбы. С такими лбами объёмистыми, ей-богу, мыслить бы так, как и не снилось роденовскому «Мыслителю», но – увы, увы! – силиконовый ум неглубок и неширок, и если даже кругозорен, то на манер козы на привязи, вокруг колышка... Вот снова вожди разнокалиберные. Они грозят, целуются взасос, направляют, обещают, клянутся... Они очень любят клясться, это им ничего не стоит, потому что клянутся, как правило, не своей честью, не своим словом, но непременно высшими категориями: историей, поколением, общественной собственностью на средства производства.

Обещания вождей столь же глобальны. У них длинная мифическая история, которая началась в России ещё с пресловутых ленинских коммунистических нужников из золота. Правда, чуть позже другой великий «ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный» самокритично признал: «Я себя под Лениным чищу»... Потом застрелился. В самом деле, нужник-то он и есть нужник, отхожее место, хоть озолоти-раззолоти его, а Маяковский, по свидетельству современников, был чрезмерно брезглив... как-то раз во время его концертных гастролей по южной России, кажется в Ростове, прорвало трубы городской канализации, так поэт загрузил свой гостиничный номер ящиками с боржомом, и чай кипятил из боржомом, и умывался боржомом... Вот такой чистоплотный был.

А мы-то где и под кем находились всё это время? И смотрели на трёх сестёр, и ожидали обещанного неба в алмазах – но видели преимущественно артиллеристов с фейерверками. Вместо святой троицы с нами были три мушкетёра. И не ремарковские три товарища – но три богатыря на коврике, или три танкиста в лодке, не считая собаки, или, на худой конец, три тополя на Плющихе... Жалко. Непрочитанные книги мстят. И это очевидно, это особенно заметно сейчас, когда дистанция между преступлением и наказанием сократилась настолько, что сразу и не сообразишь: что такое процесс, а что такое воздаяние? более милосердны мы или менее скорострельны? Это важ-

но знать – «пока свободою горим...». После горения остаётся зола, пепел. Этим пеплом будут посыпать голову наши внуки.

И снова – лица... Хозяева жизни – не своей, потому что сами были пленниками времени. Эти силиконовые лбы по-холопски служили в должности хозяев чужой жизни, других жизней. Они всё приспособливали, даже культуру, к своим вкусовым пупырышкам. Как? По-партийному.

Однажды ответственный цекист Игорь Сергеевич Черноуцан разоткровенничался по адресу другого цекиста, Николая Александровича Михайлова. Со слов первого и рассказываю... Как-то раз этот Михайлов вызвал к себе композитора Шапорина.

– Мы, – говорит, – были вчера на вашей, Юрий Александрович, в целом позитивной опере «Декабристы». И у нас есть рекомендации. Садитесь, берите бумагу и записывайте. Первое, у вас там имеется такой Пестель. А у нас имеется рекомендация перенести вашего Пестеля во второй акт. Вторая наша просьба будет такая: вот там у вас Исаакиевский собор на Сенатской площади строят рабочие. Надо, чтобы эти рабочие активно включились в восстание декабристов. Понятно?

– Уважаемый товарищ Николай Александрович, – робко подал голос композитор, – так ведь они же того...

– Чего того?

– Говорят, что страшно далеки были они от народа.

– Вы не слушайте, что где-то там кто-то говорит, – построжал Михайлов. – Я вам свои указания передаю. А вы пишете.

– Так я ж оперу свою уже восемь лет писал!

– Ах, шлёп твою мать, – взвился цекист до верхнего «ля». – Ну как тут осуществлять партийное руководство с такими людьми?

...Бывшие. Многие из них сегодня искренне страдают и казнятся от воспоминательных приступов казённого прошлого. Вот, социализма и коммунизма нет, а ты остался. Зачем? Кому поведать печаль своих стариковских слёз? Ведь подумать только, десятилетиями надрывались, строили какую-то машину, верили в эту чудо-машину, но, по правде сказать, никто толком так и не знал, что именно она собой представляет. И однажды объявили триумф, грохнули на весь мир канонадой,

фейерверком, салютацией, разрезали алую ленточку, сдёрнули полотнище, и открылась взору невиданная махина, и ударили об неё традиционной бутылкой советского шампанского, и от этого удара машина-машина развалилась, рассыпалась на мелкие винтики-шурупчики, детальки, никому не нужные... Как же так? Как же прожили? Может быть, среда заела? Нет, среда ест только тех, кто ей по зубам. Может, великая держава и не была никогда огненным глаголом и цельным именем существительным? Может, и вообще Россия – всего лишь образный оборот, какое-нибудь деепричастие, начатое и незавершённое действие, то есть это вроде бы и глагол, но такой глагол, который ничего не хочет делать?

Нет ему, бывшему, ответа. И он выходит из своего партийного обличья, из своего общественно-политического образа, из своей исторической роли. Выходит – и совпадает с самим собой. И что же тогда видят перед собой окружающие, в том числе и молодое поколение? Бедного, маленького, несчастного человека. Он страдает синдромом стареющей актрисы: ну как же так, всю свою жизнь – на виду, в славе, в почёте, аршинные афиши, грамоты, награды, страна в лицо знала... – и вот надо со сценой распрощаться? Лавровые венки – в суп?

И он, бывший, садится писать мемуары. Точнее говоря, нанимает писателя, тоже, как правило, из бывших. Он надеется, что последнее слово останется за ним.

Но так не бывает.

И я не брошу камень в его сторону. Что проку в этом камне? Всего лишь прибавит еще один обломок к развалинам прошлого монолита.

## ИДЕАЛИСТЫ

Советские словари, даже самые толковые-растолковые, мало что могут объяснить не столько потому, что многие слова со временем теряют своё изначальное, этимологически заложенное значение, сколько потому, что не учитывают, исторического значения слов, существовавших в языковом обороте в определённых условиях общественной жизни. Вот, скажем,

«идеализм». Какой? Словари выдают пару вялых эпитетов: объективный и субъективный. Так блистает учёностью философский словарь. Но словарь политических терминов приспособил бы к идеализму имена прилагательные, так сказать, прилагательные к энкавэдэвскому лексикону 30-х годов: махровый, поповствующий, меньшевистствующий... «Слово и дело» – на советский лад. И в слове «жертва» мы уже слышим не сострадание, но приговор.

Жили-были закадычные друзья, однокашники, братцы-ленинградцы Лёва Ландау и Жора Гамов. Лёва – еврей, а Жора – внук одесского архиерея: архиеврей, значит. Оба мальчишки были одержимы страстью к физике.

Физики же и приклеили талантливому молодому учёному Гамову ярлычок «физический идеалист». К тому времени Жора успел умудриться вычислить дату своего ареста и не стал дожидаться оного: был в 1934 году в парижской командировке – и не вернулся в Советский Союз... Потом он стал американским физиком Джорджем Гамоу, помог человечеству, в том числе и своей расточительной родине, разобраться в мега-микро-биомире и спился вчистую – то ли от классической ностальгии, то ли от своего физического идеализма.

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУСОБОЙЧИК

В гостях у меня неожиданно оказалась Клаудиа Эрдхайм, профессор Венского университета, трудится на кафедре славистики. На дворе стоял август 1996-го, на столе стояли бутылки в немислимом для австриячки сочетании, а посерединке – огромный арбуз с воткнутым кинжалом от спецназа воздушно-десантных войск.

Покуда гости (переводчица Оля Казимилова, журналисты Андрюша, Саша и Виталик и примкнувшая к ним пани Сухаревская) разбирались со стаканами и текущими политическими событиями в стране, я попытался разговориться с Клаудией и получить более-менее ясный ответ на вопрос: «Кой чёрт подвинул её на такую авантюру, чтобы собирать в антологию кусочки российской провинциальной словесности?»

Позже, на трезвую голову, мне стало понятно то, что не совсем понятно, зачем вообще переводят на иностранные языки нынешних наших прозаиков. Число их зарубежных читателей ограничивается узким кругом русистов-славистов. Это во-первых. Во-вторых, современную нашу словесность знают в мире мало, нарицательным обозначением русского писателя стало «Солженицын», а мировая известность Валентина Распутина – мягко говоря – миф. И в-третьих, пора сказать вслух, и самим себе в первую очередь, что наше литературное сознание стало, по существу, провинциальным, тут Клаудиа не ошиблась.

А провинциальность эта – двулика.

Первое личико – патриотизм. Тот самый, закавыченный, по поводу которого иронизировал Грибоедов («К военным людям так и льнут, А потому, что патриотки»); и Пушкин ощущал явленную неловкость от лингвистически нерусского «патриотства»; и в «Войне и мире» толстовское «я – патриот» выставлено как заведомо ложное... А что есть на самом деле? Да ничего, милая Клаудиа, кроме «странной любви» полермонтовски.

Второй наш провинциальный тупичок – спекулятивный соц-арт. Откуда выпрыгнул этот чёртик? Вывод простенький. Уж коли не удаётся выгодно продать за рубеж наш русский ум, так не поторговать ли на мировом рынке русской глупостью? И вот попёр на базар посткоммунистический соц-арт: матрёшки «от Маркса до Ельцина», и партбилеты, и переходящие вымпелы бригад коммунистического труда, и форменные фуражки, и мундиры с генеральскими погонами... Гордость наоборот: в области идиотизма мы опять-таки всех впереди!

И я подумал вслед австриячке: «Милая моя, а что же мы ещё можем предложить этому миру, чтобы удивить его?»

Между прочим, филологичка-славистка-фольклористка Клаудиа из города Вены, выдающаяся, по австрийским меркам, специалистка по бурятам. И ещё одно между прочим: наши-то войска и до города Вены когда-то добрались, к слову сказать.

Так вот, во многом, конечно, эта фольклористка разобралась, кроме одного бурятского междометия «нах», коим стар и млад пе-ресыпают чуть ли не каждое словечко-полсловечко.

Уж потом ей, недоуменной, перед посадкой в самолёт деликатно растолковывали, что таинственное «нах» – отнюдь не междометие, а всего лишь усечённая форма из русского словаря ненормативной лексики, проще говоря, – популярный адресок, по которому отправляют нежелательных и прочих собеседников.

И ещё сказали фольклористке, что более подробную информацию можно получить в научно-филологическом труде мистера Флегона «За пределами русских словарей», изданном в Великобритании; на титульной странице помещён эпиграф из сочинений Ленина: «Хранить наследство – вовсе не значит ещё ограничиваться наследством». Вот мы, значит, и следуем заветам вождя, не ограничиваемся...

– О! – воскликнула венка. – Этот великий! Этот могучий! Этот русский язык ё-моё! Материк! Обложка!

– Ага, – сказали ей. – Материк в обложке. Приезжайте ещё, фрау Клаудиа, мы вас ещё чему-нибудь научим.

– Непременно! Спасибо вам. До скорой встречи, господа товарищи. Нах!

Нах остен – нах вестен... Нахалы мы всё-таки... Но теперь это называется – международные контакты.

## **КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ: СМЕТЬ СМЕЯТЬСЯ**

Боже праведный, как ржёт ксёндз Игнаций Павлюс в приступе безудержного хохота! Как он смеётся, пресвятая Матка Боска! Как? А так: и пан, и не пропал, и мир живёт, покуда гребёт против течения весёлыми весёлышками, и вшистка бэндз в пожондку, дорогие мои, то есть: всё будет в порядке, по-нашенски говоря.

А из наисерьёзнейших размышлений выходит, что живость характера иркутского католического священника вовсе не противоречит традиции западноевропейского карнавала: «Смешно – это значит: не страшно». Традиция искусственная, самая жизненная, поскольку ещё средневековый юмор выводил человека за границы реального, весьма нешуточного

мира, в котором каждый имярек мог стать жертвою страха перед государственным законом и религиозным запретительным каноном.

А что же на Руси православной? Смели смеяться? Смели. Но шутки в шубках ходили... Князя Дмитрия Шевырёва на кол посадили. Корчился, бедный, рожи уморительные строил, и было смешно, да не очень. А чтоб было очень, то предложили князю распевать канон сладчайшему Иисусу. И тогда царь Иван Васильевич Грозный хохотал до икоты, что, впрочем, тоже считалось неприличным: смейся, да не до слёз, знай меру. Церковники же и определяли меру с мерками: «горе лживым и смешливым», «рыжие, плешивые да шутливые – источники зла», «смехотворцы – грехоносители»... Тем и держался русский смех, как на лезвие ножа: страшно весело! Ужас как смешно! Жутко забавно! Умора.

Так вот, смех «на полном серьёзе» есть и курьёз социума, и психоз, массовый психоз, который, в отличие от западно-европейской традиции, не уводил русича за мирские пределы, а всего лишь позволял проникнуть в изнаночный мир, в сатанинские сферы, посещение которых равнозначно смерти. Масленичные обряды, святочные гадания – нет, пожалуй, ничего развеселей этих пунктиков крестьянского календаря. Так ведь и страшнее их нету! Старостильная пятидневка января так и обозначена: страшные вечера... на хуторе близ, добавил Гоголь. Игра с нечистой силой. Страшная игра. Гадающие снимают нательные крестики, призывают чертей с чертенятами и для пущей игривости демонстративно отказываются от христианства... Шутка. Но – жутко.

Если нельзя, но очень хочется – то можно. Вот тут и прячется заповедь, сопряжённая с заповеданностью, то есть с запретной зоной.

На чём, собственно, строится русская православная культура? На двух противопоставленных опорах: святость и дьявольщина. Парочка неразлучная. Исчезни одно – не будет надобности и в другом. Но есть нечто... Если смех – то уж непременно дьявольский, сатанинский. Христос же никогда не смеялся, и посему православная святость решительно исключает смех,

облекаясь в одежды сурового аскетизма, изнуряющей серьёзности.

*Ещё суровой и угрюмой  
Они творят его дела...*

Есенинские строки равно приложимы как к большевикам-ленинцам, так и к ортодоксально-православной попсе.

Впрочем, нет правил без исключения. В пространстве между курочкой протопопа Аввакума и старцем Зосимой из «Братьев Карамазовых» бродит, блуждает улыбка – робкая, даже чуточку виноватая, выражающая не столько внутреннее веселье, сколько благостное восприятие мира как Божьего творения. И в этом православный протопоп со старцем гораздо ближе к протестантизму с его пафосом приятия «мира сего» и утверждением жизни верующего человека как подвига религиозного существования в мире людей.

Православные же ортодоксы бестрепетно отвергают земной мир как дьявольский соблазн. Свой религиозный идеал они помещают за грань жизни, в пределы «загробного бытия», оставляя христианам для земного существования лишь молитвы, посты, поклоны, запреты... и прочие жесточайшие предписания церковной нормативности; причём настолько жёсткие, что братья по вере, православные греки и украинцы уже с XVII века начали дивиться таким строгостям.

«Мир лежит во зле», жизнь на земле есть жизнь во грехе, скорбная юдоль; манихейское противопоставление духа и брюха; знак равенства между идеальным бытием и антиобщественной позицией верующего человека, находящей своё наиболее полное выражение в «ангельских чинах» монашества, странничества, юродства... – вот она, мироотречная традиция русского православия. Чего уж там! Каков приход, таков и поп.

*– Товарищ Ленин, работа адовая  
Будет сделана и делается уже...*

Маяковский, как видим, не ошибся. Большевики сделали всё, чтобы пособить православию. Православие сделало всё, чтобы ублажить большевиков, чтобы из мира, превращаемого в ад, навсегда исчезла не только искромётная жизнерадостность

шукшинского попа из рассказа «Верую», но даже подобие застенчивой улыбки.

А ведь хочется иногда... Капеллан, капеллан, улыбнитесь! О, капелланы доподлинно знают, что улыбка – это не только флаг корабля, а корабль – не совсем тот, с которого прямо на бал, да и бал – не совсем тот, которым правит сатана...

## ПАУЗА

Попа паузы как форма молчания... Да может ли быть такое? Может.

...Московский Театр сатиры гастролировал в Иркутске в июле 1985 года. Тогда, помнится, начальник Дома офицеров Игорь Духовный вопреки антиалкогольному указу сочинил небольшенький банкет с винопитием для актёров. Впрочем, «небольшенький» – это, так сказать, дипломатический эпитет. Получился очень большенький. Андрей Миронов был не по летам суров. Папанов же не по летам веселился. «Мальчишка!» – говорил ему Андрей. Папанов хохотал. Ему нравилось застолье, шутки, вино, эпиграммная частушечка:

*Какая амплитуда,  
Похожая на чудо,  
Похожая на диво:  
От Волка до Комдива!*

На генеральской «Волге» гости в целостности и сохранности были доставлены в гостиницу «Ангара». Поутру не похмелялись. Зато Анатолий Дмитриевич и рассказал об этой самой «позе паузы».

Было дело: он имел честь сыграть в ленкомовском спектакле Марка Захарова «Банкет». Премьера прошла «на ура», Москву взбулгачила. Однако чиновники из Минкульта после каждого последующего представления требовали от режиссёра вычёркивать из спектакля всё новые и новые фразы. В конце концов Папанов просто перестал соображать: что же ему вообще можно говорить? А когда перестаёшь соображать, то, как бывает, наступает время задумчивости. Вот и Анатолий Дмитриевич стал задумываться: прямо на сцене, по ходу действия

замолкал – и замолкал надолго, на период внутреннего произнесения конфискованных кусочков прямой речи. А что же зал? А зал бурно реагировал на молчание! Зал прекрасно догадывался, что именно не сказал, но должен был сказать актёр.

Вскоре спектакль сняли с репертуарного плана.

...Взял паузу – держи её, как штангист держит вес в течение определённого, строго фиксированного времени. Если выдержишь – вес будет засчитан. Если нет – значит, силёнки не рассчитал. Тяжёлое дело – пауза.

Вот уже и Папанова нет среди живущих. И Миронов ушёл. Он умер в тот день, когда играл на сцене Фигаро – самого близкого и самого похожего на актёра из всех сыгранных ролей. Озорной, искромётный, неунывающий, мастер розыгрыша и мистификаций, насмешливый к сильным мира сего и нежный к друзьям.

## ДАЛЬ

Однажды мы жили...

Спору нет, жизнь для человека является предметом первой необходимости. Со временем, однако, приходят необходимости вторые, третьи, пятые, десятые, несть им числа, но имя им легион... Ночь напролёт. И день навывлет. Вот и сутки прочь! И тогда жизнь как таковая отступает на задний план, и её, прелестную, можно бестрепетно угробить без всякого ущерба для окружающей среды...

Вроде бы – всё так. А что-то сомнение не отпускает.

Из дневника Олега Даля – журнальные кусочки.

*Сентябрь 1980:* «Чем дальше от театра, тем меньше туда хочется. Искусство выхолащивается изо всех его видов, поэтому так легко посредственности».

*Октябрь 1980:* «Стал часто думать о смерти...»

*Ноябрь 1980:* «Нет, не вписываюсь я в их «систему». Систему лжи и идеологической промывки мозгов. Чувствуют врага в искусстве, переходят на личности. Правильно чувствуют... Ну что ж, мразь чиновничья, поглядим, что останется от вас, а что от меня?»

Последняя осень Даля. Дом на Смоленском бульваре. Последний этаж, семнадцатый. Бедная Лиза, тишайшая жена. Книги. Шторы. Устоялась усталость, устаканилась...

А ну, господа, кто из вас нынче вспомнит телефильм «Страницы дневника Печорина»? И даже не столько весь фильм вспомнит, сколько один эпизодик, сцену дуэли, кусочек дуэли... В какую руку герой Олега Даля поместил пистолет?

Не тужьтесь понапрасну. Подсказываю: в левую.

На съёмках режиссёр Анатолий Эфрос немедленно воспротивился такому актёрскому выпендрёжу, на что получил вопросительный ответ:

– А где у Лермонтова сказано, что Печорин стрелял именно с правой руки?

Анатолий Васильевич поначалу опешил от Олегова нахальства, потом махнул рукой: делай, дескать, как знаешь...

Съёмки закончились. Левша Печорин засветился на голубом экране. Однако мало кто обратил внимание на левизну.

А между тем ведь это так важно, так необходимо понять, что Печорин возьмёт пистолет в правую руку только тогда, когда человечество станет левшой.

Покуда же далевский Печорин-печоринский Даль стреляет с левой руки. Лермонтов в этом не отказал актёру. И Эфрос – тоже.

А мы вот всё волнуемся по поводу того, о чём человечество договорилось ещё при Аристотеле.

## ПРО ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ЗАВЕРШЁННОСТЬ

Вот вы, сударь, спрашиваете... нет, прямо-таки допрашиваете меня: и что это за бяка такая – «эстетическая законченность»? Хорошо, я скажу. Только вы наберитесь терпения и не перебивайте меня, потому что я и без вас могу сбиться. Итак, дело было однажды... Писатель-сатирик Гриша Горин и «ленинский комсомолец» Марик Захаров поехали как-то в гости к Саше Ширвиндту. Возле Сашиного дома спохватились: что подарить-то? И тут у самого подъезда увидели они старую чугунную отопительную батарею.

– А давай, – говорит Марик, – подарим Саше эту херню. В качестве символа нашей тёплой, а может быть, даже и горячей дружбы.

В кабинку лифта гостинец не помещался, так что пришлось корячиться без удобств аж до самого третьего этажа.

– Что-то у вас, ребята, с юмором не в порядке, – сказал Ширвиндт. – Ей-богу, глупая шутка. Но раз уж приволокли, то заносите...

Встречу, как всегда, отметили хорошо. Стали расходиться.

– Ребята, – взмолился хозяин дома, – у меня же мама старенькая, она споткнётся об ваш подарок, расшибётся вдребезги... Если вам не жалко мою маму, тогда оставляйте эту дуру чугунную...

– Мне, – отвечает Марик, – жалко. Я вообще такой. Увижу, например, как бульдозер поломанный стоит, – и плачу, и плачу, остановиться не могу. Жалко бульдозер...

Покряхтели Гриша с Мариком в обратном направлении. У подъезда вытерли натруженные лбы. И тут Захарова благостью осенило.

– А давай, – говорит, – ещё раз отнесём! Неужели Саша и на этот раз не оценит?

– Уж я не могу, – пробурчал Горин. – В пояснице чего-то...

– Какая поясница? О чём ты говоришь, Гриша? Дружба, Гриша, она выше пояса! Ну, взялись! Короткими перебежками! Я тебе помогу...

В обратном направлении попёрли – и допёрли.

– Ребята, глазам не верю, вот это ж совсем другое дело! – воскликнул Ширвиндт. – Какой замечательный подарок, друзья мои! Подарок с подтекстом, с намёком! Ну, молодцы!

...Я ж говорю вам, сударь: режиссёр Марк Анатольевич Захаров всегда стоит в своём творчестве на принципах эстетической законченности.

А вы спрашиваете: что это такое? Вот что это такое.

## АНЕКДОТ ОТ ГРИШИ ВЕРХОТУРЦЕВА

Идёт по городу писатель Виталий Диксон – хмурый, неодошевлённый. Навстречу ему – книгопоклонница.

– Как поживаете? – спрашивает. – Как пишется?

– Хреново.

– Ах, не приукрашивайте, ради бога! Уж говорите, как есть.

## ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Москвич Женя Бунимович всегда любил плотно поработать. По крайней мере, к концу 1996 года он имел два места вовсе не синекурной службы – заведовал отделом в «Новой газете» и преподавал всяческие физико-математические затеи в одной из гимназий.

Читая Женины статьи, я всегда отмечал их точность, чёткость, остроту и математическую логику. Это мне нравилось, нравится и теперь. Но то, что произошло на поприще педагогики, превзошло все мои ожидания. На мой взгляд, Бунимович провёл гениальный эксперимент в среде своих господ гимназистов и совершил новаторский переворот в полутора десятках наук – педагогике, психологии, социологии, политологии, социальном прогнозировании... Короче говоря, когда я узнал об этом эксперименте, я сказал «о», потом ещё «о», потом третье... впрочем, это могло быть одно, но очень долгое, паровозно-одическое «о».

Поводом к эксперименту послужила строчка из стихотворения Иосифа Бродского: «Свобода – это когда забываешь отчество у тирана». Форма эксперимента – анкетирование. Подопытными стали ученики выпускных классов, да не простых, а так называемых углублённых – куда? это уже дело десятое...

Из имён-отчеств Пугачёвой, Хрущёва, Брежнева и Дзержинского господа гимназисты знают стопроцентно только то, что принадлежит несравненной Алле Борисовне, тут у Бунимовича даже сомнений не возникало.

Каково настоящее имя Сталина? Большинство не знают, но среди ответивших на вопрос встречаются фамилии: Павлиашвили, Иоселиани, Берия и даже Давиташвили.

Согласно анкете, в Ленина стреляли: «женьщина», Инесса Арманд (это любовница-то!), капрал, эсерка Керн.

Студенчески-конспективная аббревиатура «ВОСР» (Великая Октябрьская социалистическая революция) так и не нашла расшифровки, словно какая-нибудь шумерская или древнеегипетская абракадабра.

А что такое «Малая земля»? Диапазон ответов огромен: что-то на Севере, Ленинград в осаде, песня, Новая Зеландия, архипелаг...

Известная на весь мир 60-х годов американская марксистка-террористка-коммунистка Анджела Дэвис оказалась основательницей Кубка Дэвиса, самой престижной теннисной награды...

Вволю отсмеявшись, я грустно задумался: а так ли уж это хорошо – забывать тиранов? Ведь они приходят в новый день с новыми именами...

И за гениальный эксперимент я выставил Бунимовичу Евгению «кол с большим вопросом», о чём и уведомляю всех заинтересованных лиц.

## ДИССИДЕНТ

У иркутского архиепископа Хризостома была красивая, благообразная внешность, мягкие аристократические манеры, ровный голос, правильная русская речь... Но в глазах его мне виделась затаённая боль, страдание.

Из Иркутска он уехал неожиданно. И вскоре после его отъезда случилось то, чего никто не ожидал: 14 февраля 1991 года Владыка дал интервью ленинградской молодёжной газете «Смена», произведшее эффект разорвавшейся бомбы.

– Восемнадцать лет я сотрудничал с органами КГБ. Моё назначение в Литву было их большой ошибкой. Я долгое время числился инакомыслящим, своим «сотрудничеством» реально приближая перемены в стране. Последние пять лет провёл в

Иркутске. Видимо, в КГБ посчитали, что я исправился, и согласились с моим назначением...

В то время (начало 1991 года) бурлила Прибалтика. Вот тогда и понадобился в Вильнюсе архиепископ для гэбэшной «работы» по нейтрализации национально-католического влияния «сепаратистов» и «возрождению патриотического духа» среди русского населения.

– Перед отъездом в Литву, – говорил Хризостом, – меня познакомили с офицером КГБ, с которым я должен был работать здесь (*в Литве – В.Д.*). В присутствии своего начальника он информировал меня об обстановке в республике. Уже здесь я понял, что информация была ложной...

Читая всё это, я видел перед собой глаза Хризостома: затаённая боль и страдание.

– Я приехал в Вильнюс инкогнито, так как в КГБ меня предупредили, что будут пикетирования и митинги протеста. Спустя три дня из соседнего дома в меня стреляли из охотничьего ружья. Кому-то очень хотелось меня запугать. Но в КГБ делали ставку на меня. Они очень хотели, чтоб я был на их стороне. Но я от сотрудничества отказался...

Я понял, отчего в глазах архиепископа мне виделись боль и страдание. Тихий голос совести и чести, не истреблённый в церковном иерархе советско-партийным режимом, требовал решительного поступка. И поступок совершился...

## ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН СОЦИАЛИЗМА

В конце отчётно-финансового года редактор регионального выпуска «Восточная Сибирь» в центральной газете «Труд» Лёша Комаров испытывал приступы беспорочной совести. Состояние было отвратительно-возвышенное, сложно-неопределённое: хоть по существу и пролетарское, но в то же время безродно-космополитское и даже какое-то бесполое, словно рабочая роба или тракторист(ка) Паша Ангелина.

Между тем, у совести был чёткий женский голосок:

– Лёша, я у тебя есть?

– Есть, – отвечал Лёша.

– Вот и поступай по мне. Как рыцарь.

Москва ежегодно выделяла Комаровской конторе энную сумму денег на текущие расходы, неважно, какую сумму, большую или маленькую, важно, что – государственную. Канцтовары, то-сё – вот тебе и определённое количество рублей. Причём не Лёша определял это количество. Москва! А Лёше оставалось одно: что дали, то к концу года всенепременно, хоть кровь из носу, должно быть истрачено до последней копейки, а ежели не истратишь – пеняй на себя: на будущий год вычеркнут сию сумму из сметы расходов. Логика!

С транспортными расходами Комаров разделялся легко и просто. А вот раздел «то-сё» всегда решался с трудом. Труд – без кавычек. Никакой официозности. Никакой иронии.

Побрёл Лёша по магазинам... Пачку блокнотов купил – товарный чек получил. Вон толстенные пачки серой (другой нет) писчей бумаги... Помял Лёша лист, продукцию целлюлозно-бумажной промышленности СССР, скомкал, пошоркал в кулаке... Годится, мякенькая бумажка! – и продавщице приказал:

– Десять пачек. Чтоб на всю пятилетку.

Однако денежек ещё оставалось порядочно. Стержни для шариковых ручек? Мелко. Резинки стирательные? Пошло. Кого стирать? Карандаши? Так тех карандашей надо купить вагон и маленькую тележку, чтобы закрыть оставшуюся часть суммы, кроме того – Москва усомнится в целевом использовании товара: что, мол, они там, в Сибири, карандашами печки топят, что ли?.. Шарил Лёша мучительным взглядом по прилавкам, по полкам, прикидывал: как бы этак извернуться, чтобы купить немного – и подороже, но при этом так подороже, чтобы было подешевле, чтобы из суммы не выскочить... И наконец – нашёл! Стоят рядами, как миленькие, редактора дожидаются фиолетовые чернила. Конечно, чёрные лучше, но чёрные в страшном дефиците. Впрочем, и чёрные Лёше на фиг не нужны, он на машинке «Ивица» тексты отстукивает, на компьютер переходит – с трудом (без кавычек), как Суворов через Альпы, но всё же решительно и бесповоротно. Однако ведь никто же ещё не отменял использование перьевых авторучек, Москва это знает, там чиновники поголовно золотыми «паркерами»

резолюции выводят... Берём чернила! Совесть что-то бурчала Лёше про экономику, которая должна кому-то быть экономной, Лёше было стыдно, но обстоятельства уже продиктовали убедительное решение.

– Чего вам? – сказала продавщица.

– Чернила. Пятьдесят бутылок.

Продавщица вскинула бровки и хмыкнула:

– Бутылки вы в вино-водочном покупайте. А у нас здесь флаконы. Пятьдесят, значит. А хватит?

– Не знаю, – сказал Лёша. – Это смотря что писать и как писать.

– Ну, ну... Все у нас тут писатели. В жалобной книге... Так чего вам?

– Я же сказал!

– А я не обязанная помнить, чего вы сказали...

Дома Лёша Комаров успокоился, засел за стол, разложил товарные чеки и счета, заправил авторучку чернилами и стал сочинять финансовый отчёт. Сочинение оказалось коротким: пять с половиной строк. Стандартный бланк с графами оставался на две трети пустым, пустота требовала заполнения, и чернил в бутылке было ещё предостаточно, но писать уже было нечего. И тогда Лёша постучался к совести:

– Ты ещё здесь?

– Здесь.

– Как ты думаешь, эти бумажки в Москве кто-нибудь читает?

– Вряд ли.

– Вот и я так думаю.

Перо комаровской авторучки принялось выписывать на бланке строкой отчётности оскорбительные для всякого ревизора подробности, списанные с этикетки флакона, «г. Ангарск. Радуга-2. Чернила для авторучек. Перед первым набором и сменой чернил промойте авторучку. ФИОЛЕТОВЫЕ. ОСТ 6-15-78-75. Масса 75 г. Цена 17 коп. Срок изготовления... Проба пера! Проба пера!! Проба пера!!! Да пошли вы все к чёртовой матери со своими копеечными расчётами! В этом деле Комаров вам нос подточит, дорогие товарищи...»

На следующий день финансовый отчёт ушел в Москву. Железный закон социализма: учёт и контроль! Любая мелочь – по большому счёту.

...Комаров до сих пор сидит на своём месте. Судя по этому, в Москве его бумажки действительно никто не читает.

## СЛУЧАЙ БЕЗ ПРОТОКОЛА

Шла война...

Объявленный спецпостановлением ЦК КПСС красный террор белой горячке – былинно говоря, зелёному змию – напоминал сражение с семиголовым Кощеем. И такое кошунственное сравнение не случайно: одну башку отсекут змию – так другие «за того парня» ещё шибче пасти свои ненасытные разевают, а покуда замахваются на тех других – отсечённая башка прирастает к туловищу и сидит на нём, как ни в чём не бывало, ещё более целёхонькая, можно сказать, обновлённая и алчущая ещё активнее, чем до отсечения: компенсации требует за моральный ущерб и вынужденный простой.

И при этом ещё гнусные псалмы распевает на манер кадрили:

*Да как комар мошку*

*Да укусил в бошку.*

*Да ты не плачь, мошка,*

*Да заживёт бошка...*

На той войне пользовались не мечом заговорённым, а заболтанным постановлением, вот беда. Рубили, что называется, под корень, а где он зарыт, этот корень, постановление само не знало.

– У Кощя смерть в яйце, – высказывал догадку журналист Сэм Сёмкин.

– В одном? – деловито уточнял карикатурист Гена Базюк, причём так деловито уточнял, как будто бы через полчаса уходил на фронт воевать.

Их газетный коллега Николай Николаевич Евтюхов был настроен на другую волну, не очень сказочную, сугубо земную, прагматическую.

– Тяжело в похмелье... А где легко? – говорил он, горбясь под тяжестью утренней философии. – Как сказал поэт Кобенков, человеку должно быть всё прекрасно. Даже похмеляться надо красиво, не правда ли, господа?

Господа дружно закивали: ох, правда, истинная правда!

– Насчёт календулы у нас мнение такое, – сказал Базюк. – Пить можно.

– Можно, – подтвердил Сэм.

– Так я сбегаю? – оживился Гена.

– Погоди, сейчас Диксон прилетит. Только что звонил...

Редакционное здание иркутских газет «Совмолодёжь» и «Востсибправда» не стоит, как полагается, а торчит. Какая-то сексуальная стойка «смирно», под самое солнышко. Плоская крыша – идеальный солярий. Но там, на крыше, не только загорали...

У штатских моих товарищей глаза горели уже неугасимым аввакумовым огнём.

– Ну, – говорю, – пошли, славяне!

Трио одновременно помотало – бородой, бородкой, подбородком: у кого что было. И так же одновременно было выражено устное отношение к предложению:

– Погодить треба. Через двадцать минут редактор уедет в аэропорт, в московскую командировку. Вот тогда и...

Ровно через двадцать минут мы были на крыше.

– Ну, сели, – суетился Сэм, раскладывая на стационарных кирпичиках стаканчик и две конфетки. – Вот эта будет как будто суп. А эта, например, пусть будет котлетка по-киевски...

– А водка-то настоящая? – деловито уточнял Базюк; уже и не горло у него – горнило печально клокотало.

– Будьте спокойны, друзья, – сказал я. – Свеженькая, потнёнькая.

Хорошо пошло, потом поехало, полетело и понеслось задущево, хоть и не санкционировано ни начальством, ни жёнами.

– Хрен с ним, с сексом, – сказал задумчивый Николай Николаевич. – Нету его в России – так нету, воткнём этот хрен, как штык в землю. Но зачем?

– Заче-е-ем? – поддержал вопрос Гена.

– Вот именно, зачем? – сурово провозгласил Сэм.

– Зачем нормальных людей цека капэээс лишает возможности культурно похмеляться?

Никто не мог помешать столь возвышенной медитации: ни облака, ни птички, ни самолёты, урчавшие над самой головой.

– Эге-гей, – запевал Гена, – привыкли руки к стопарям...

...Через неделю вернулся редактор. После обязательной служебной «летучки» он сказал:

– Все свободны. Базюк, Сёмкин и Евтюхов, – останьтесь.

Остались. В воздухе пахло грозой. Задушевные кошки скреблись...

– Вот, всегда так, – предусмотрительно забурчал Базюк. – Чуть что, так сразу Базюк, Базюк...

И сказал грустный редактор:

– Ну, что, коты на крыше, мне с вами делать? Не успел я ещё в Москву улетучиться, как вы уже с Диксоном в солярии «Столичную» распиваете. Из одного стакана. Какой позор!

– О нет! – горделиво вскинулись борода, бородка и подбородок, и три голоса взлетели – альт, тенор и что-то неопределённое, какое по утрам бывает у перетруженных сантехников и прочих водопроводчиков: между баритональным басом и меццо-сопрано: – Нет среди нас предателей, Олег Всеволодович! Мы вам не какие-нибудь Павлики Морозовы!

– Успокойтесь, коты, – сказал печальный редактор. – Не мучайтесь понапрасну. Но отныне запомните раз и навсегда: мне сверху видно всё, вы так и знайте, что на взлёте самолёты любого рейса пролетают как раз над нашей крышей и некоторые головы едва колёсами шасси не задевают. Обозрение, как на ладони... Сёмкин, например, без тупфлей загорал, а ты, Базюк, даже галстук не снял... Стыдно, товарищи.

Так редактор обнародовал свою военную тайну, которая помогала ему поддерживать порядок в коллективе на протяжении уже нескольких лет. Редактор обязан быть строгим. Конечно, с одной стороны, он прав: лозунг «Отдельно – пей, отдельно – работай» обострился до пределов досягаемости. Если коллектив, что называется, не разлей водой, то, согласно постановлению, это уже не коллектив, а пьянка со всеми вытекающими последствиями. Раньше как было? Водка есть,

дисциплины нету. Всё просто и понятно. А сейчас? До одиннадцати часов – даже не пытайся. Водки нету – и дисциплины опять же то же самое. Диалектика. Но, с другой стороны, редактор был доволен своими сотрудниками: с такими гвардейцами – хоть в разведку, хоть куда, время-то вон какое, военное, чрезвычайное...

Столкновение закончилось без потерь.

Итак, шла война... Социализм шёл в последний и решительный бой. С кем воевать? Кому сдаваться? Сдавались карты «подкидного дурака». Сдавалась сдача, рублями и мелочью. Сдавались дачи – на летний сезон. Российский менталитет не сдавался. Как гвардия.

## ЖИЗНЬ И СУДЬБА ДЕПУТАТА

Депутат сидел в клетке... Он косил на все четыре стороны света рубиновым глазом, неприступный, решительный и кукарекатурно-грозный, точно пресловутый «наш ультиматум Керзону» в совокупности с приснопамятным «нашим ответом Чемберлену».

Наверху клетки располагался телефон. Когда он начинал кудахтать, Депутат по-бойцовски напружинивал крылья, перебирал ногами, выдрючивая какой-то немислимо победительный воинственный фокстрот, и голосил на весь Солнечный микрорайон:

– Ура! Кокорин! Караул!

Фамилия известного театрального режиссёра в этой тираде размещалась всегда, как правило, в серёдке, но поскольку Депутат орал без знаков препинания, то невозможно было соотнести господина Кокорина ни с восторгом, ни с опасностью: как хочешь – так и понимай.

– Слышу, слышу, – отзывалась хозяйка квартиры под разнофокусным номером тринадцать. – Иду-у!

– Кстати, – спрашивал я, – что за странное имечко – Депутат?

– А разве не похож? – отвечала хозяйка вопросом, в конце которого стоял восклицательный знак.

Хозяйка – это Галя Байнякшина. В Иркутске её многие театралы знают. Она играет в охлопковской драме разные женские роли, положительные, отрицательные и так себе, а на самом деле, то есть в доме своём, на шестом этаже, ей играть просто некогда, там уже ею самой играют – и петух с депутатской неприкосновенностью, и приبلудшие собаки, и кошки, и прочая живность. Добрая душа – Галя Байнякшина. Того напои, этого накорми, третьего погулять выведи на свежий ветерок... – хлопоты, заботы, дела.

– Ну как, сударыня, поживает наш народный избранник? – телефонную в очередной раз.

– Народ пожирает своих избранников, – констатирует Галя сурово и печально, точно так, как это делают историки Древнего Рима. – Кончились депутатские полномочия.

Вот так состоялась трагедия: вывела Галя петуха на зелёной травке потоптаться, серебряное горло продуть, поклевать что бог пошлёт. Тут-то наш народ и выбрал его – сожрамши... Какой-то бич приبلудный согрешил, а может и не приبلудный бич, а – божий. Впрочем, бича Галя жалеет не меньше, чем Депутата.

## **СВЕТЛАНА В КОНЦЕ РОМАНА**

Писатель Б. решил познакомить читателей со страницами своего нового романа на дружелюбных полосах областной газеты «Восточно-Сибирская правда». Туда и принёс для публикации своё сочинение.

Пачка бумаг легла на стол журналистки Светланы Верещагиной.

Сидела она над листочками день, сидела два, три... На четвёртый день разрыдалась, как пушкинская вьюга.

– Неужели, – спрашивают коллеги, – так трогательно написано?

– Хоть вы меня не трогайте! – истерически вскричала Светлана, не вытирая горьких слёз, и прищёпнула ладошками две бумажные стопы на столе: первая – чёрканая-перечёрканая и не столько сырая, сколько мокрая и солёная, как море,

рукопись Б., а вторая стопа – она же, переписанная набелонасухо и подготовленная к печати. – А теперь скажите мне, кто из нас писатель: он или я?

...На следующий после публикации день в редакцию позвонил писатель Б.

– Ну, как? – робко спросила Светлана. Она уже была прекрасно знакома со многими иркутскими литераторами, знала их привередливость и нередкие самолюбивые вето на редакторское вмешательство в тексты. Она ужасно переживала.

– Ну, как получилось?

– Ничего, – ответила трубка. – Хорошо получилось. Вам на самом деле понравилось? Так я завтра ещё принесу...

## КОШЕЛЁК И ЖИЗНЬ

Журналистка из молодёжной газеты Наташа Гранина позвонила по телефону:

– Экспресс-опрос! Что вы думаете по поводу деноминации?

– Ничего не думаю.

– И всё же! В двух словах!

– Можно в трёх?

– Можно. Но, вы сами понимаете, только в нормативной лексике.

– Хорошо, записывай. Большими буквами. КИСЛОЕ СЛОВО МИЛЛИОН. Записала?

– Спасибо, – пискнула Наташенька, предварив благодарностью своим чревовещательным «угу», таким же очаровательным, какими очаровательными были асимметричные глазки пушкинской прелестницы Натали Гончаровой, на что обратил внимание въедливый живописец Карл Брюллов.

И подосвиданькались мы. А потом я подумал: чего это они все так волнуются? Уж ровно неделю, с 1 января 1998 года, граждане России пользуются дензнаками, укороченными в номинале на три нахальных нуля, и ничего, никакого понта, никакого мало-мальски ощутимого дискомфорта и надлома не наблюдается. Всё произошло легко и свободно, как смена времён года.

И в самом деле, давно уж не говорят: пять тысяч, десять тысяч, миллион... Говорят простенько: пять, десять, лимон...

Есть, действительно, что-то психологически ненормальное в стране, где одна треть населения являются миллионерами, но при таком пышном названии они не способны обеспечить себе более-менее приличную жизнь. Забавная картинка: безработный миллионер в очереди за пособием... Нонсенс! Вот и поверь после этого ей, денежке, раздутой нулями, этими очевидными дырками от бубликов.

А кто будет рубль беречь, кроме копеечной денежки? Некому, кроме неё, родимой. И на вопрос «Кошелёк или жизнь?» давно уже пора отвечать по-человечески: «И кошелёк, и жизнь!»

Кошелёк – он потому и кошелёк, что должен звенеть.

Звенеть же может только монета, а не потёртые бумажки, коим грош цена в базарный день.

И я двинулся в кожгалантерейное заведение приобретать кошелёк. У него, к слову сказать, дивно-державное старорусское название – калита. Там обретается медный грош, увенчанный гербом.

Что ж, будем-таки расплачиваться с госпожой Историей чистой монетой. Давно пора.

## **НАШИ ДВОРЯНСКИЕ ХЛОПОТЫ**

В симпатичном скверике неподалёку от моего дома пару лет назад какой-то безымянный доброхот сочинил скамейку: два врытых столбика да сосновая плаха, нехитрое сооружение. Мои разведчики-мальчишки дворовые так и не дознались имени того чудака, который вот так запросто, без заведомой денежной оплаты да ещё в пору всеобщего пофигизма благоустроил территорию 28-го домоуправления.

А скамеечка получилась славная. Старуха с авоськами на полпути передыхает. Пенсионеры покуривают и решительно возражают против расширения НАТО на восток. Два мужичка аварийного типа похмельно смакуют баночку пива на двоих. Женщины с детскими колясками... Добрая скамеечка, ей-богу, спасибо тому благотворителю рукодельному.

И вот однажды выхожу рано утром с пуделем Чарли, описываем привычные круги, повизгиваем от ощущений продолжающегося бытия, ждём открытия газетного киоска, к скамейке направляемся... Что такое? Дворник выкорчёвывает столбики, а плаха уже на земле валяется.

– Что ж вы такое делаете, уважаемый?

– Ликвидирую, – ответил дворник. – Хватит. Надоело мне.

– Что именно надоело?

– Власть надоела. Президент. Обчество. Пьют на мои деньги. Обижают. Мой низкооплачиваемый труд не уважают...

– Погодите...

– А чо годить-то? Что НАТО расширяется – так мне на это наплевать. Не в НАТО дело. Вон – вокруг... Каждое утро вокруг скамейки такое поле Куликовое, где даже сам Мамай не пройдет, ногу сломает...

Действительно, поле: пивные банки, окурки, бутылки, «изделия № 2», целлофаново-пластиковое рваньё, смятые сигаретные пачки, одноразовые стаканчики-тарелочки...

– Какой уж тут Мамай? – спрашиваю. – Наша работа.

– Наша, – вздыхает дворник. – Никакой, ёптыть, культурности в людях. Мои окна как раз напротив, всю ночь вижу и слышу, как пьют и фулюганют, паразиты, утром – сплошное мамайство, а мне убирать! Хватит, лопнуло моё чернорабочее терпение!

– Жалко, – говорю. – Человек поставил скамейку, а вы...

– Я её поставил, я её и сломал. На своей шкуре понял, что нам даже удобства во дворе не на пользу идут. Эх, дурень я... Делал для общей культурности, а получилось, что сам себе навредил и место для бардака оборудовал. Понятно вам?

Нам с пуделем стало всё понятно. И возразить было решительно нечего и нечем: наш косноязычный дворник логически безупречно срифмовал английский сквер с великорусской скверной.

## КОЕ-ЧТО О САМОИНДИФИКАЦИИ

«Здесь был Вова».

Стремление среднестатистического россиянина подобным образом отметиться на скрижалях истории – неистребимо, как сама история, как сам россиянин.

...Февраль 1843 года свёл в Риме двух восторженных соотечественников. Она – фрейлина Александра Осиповна Смирнова-Россет, родственница (по отцу) герцогов Ришелье и (по матери) грузинского царя Георгия XIII. Он – захудалый малороссийский дворянин Николай Васильевич Гоголь. Он хотел очень понравиться даме. Он жаждал любви эксклюзивной, как сказали бы российские романтики конца XX века. Но тогда романтизм был попроще. Николай Васильевич расфрантился серой шляпой, голубым жилетом, панталонами цвета малины со сливками. Перчаток, к сожалению, не было, фрака тоже не имелось, так Гоголь полы сюртука булавками подколол...

«Комильфо!» – думал Николай Васильевич.

«Моветон!» – думала Александра Осиповна.

Путешествуя по Кампанье, они, разумеется, не миновали собора святого Петра. И где-то там, наверху, у внутренней стены купола Александра Осиповна благоговейно преклонила колени... «Я здесь молился о дорогой России» – гласила надпись на стене, сделанная – как же фрейлине не узнать, чьей именно рукой сделанная! – рукой государя Николая Павловича.

...Я ж говорю: мы всё на свете можем расписать. Колонны поверженного рейхстага, лифты многоэтажек, общественные туалеты, мемориальные кладбища... Похоронят, в конце концов, Ленина – но Мавзолей останется как архитектурный памятник. Что ж, вы думаете – он будет стоять на Красной площади без соответствующего письменного свидетельства?

Вряд ли. Среднестатистическая душа населения никогда не вынесет пустоты и обозначит саму себя с уникальной непосредственностью:

«Здесь был Вова».

## ЗАЯЦ И РЕЗОНАНС

Седой, лобастый, чуток ироничный шестидесятилетний сказочник, кукольник, фантазёр. Его звать Резо Габриадзе. Но все, от мала до велика, зовут проще – Резо. Он служит России в должности худрука Московского театра кукол.

В конце 90-х Резо придумал постановку, но не очередного спектакля, а – памятника. Не простой памятник. Памятник Заяц. Не простому зайцу, а тому, конкретному, который перебежал дорогу Пушкину, уже тронувшемуся в путь из Михайловского в Санкт-Петербург, в самый канун восстания декабристов. Ушастый перебежал санный путь, а сие – дурная примета, и поэт вернулся в свой уголок... Где бы и с кем он оказался в ином случае?

Да, может, то вовсе и не Заяц был? Может, ангел-хранитель снизошёл на землю в таком лопушистом образе? Впрочем, это уже не так и важно. И ангел хорошо. И Заяц тоже хорошо. Так пусть у каждого будет свой Заяц. С ним всё же лучше, чем совсем без ничего.

Так хочет сказать Резо. Резонно!

## ГЕГЕЛЕВСКАЯ МЕЧТА

«Ничего!» То есть: ничего не случилось. Таким пустым словом король Франции Людовик XVI отметил в своём дневнике 14 июля 1789 года. Бедный король! Он ещё не знал, что в этот день парижане захватили Бастилию и началась Великая французская революция... Ничего себе, да? И себе ничего! Восклицательный знак.

Россию не удивить пустыми вопросами и пустыми восклицаниями.

– Ну, как живём? – спрашиваем.

– Ничего.

– Ну, давай!

– Пока...

На иностранные языки такой диалог переводится так:

– Как вы живёте?

- Удовлетворительно.
- Прощайте!
- До свидания...
- Но нам переводчики не нужны. Нам всё понятно.
- Привет.
- Кому?
- Тебе.
- От кого?
- От меня.
- А-а-а... Ну, здорово.
- И тебе аналогично.

Расхожие, странные, самые что ни на есть русские народные образования. Одному из них всю жизнь удивлялся германский канцлер Бисмарк и даже приказал выгравировать это магическое слово на крышке своего серебряного портсигара: «Ничего!»

...На кафедре русского языка и литературы Иркутского педагогического университета темы дипломных работ на 1998 год озаглавлены простенько, без особых претензий. «Лексико-грамматические свойства слово НИЧЕГО в русском языке». Руководитель проекта – кандидат филологический наук профессор К.Е. Чижикова. Вот ещё одна животрепещущая тема: «Функционирование слова ТОЖЕ в произведениях В. Распутина»... Тематику дипломных работ санкционировала заведующая кафедрой русского языка и методики В.И. Чибисова.

Кто обречён на понимание этого птичьего языка?

Нет ничего, когда ничего нет.

*...Пат, вечный шах, тцета,  
Ничья, классическое ничто,  
Гегелевская мечта.*

*Иосиф Бродский. Назидание.*

## ДУМА О КАНТЕМИРЕ. КАНТЕМИР – О ДУМЕ

Уж так история распорядилась, что потомок молдавских господарей, князь Антиох Дмитриевич Кантемир стал основоположником русской сатиры. Горячий сторонник

петровских реформ, он стихом бичевал гонителей российского просвещения, врагов внесловного равенства людей, реакционное православное духовенство, которому особенно не по нраву (да и по карману тоже!) были новации Петра, подрывавшие в корне церковный авторитет. Сатирик обличал дремучее помещицье невежество, дворянскую кичливость знатностью и богатством. Стилизованные в античном духе, «герои» кантемировских сатир тем не менее были легко узнаваемы, угадываемы... «Медор» порол холопов на скотном дворе, «Сильван» пьянствовал и обжирался в параметрах сугубо русской безразмерности, «Критон» отвергал грамоту только потому, что перечеть, «сколько копеек в рубле», можно и без всякой науки.

Виссарион Белинский в 1845 году признавал, что «развернуть изредка старика Кантемира и прочесть которую-нибудь из его сатир есть истинное наслаждение».

Так, всё так. Но какой там старик? Сатирик умер тридцати шести лет во Франции от чахотки.

Полагаю, что перо Кантемира могло бы и сегодня во всю моченьку разгуляться: и темы прежние, и персонажи старые, из века в век переползающие, точно плесень, со страницы на страницу российской истории. Ничего, в общем-то, нового. И вот уж подзабылся Кантемир с его тяжеловесным слогом, откочевавшим к последующему Василию Тредиаковскому; уж тот-то, бедный, снискал славу более громкую, нежели Кантемирова: его «Тилемахидой» пугали школяров.

Однако же осталась от Антиоха Дмитриевича пара слов... И какая! Два забавных словечка ввёл в обиходный русский язык в середине XVIII века: «идея» и «депутат». Он ввёл. А нам теперь расхлёбывать.

Вот, например, дума, к тому же ещё и Государственная. Слово, в общем-то, хорошее, правильное и нужное, спору нет. Но ведь произносить его уже просто-таки неприлично, словно это что-то забористо-заборное. Одно спасение, один выход – произносить его со смехом, и тогда этот смех явится нам в услужение как анти-охи и анти-ахи в нашем времени, отнюдь не располагающем к всеобщему ликованию.

Впрочем, забавно понаблюдать за депутатством... Какой табун литературных героев! Хлестаковщина. Лёгкость мысли необыкновенно обыкновенная, известная ещё до Кантемира. Законы принимают по чайной ложке три раза в день: с отвращением и руганью, как принимаются рыбий жир и касторка. Первое чтение, второе чтение, третье... так, по складам, читают самые тупые школяры. Вон слева думает какой-то «капитан соври-голова». Справа думает принцесса на горошине. Посередке думает освежающе эклектичный коммунист из бывших газетчиков.

– У нас своя голова за плечами! – провозглашает он горделиво.

Ну, батенька, это мы ещё с броневика у Финляндского вокзала слышали. А что новенького?

– Пора выходить из окопов, товарищи! Москва – третий Рим, а четвёртому не бывати! Риму – рим! С нами бог! И да здравствует русская идея!

Вон оно как! Ну да. Бог, конечно, троицу любит, и четвёртая империя была бы слишком обременительна для человечества. Но ведь верно и то, что нынешние коммутанты в своих корешках и верхах уже абсолютно безыдейны; потому и собирают с миру по нотке: нотка марксизма-ленинизма, нотка фашизма с православием, нотка славянофильства с русским космизмом, нотка гумилёвского евразийства... Но вот беда: нет в этом хоре гармонии, хоть плачь. И «гармонисты» плачут и страдают. Это страдание безопасное, как будто бы на сцене саратовскую гармошечку туда-сюда растягивают. Забавное страдание. Времена, когда истые коммунисты во имя идеи шли на смерть, давно прошли. Ни ссылок теперь, ни арестов. А окопы... Какие окопы? Руководящие товарищи засели в шикарных цековских квартирах, откуда их уже не вышибить никакими осадными орудиями. А идея? Идея, конечно, не виновата. Как почётный узник и союзник, она содержится в цитадели цитат из Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и четырёх библейских евангелистов. Партийцы-патриции перескочили в «народные патриоты», а парии партии так и остались в хижинах, которые построил ЖЭК...

Нет возможности, но если бы она вдруг приключилась у меня, то отослал бы я всех этих Богом званных, но народом избранных, неприкосновенных... по одному адресу, тут неподалёку, можно сказать, за углом, как повернёшь, сразу направо, вот он: почти обезлюдевший афганский городок по имени Айбак. Полюбуйтесь, господа-товарищи, на диких кошках с их русскоязычным «мяу», на кладбище советской техники, на пыль, которая была когда-то стенами домов, на сохранившийся огрызок стены, на котором веселится сакраментальный лозунг октября 1996 года: «Слава КПСС!».

...Кантемировская дивизия Московского военного округа здесь ни при чём.

Но вот как раз при чём остаётся непостижимо загадочной внутренняя зарифмованность таких неулыбающихся субъектов, как «старик» и «сатирик».

И ничего тут не попишешь!

Вот вам, граждане, Бог. Вот порок.

Слесарю – лечение.

Кесарю – сечение.

Сечению – золотое правило.

Кантемиру – мир.

## ИМЯ ТВОЁ...

Не лучшая судьба постигла Дон Жуана. Нынче каждого замудоханного канцелярского юношу, который в промежутке между бумагой входящей и бумагой исходящей пытается ущипнуть за мягкое место конторскую же барышню, называют Дон Жуаном и, подчас, ставят дисциплинарный вопрос в свете советской морали.

Ох, не зря, не напрасно китайская пословица синтезировала народную мудрость: «Не бойся трудной судьбы – страшись плохого имени».

Конечно, каждый человек своими поступками, то есть своей судьбой может испортить свою фамилию и стать таким синонимом порока, нарицательным типом или даже явлением: Сталин, Распутин, Казанова, Дон Жуан... Незавидная, конечно,

судьба у какого-нибудь нынешнего «Гитлера» или «Нерона». Но что делать, когда сама фамилия может испортить судьбу отдельного человека? Выход простой: сменить фамилию. Так и делается.

На заре космонавтики невозможно было представить одного из пионеров освоения вселенной с фамилией Крысин. И потому очередной Герой Советского Союза вынужден был взять фамилию жены и стать Джанибековым, попутно демонстрируя всему миру дружбу народов СССР.

С болгарским космонавтом Каколовым, включённым в совместный интернациональный экипаж, дело обстояло сложнее: всё-таки – не наш гражданин. Однако Болгария с пониманием отнеслась к нашему беспокойству, обоюдные дипломатические переговоры завершились успехом, и Каколов стал Ивановым.

Дело житейское. Но вот находятся примеры совсем иного рода. Когда в Кремле после Сталина утвердился Хрущёв, то по всей стране в строго секретном (!) и в строго приказном порядке были сменены фамилии у 150 Хрущёвых, у 26 носителей фамилии Хрущ, у 9 человек по фамилии Хряк и у 6 обладателей не «животной» фамилии, но сугубо «растительной» – Хвощ.

Брежнев тоже задал работёнку загсам Советского Союза: исчезли 94 реально существовавших Брежневых, из которых два были евреи и один бурят.

Права китайская поговорка – даже на русской почве, которая так плодородна на анекдоты.

Заходит, значит, в паспортный стол посетитель.

– Можно, – говорит, – мне сменить имя?

Паспортисткам лень оформлять документы, поэтому они отнекиваются:

– А зачем вам это? Такие хлопоты и расходы...

– Ну, тогда отчество можно сменить?

– Да тут ещё больше возни, гражданин!

– Тогда давайте хоть фамилию переделаем, – настаивает посетитель.

– Господи, да как вас зовут-то?

– Никита Виссарионович Троицкий.

## ПРО ВАСЬКУ-КУАФЁРА

Предания предают – гласности: жил, дескать, некий фригийский царь по имени Мидас, и служил тому царю брадобрей, который единственный в государстве знал сугубую тайну своего повелителя – тайну, разглашение которой смердело смертью: у Мидаса были ослиные уши. Тайна любая, кстати сказать, всегда некстати свербит... Будучи, подобно брадобреям всех времён и народов, весьма невоздержанным на язык, фригийский цирюльник отправился в сад, вырыл там ямку, рассказал ямке про ослиные уши и закопал своё сообщение землёй. Земля родила миф.

В России и земля не та, и с мифами туговато, и вопрос «На какой почве?», как правило, не к агрономии относится, но, скорее всего, к ревности, нервам, жизненным обстоятельствам и юридическим прецедентам.

Жил российский царь-император Александр Первый. Служил царю (с царёва детства, в должности воспитателя) граф Николай Иванович Салтыков. Была у графа супруга Наталья Владимировна, урождённая княжна Долгорукова. Имелся у графини крепостной мальчишка Васька, личность неумытая, но вполне реальная, и должность у этой личности имелась деликатная, в разные времена по-разному называемая: тупейный художник, чесальщик, парикмахер, куафёр... Куафёр был, а вот куафюры, то бишь дамской причёски, не было: к пятидесяти годам графиня полностью облысела. Случилось это в 1787 году. Редущая голова уже давно содержалась в секрете, под париками, но с наступлением совершенной лысины Наталья Владимировна приняла самые решительные меры для сокрытия тайны: управляющего париками Ваську засадила в деревянную клетку, а клетку задвинула за ширмы в самом дальнем углу собственной спальни да ещё и замочек к дверце приспособила.

– Сиди, – сказала, – не скучай. Куафюры париковые чеши да завивай на манер французской Марии-Антуанетты и матушки её Марии-Терезии Австрийской.

– А давеча, – хмурился Васька, – ты мне наказывала, матушка, на манер девиц Фенелоновых. Перечёсывать, што ль?

– Перечёсывай. Нонче девицы из моды выскочили. Нонче матроны почтенные надобны.

Сидел куафёр-парикмахер в клетке, уж и позабыл, как белый свет выглядит, чесал чужие волосья, щипцами букли да локоны накручивал, поесть-попить у него тут же, в клетке, под рукою: хлеба ломоть да кружка с водичкою. А что касается «до ветру» проветриться, так на ту нужду графиня завела правило режимное: три раза в день, и те разы приходились на утреннее, дневное и вечернее обряжания Натальи Владимировны в новые, подготовленные Васькой парики.

Конец Васькиного одноклеточного существования таков. Вышел он как-то «до ветру» и... ищи ветра в поле, как говорится. Графиня в нечёсаном парике кинулась к самому царю:

– Помоги, государь! Прикажи полиции бунтовщика сыскать! А то ведь эдак-то, без порядочного надзору половина империи в бега ударится!

– Успокойся, графиня Наталья Владимировна, – сказал император Александр Первый. – Я уже всё знаю.

– Что... всё? – замерла Салтыкова.

– Всё. На то я есть хозяин земли Русской.

Отпустив прочь вконец обмякшую просительницу, император вызвал главного полицейского начальника столицы, кратко изложил ему суть дела и приказал: беглеца сего не разыскивать, а графу и графине Салтыковым объявить, что их негодный и дерзкий Васька утонул в Неве.

– Ну, слава Богу! – облегчённо вздохнула Наталья Владимировна и перекрестилась.

...«Причина сего необыкновенного варварства, – сообщал журнал «Русская старина» в 1876 году, через шестьдесят с лишним лет после смерти графини Салтыковой, – была та, что престарелая мегера хотела скрыть ото всех своё безволосье».

На безрыбье, говорят, и рак – рыба. А на безволосье? Неужто и враки любви? О нет! В России нет мифов и легенд. Есть полумифические и полulegenдарные загадки. Вот, например, лысая графиня. Отчего ж не сделалась она, дурища титулованная, символом целой эпохи? Может, оттого, что таких символов имелось – хоть пруд пруди, хоть дороги мости? А может оттого, что Наталью Владимировну перешибла

значительностью другая Салтыкова (1730–1801), помещица Дарья Николаевна, «зверь-баба», вошедшая в историю российского крепостничества под прозвищем Салтычиха. Но это уже иная частная история, другая история – на одной, всё той же, почве – российской.

### **ЗАВТРАК ОСТЫВАЕТ...**

На отдыхе в Ялте официантка обращается к Брежневу за завтраком:

– Доброе утро, товарищ Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного Совета, Маршал Советского Союза, Председатель Совета обороны, четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда, лауреат «Золотой медали мира» имени Фредерика Жолио-Кюри, член Союза писателей, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», лауреат Золотой медали мира Организации Объединённых Наций, дважды Герой Народной Республики Болгарии, Герой Германской Демократической Республики, Герой Монгольской Народной Республики, Кавалер Большого креста ордена «Белой розы Финляндии» с цепью, Кавалер ордена Возрождения Польши с Большим Крестом, лауреат Памятной золотой медали Перуанско-советской ассоциации культурных связей, Кавалер «Звезды Социалистической Республики Румынии» первой степени с лентой, выдающийся борец за мир, верный ленинец, дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев!

Леонид Ильич ласково смотрел на девушку и сказал, вытирая со щеки набежавшую скупую мужскую слезу:

– Будем скромнее... Зовите меня просто: Ильич.

## ТРУДОВОЙ БУДЕНЬ ОДНОГО ГЕНСЕКА

Член Политбюро ЦК КПСС товарищ Лигачёв прибыл в кабинет Генерального секретаря товарища Черненко не один, а с товарищем.

– Разрешите, – сказал он, – представить вам, Константин Устинович, самого молодого из всех республиканских товарищей. Это товарищ Назарбаев.

Товарищ Черненко с трудом выпрямился в кресле и спросил:

– Сколько ему лет?

Сколько лет товарищу Назарбаеву товарищ Лигачёв не помнил и потому улыбнулся комсомольско-молодёжной улыбкой. У него это очень натурально получалось.

В заключение товарищ Черненко встал-таки и попытался пожать товарищу Назарбаеву руку. Но у него не получилось, он пошатнулся, и референты едва успели подхватить генсека с трёх сторон.

– Вернётесь, передайте привет товарищам, – напутствовал товарищ Черненко товарища Назарбаева.

Тот вернулся и передал.

## СИНЕКУРА

Синекура – бездельная, но хорошо оплачиваемая должность. Она зачастую становится традицией. В свою очередь, и традиция иногда оборачивается синекурой.

В 1812 году британцы ожидали вторжения войск Наполеона. В качестве наблюдателя военные послали в Дувр своего человека, определив ему высочайшее жалование. А служба наблюдателя состояла в том, чтобы сидеть на берегу моря, смотреть на французский берег в подзорную трубу и немедленно пальнуть из пушки, как только покажутся наполеоновские десанты.

Должность отменили в 1947 году.

А вот российский вариант. Среди многочисленных апокрифов о Григории Потёмкине, фаворите Екатерины Великой, есть и такой.

В детстве Потёмкин учился грамоте у сельского дьячка. Расстались, казалось, надолго и почти забыли друг друга.

Но вот однажды старик дьячок прослышал о том, что его ученик Гришка вошёл в силу при царском дворе. И появился потёмкинский первоучитель в столицу империи – отощавший, почти слепой, голоса нет и на уши слабоват, а вот решил проситься в службу государственную, на хлеб зарабатывать, потому как никого близкого у старика не осталось.

Озадачился Потёмкин, долго думал: куда ему дедушку немощного приткнуть? И придумал.

– Садись в карету, старик. Поехали.

Прикатили на Петровскую площадь, к Фальконетову монументу: Пётр Великий на вздыбленной лошади поганую змею топчет.

Потёмкин взял своего спутника под локоточек, обошли они двоём монумент, оглядели.

– Ну как, – спрашивает Потёмкин. – Стоит?

– Стоит, батюшка, – согласился старик.

– Крепко стоит?

– Кажись, крепко.

– Так ты, голубчик, навещайся сюда каждое утро, оглядывай сей статуи и лично мне докладывай. Понятно?

– Так точно!

До самой смерти смотритель получал жалование из личных потёмкинских доходов в награду за усердную службу: к обеду приходил он к светлейшему князю Григорию Александровичу и рапортовал жизнерадостно:

– Так что стоит статуи. Крепко...

На том и мы стоим поныне: между добротством и расчётливой щедростью.

## ПОСЛЕДНИЙ ГРОШ

Четвёртый час утра. Самый скорострельный час.

«О нет, мне жизнь не надоела, Я жить люблю, я жить хочу». Это Пушкин признавался.

«О, я хочу безумно жить...» – восклицал Блок.

«Я должен жить, хотя я дважды умер...» – писал Мандельштам.

«Воскреси – своё дожить хочу», – кричал Маяковский.

Какая страна, такие и поэты. Какие поэты, такая и страна. Этакая, мягко говоря. Где человеческой жизни – грош цена.

Но грош грошу рознь. Последний грош – воистину неразмennyй. Два гроша – ещё не вечер. Три гроша – уже опера.

Интерес к жизни как таковой появился у меня на закате жизни, тогда, когда возникло беспокойство за неделанную работу, за незавершённость. Отсюда – боязнь заснуть, потому что вероятно непробуждение. Отсюда же – суетливость суток: всё, что ни делаю, есть не более, чем рывок на финишной прямой; рывки не бывают затяжными, они всегда краткосрочны, а после них наступает безвременье.

Не успеваю...

Инфаркты миокарда и инсульты чаще всего случаются по утрам.

## ПОЛИГЛОТ

Ответственный секретарь российско-японского медицинского симпозиума, квартирующего в Иркутске, Алекс Сатомура неважно говорит по-русски. В общем, почти не говорит. Так что, его англо-японо-русский монолог есть речь виртуально виртуозная.

И то, что можно изобразить на бумаге словами русского языка, выглядит примерно так:

– Русские очень уважительные люди. Почти как мы. Это хорошо. Родителей почитают. И мы почитаем. Но у нас в домах нет тёщиных комнат, а у русских – всегда. Япона мать, говорят. У нас такого почитания нет. А язык... что ж, язык у русских трудный. Я изучал в день по одному слову. За год накопилось 365 слов. И все слова – здесь...

Сатомура хлопает себя по лбу и поясняет горделиво:

– В золе.

## МАЛЕНЬКОЕ ДЕЛИКАТНОЕ СВОЙСТВО

Есть два типа дружеских приглашений: «Приходи, мне плохо!» и «Приходи, мне хорошо!»

И в форме этих приглашений – два вида товарищества.

...Что я хочу этим сказать? А вот что. Собака, лучший друг человека,лизывает свои раны в уединении. Чем же человек хуже собаки?

Совестливый, деликатный человек не обнажает раны свои. Поделиться чем-то с другом? Только чем-то хорошим. Ибо: а вдруг другу твоему и без твоей боли очень больно от собственных болячек?

Писатель и киносценарист Александр Володин на сороковой день после смерти Окуджавы рассказывал:

– Звонит мне однажды Булат: Шурка, приезжай, я начал поправляться!

А вот уже – национальная черта: японский этикет. Житель Страны Восходящего Солнца говорит своему товарищу:

– У меня сегодня жена умерла...

Говорит страшные слова, но – улыбается, чтобы тяжесть собственной беды не придавила друга.

## ВОЕННАЯ ТАЙНА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА

Дело прошлое: оказался я за одним столиком с дирижёром Арвидом Янсонсом, эстрадным артистом Беном Бенциановым, композиторами Сигизмундом Кацем, Андреем Петровым и Соловьёвым-Седым. Случилось это на «голубом огоньке» Ленинградской телестудии в 1965 году, в канун Дня Советской Армии.

Откровенно «сухого закона» в ту пору не было, ЦК КПСС во главе с недавно избранным генсеком Брежневым позёвывало, на телестудии царил либерализм развитого «в штопор» социализма – и потому на празднично накрытых столах призывно мерцали советское шампанское и болгарский рислинг.

Петров очень мило заикался, потому и говорил мало, равно как и Янсонс с Кацем. Я вообще помалкивал, ошеломлённый

нечаянным соседством. Зато воспаряли Бен и Василий Павлович.

– Шампусика? Сухарика? – спрашивал Бен.

– Ни-ни! – испуганно отвечал я. – Не положено!

– Выпей, курсант, за победу советского оружия, – вмешивался Василий Павлович. – Начальство-то твоё, поди, далеко не трезвенники.

Я мотал головою, как бычок: ни в коем случае!

Бен: - Пригубить чуток – не грех. Правда, Палыч?

Соловьёв-Седой: - Не грех! Даже доблесть солдатская.

Бен: - Доблесть! И хитрость!

Соловьёв-Седой: - Военная хитрость!

Оба расхохотались и – разом: - Будем здоровы!

А у Бена в кармане пиджака находилась ещё металлическая фляжечка! А у Палыча в аналогичном кармане дожидалась своего часа плоская бутылочка с коньяком! И пошло, поехало, понеслось...

В конце «огонька», на перекуре Бенцианов обнародовал совершенно секретную байку про одну из военных хитростей Соловьёва-Седого...

Жена Василия Павловича всю свою сознательную жизнь боролась с алкоголем.

– Нечеловеческая женщина, – говорил Палыч. – Сушая вохра!

Летом на даче спиртного не держали. Композитор старательно сидел за роялем, как правило, до обеда. Потом вставал и объявлял, похрустывая занемевшими косточками:

– Это...Пойду-ка я в сад, подкопаю яблони... Солдаты, в путь, в путь, в путь! А для тебя, родная...

Через полчаса он вваливался в дом вдрабадан пьянящий. Жена терялась в загадках. А секрет был прост: зная, что на даче с выпивкой будет туго, Василий Павлович ещё с миновавших осеней закапывал под каждую яблоньку по несколько бутылок коньяка. А последующее – дело простое, и не слышны в саду даже шорохи...

– Ну, композиторы! – постановил Бен.

– Военная хитрость, – скромно пояснил народный песельник.

## УКРОЩЕНИЕ БОБИКА

Третью годовщину Октябрьской революции отмечали совершенно «по-царски»: с размахом, с имперской помпезностью, с великодержавной щедрой нежностью.

На бывшей Дворцовой площади, ставшей к тому времени площадью имени тов. Урицкого, развернулось циклопическое массовое действо-зрелище, широкое, размашистое, под названием «Штурм Зимнего дворца»: 150 тысяч зрителей, 8 тысяч «актёров», танки, пулемёты, никакой бутафории, всё настоящее, даже «Аврора»...

Бабахнула авророва шестидюймовка – в свете 150 прожекторов грянула симфония Гуго Варлиха в исполнении оркестра из 500 музыкантов – потом фанфары, провозвестники нового мира, и грозная «Марсельеза» – и пошла толпа, выжимаемая на площадь через арку Главного штаба, повалила с рёвом на оплот самодержавия, руководимая Николаем Николаевичем Евреиновым из режиссерской будки, присевшей на пьедестале Александрийского столпа. На белых шторах в окнах второго дворцового этажа заметались силуэты – как в китайском театре теней. И взвился над Зимним красный флаг. Всё! «Бобик сдох!» – ревела толпа.

А крейсер между тем продолжал пальбу без передыху. Вместо запланированных трёх выстрелов уже прогремел восьмой, девятый, десятый...

– Да что они там, охренели?

Николай Николаевич, бледный и растерянный, тыкал пальцами в какие-то электрические кнопки, накручивал телефонный аппарат: «Стоп стрелять! Стоп, кому говорю...» Бесполезно. Канонада неудержима. А телефонная связь с «Авророй» оборвалась.

Башенное орудие крейсера так и не израсходовало всего боезапаса. Потому что Санька Вавилов, молоденький помреж в кожанке с алым бантом, каким-то чудом проскочил на велосипеде к разбушевавшейся «Авроре» и остановил безобразия.

И где же был этот Санька в 1917 году?

## РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

Что такое библиотекарь в России?

Если в России царской, то должность директора публичной библиотеки соответствовала чину «действительного статского советника». Это IV класс Табели о рангах, равный генерал-майору с титулом «ваше превосходительство» и контр-адмиралу, а в придворных чинах – гофмаршалу.

Ну, а если в России советской социалистической... Не надо смеяться, господа!

## УТЕШЕНЬИЦЕ

Когда рабочий люд в России больше отдыхал – в проклятом прошлом или в чрезвычайно развитом настоящем?

Дореволюционные календари сообщают, что в России государственными праздниками считались так называемые «царские дни» и церковные праздники, а также Новый год – единственный праздник, не упразднённый большевиками.

К царским дням относились: день восшествия на престол и день коронавания царя, дни рождения и тезоименитства (именины) царя, царицы и наследника престола.

Церковные праздники устраивались в память важнейших событий из жизни Христа и святых. Самыми яркими из них были Пасха и Рождество.

В царские дни и церковные праздники не работали.

Существовали и народные праздники, основанные на поверьях и обычаях. В русской деревне, например, на первом месте стоял праздник в честь того святого, которому посвящена деревенская часовня или сельская (приходская) церковь.

Всё!

Советский же Союз принёс народу праздник на каждый день. Ещё живёшь? Ну и радуйся.

## К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПЕРЕВОДЕ

Двухтысячный сентябрь. Дни польской культуры в Иркутске.

Литературные переводчики Сливовские, супружеская пара, пани Виктория и пан Ренэ. Она – профессор Института истории Академии наук, он – профессор кафедры славистики Варшавского университета.

Чай, кофе, тары-бары...Бары обходили в порядке ознакомления с местными достопримечательностями, а тары наполнялись по мере...То есть, сосудистая сердечность находилась в прямо пропорциональной зависимости от сердечной сосудистости.

Наконец, русскоязычный поэт Анатолий Кобенков отбросил обтекаемость и задал свой наболевший вопрос прямо в лоб:

- Как так у вас, в Польше, живут поэты?

Пан и пани переглянулись. Похоже, этот вопрос застал их врасплох. Действительно, вопрос какой-то антисоветский. Ибо: разные, но истинные поэты везде живут одинаково, потому что живут-то они на самом деле не в странах – живут в мире. Страны разные – мир один.

- А скажи-ка, Ренэ, как по-польски будет дом?

- Так и будет. Дом.

- А брат?

- Брат.

- А, например, жопа?

- Дупа, - отвечает Ренэ.

- Странно, - заметил Толя. – И стоило ли из-за одного слова разные языки придумывать...

## ЖДЁМ-С!

Утреннее радио голосом певца Добрынина объясняет народу, что такое казино: музыка, песни, вино...

И где же он встречал такое казино?

Народ, сроду в глаза не видевший такого игорного заведения, понимает, что и тут его надувают.

Он выключает радиоточку – и выходит на лавочку-скамеечку, чтобы поговорить о насущном.

– Говорят, что вселенная взорвётся через семь миллиардов лет.

– Через скоко?

– Через семь, говорю, миллиардов.

– А-а-а... ну, тада ещё ничо...

– Чо ничо-то?

– Да я уж было испугался, что через семь миллионов...

Вот такой он, народ. Он ждёт.

А ждать – это самое что ни на есть надёжное дело. В конце концов, нам не остаётся ничего иного.

## ВОЗВЫШЕННОЕ И ЗЕМНОЕ

К слову сказать, спасибо тому, кто изобрёл сон. Это уже было в «Солярисе», дело прошлое – в фильме о будущем. Но то ли ещё будет, когда будет то, что и присниться не имело права! Когда разломится на сувенирные кусочки берлинская стена, и это явится как праздник, и 166 восторженных виолончелей станут разговаривать с небом на ты...

В одну из промежуточных новогодних ночей военным бортом спецрейса «Аддис-Абеба – Ташкент» мы возвращались на родину, в великую державу, в которой определить, кто самый мудрый, – сложно, а сказать, кто самый глупый, – опасно. Но было ещё чувство долга, точнее – просто долг, который ко многому обязывает особенно тогда, когда сумма его очень большая. Машину вели Деды Морозы, переодетые в форму ВВС.

*Нет ничего такого, чего б человек не смог,*

*Всё отдаётся родине, и душа, и тело...*

После бутылки армянского «Ахашени» я ушёл в сон. И привиделось мне, что я – бог, не игрушечный, настоящий... Восемь тысяч метров над землёй – высота не бог весть какая, но всё же приличная. И покуда я, обыкновенный бог, пребываю на своём месте, всё внизу будет о' кей: от зябких плечей Люси Гурченко до благополучного исхода дебатов в кнессете и британском парламенте. И аз воздам, и будут овцы сыты, и

волки-целки, то есть сущие вегетарианцы толстовского и гандийского толка. Паситесь, мирные народы!..

*И все эти люди прекрасны, да и сам я прекрасен, как бог,*

*А что до вышеизложенного, то это наше личное дело...*

И тут в моём восьмикилометровом величии образовалась трещинка. Я изнутри почувствовал неудобство. И я проснулся – от жажды, от нестерпимого желания глотка воды. И я понял: трудно быть богом. То ему покурить вдруг захочется, то до ветру приспичит, то ещё чего-нибудь, но ему никак невозможно позволить себе ни того, ни другого, ни третьего, ему нельзя даже на миг оставить без присмотра это неразумное, это вечно ребячливое человечество, которое уже столько веков всё балуется и балуется, то спичками, то ураном... А боги жаждут!

Одного глотка воды в пересохшую гортань оказалось достаточным, чтобы осознать себя слишком земным, и уже после этого поразмышлять о том, что страшен, вообще-то, не сам сон, а его толкование.

## ТРУБАДУР

Дома и стены помогают. Уж это точно. О, если бы стены могли говорить! If these walls could talk! Нет, не языком «битлзов». Обыкновенным горлышком нежнейшей флейты.

*«...на флейте водосточных труб...»*

*(из раннего, не израненного ещё Маяковского).*

В городе моей юности водосточные трубы содержались в образцовом порядке. Населённый пункт боролся за почётное звание города коммунистического быта.

И была ночь. И был я, отиравший стены дома под окнами возлюбленной одноклассницы. «Белая спина» – это как раз про меня.

«Я здесь!» Так возглашать было бы невероятной глупостью. Да и кто услышал бы мой застенчивый голос?

И тогда водосточные трубы служили мне рупором: их гармония вопреки предназначению устремлялась вверх, восходящим потоком, набирала мощь архангельских труб и резониру-

вала над спящим кварталом с акцентом ацтеков. А слова были очень русские, простенькие, знаки препинания обозначались высокими звёздочками...

*Я помню чудное мгновенье,  
Очаровательный урок,  
И ради вашего спасенья  
Был мак, как обморок, глубок...*

Бог его знает, как всё это такое и подобное складывалось и сочеталось: по одной строчке – Пушкин, Мандельштам, Евтушенко, Пастернак... Но это уже не флейта звучала. Орган. Так мне казалось.

Молодые мы были, дурные. Молодость прошла. Дурь осталась. Простите меня, водосточные трубы.

## **В ОТМЕРЕННЫЕ СРОКИ**

В тот день, когда моей дочери исполнилось 20 лет, я, неожиданно разволновавшийся, не нашёл ничего лучшего, как объявить ей с утра:

– Представь себе: двадцать лет! Столько времени отсидел в тюрьме один человек. Народовольский поэт Морозов!

Я хотел поразить дочкино воображение, но, кажется, это мне не удалось: она имела очень отвлечённое представление о тюрьме и эйфорила в пространстве цветущей юности...

В лето 2001-е пролетела над Байкалом большая белая птица, особенно желанная на краю всяческих ойкумен, палестин, кудыкиных гор, обрыва... Это был отнюдь не ангельский аурофлот. Это был Фестиваль Поэзии. «Праздник, который вернули людям». Так неожиданно мудро назвала его Вера Кутищева из областного комитета по культуре.

В самом деле, что это было? Пир во время чумы? Не знаю. Губернаторские выборы – угощение скоропортящегося, пир бывает только общим, но чума у каждого своя, персональная, иначе и быть не может в нашей стране, где потребление счастья есть дело сугубо индивидуальное: чтоб поделиться улыбкою своей – фи́га с два! В стране, где, наконец, исчезла опасность

быть понятным, но в повестке злобы дня по-прежнему торчит какой-нибудь румяно-скифский стихакер или очередной блюдун нравственных устоев, у которого на все вопросы припасен один и тот же ответ: «Ну и что!» – и этакое нучтожество преподносится за божий дар... Время дождей. Апология сырости, серости. Родина со всеми вытекающими последствиями. Какие стихи? Стихийное бедствие... Трагедии в небе и на земле. Взбесившиеся капельки, неисчислимой своей массой переполнившие все существующие чаши. Какие тут стихи? Российской поэзии точно Мальчишу-Кибальчишу: только бы день простоять да ночь продержаться.

И вот вдруг оказалось: человеческое движение (жест и поступок) не прерывается. Оно лишь угасает на время. Это доказала не только Галина Уланова. Это доказали люди с глазами игристыми, как весёлое вино. Они читали строчки не ради бога – ради радости. И даже у самого молодого из них, моего тёзки, вижу: что-то с головой не в порядке, нимб какой-то вокруг, да ещё и сияет...

И ещё вижу: поэзия – не поза. Поэзия – это позиция. А позиция – это не трин-трамвай, а – рысью по рося.

И ещё вижу: предварительное состояние большой веры – доверие, что и запротоколировала в душевной летописи наша Вера Кутищева, уже не маленькая. И я рад тому.

Литература, по большому счету, это же почти библейское: горькие хлеба предложения. Литература не учит, не пропагандирует, не призывает. Она пытается сделать так, чтобы человек не оказался немым, тем более в обществе, ещё зашоренном, зашарканном, зашторенном, заштопоренном, с избытком хамов и хамелеонов, с откровенно сучковатым электоратом, несущим свой крест, и серп, и молот, и жареные мыслята, и каждый друг друга на рубль дороже... Однако же, к нашему счастью, время работает по законам стихосложения, а не вычитания. Оно оставляет нам события (событие, совместно прожитое), как пёрышки большой белой птицы, те самые пёрышки, перья, которыми выписываются буквы от аз до я.

...Многие иркутяне помнят, как весной 1981 года Евг. Евтушенко привез фотовыставку «Мир глазами поэта». Год назад

в Худлите вышел его двухтомник избранного. Избранными, конечно же, оказались и читатели, потому что в то время книги не покупали, а доставали.

На закрытии выставки я предъявил поэту первый том – для автографа. Евтушенко пишет, а у самого уши «топориком»: идеологическая дама с шиньоном из горкома КПСС начала подводить итоги и застенчиво, но настойчиво произнесла антисоветское слово «порнография». Речь шла о таком фотосюжете: обнаженная беременная женщина, перед ней – голенький мальчугашечка, и пальчиком нажимает на мамин пупок... Название гласило: «Звонок к младшему брату». Евтушенко нахмурился.

– Давай-ка, – сказал он мне, – сейчас с письмом покончим и перейдем к дамам. А второй том я тебе подпишу попозже... Потом. Лет через двадцать.

Он был по-серьёзному весел.

В один из дней Байкальского Фестиваля Поэзии я подал поэту второй том:

– Уж ровно двадцать лет прошло. Гоните должок, Евгений Александрович.

– Двадцать? Ни хрена себе...

Евтушенко по натуре своей размашист и щедр. Однако отмерять время в таких порциях уже не стал. И потому был повесёлому серьёзен.

Простились на год. До свидания. До новой птицы.

Ибо так сказано: «всему свой срок» – в том числе и сорокаам-стрекотухам, и сорочинским ярмаркам, и народной воле, и стихам.

Сроки и уроки.

## **ТОНКИЕ НАМЁКИ НА ТОЛСТЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Нынешним компьютерщикам и ксерокопиистам, пожалуй, ровно ничего не скажет фраза: «Эрика берёт шесть копий».

А между тем, эти слова во второй половине российского двадцатого века являлись как бы паролем для людей, посвящённых в некое таинство.

То была пора «самиздата».

Торфяное болото начинало выгорать изнутри.

«Эрика» – марка гэдээровской пишмашинки.

«Берёт» – словечко из профессионального лексикона тех, кто так или иначе работает с текстом.

«Шесть» – количество экземпляров при одной заправке, причём, последний – самый бледненький, уже трудночитаемый, на папиросной бумаге.

«Эрика» берёт шесть копий!

Кстати, «брали» иногда и владельца «Эрики», потому как каждая пишущая машинка имела свой номер и, как средство размножения текстов, состояла на учёте в КГБ вместе с образцом своего шрифта. И «Эрику» тоже, естественно, «брали» – в качестве вещественного доказательства в уголовных делах по соответствующим статьям.

Статьи – для копий? Так, всё так.

Статьи как копья, которыми обвиняемых в антисоветской агитации и пропаганде тыркали под рёбра: «Отрекись!»

В ту глухо ворчащую пору я напечатал одним пальцем, через один интервал, плотненько – крамольные булгаковское «Собачье сердце» и платоновский «Котлован». Впрочем, стук машинок в то время разносился уже по всей стране. И стук этот даже заглушал стукотню «патриотов-шестёрок».

...Пишу и думаю: что ни слово – то аллюзия: и стук, и брать, и копии, и цифра шесть, и сама «Эрика» как эврика, земля вожденная.

## ЧЕМ ПАХНЕТ «САМИЗДАТ»?

Бывший иркутянин, писатель-диссидент, отмотавший положенный срок, Борис Черных ответил бы на этот вопрос с великим знанием дела, с чёткостью – вплоть до знаков препинания:

– Статья 70 Уголовного кодекса РСФСР. В редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1984 года. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих Советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет...

От двух до пяти! Это вам, братцы, не весёлая книжица Корнея Чуковского о премудростях детской речи! Нет. Имеются в виду другие авторы, запрещённые: Солженицын, Булгаков, Андрей Платонов...

– Те же деяния, – продолжит Черных, – совершённые с использованием денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этих организаций, либо лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершённые в военное время, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки. Точка. Понятно?

Понятно. Но всё-таки я не получил бы ответа на свой вопрос: чем же пахнет «самиздат»?

Близкий друг и потенциальный, но несостоявшийся подельник Черных писатель Геннадий Хороших, ушедший в чиновники губернской администрации, ответил бы на мой вопрос с наименьшей компетентностью.

– Статья 190-прим, – сказал бы он. – Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами на срок до 2 лет или штрафом до 300 рублей. Статья в редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 года. Понятно?

Понятно. Только не очень. Чем же всё-таки пахнет «самиздат»?

И тогда я спросил бы третьего свидетеля того времени, ибо в России (да и в уголовных делах тоже) третий никогда лишним не бывает. Он может оказаться даже более органичным, беспредельно гармоничным и не менее прочих разбираться в писательских делах. Такой органист-гармонист всегда отчеканит протокольное воспоминание на лирической волне... воспоминание о том, что у российского «самиздата» был чудный запах: бразильский, аргентинский, уругвайский, чилийский... Запах кофе. Из экзотики он переходил в модный обычай. Ко всему прочему, на пик расцвета «самиздата» как раз и выпадало время появления и распространения в Советском Союзе венгерских кофеварок. Не так ли?

И третий свидетель этого дела непременно в знак согласия кивнул бы головой. Ещё бы ему не кивнуть! Он знает. Бывший полковник КГБ Юрий Гуртовой, нынешний иркутский областной лидер Российской партии пенсионеров. В Москву хочет, законы писать – баллотируется кандидатом в депутаты Государственной Думы. У него прекрасное чутьё, даже, я бы сказал, нюх. Он совершенно верно ответил бы на мой вопрос: чем пахнет «самиздат»? Кофе по-черным. Почти реквием.

## **ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО...**

«Как упоительны в России вечера...»

Радио России накручивает свеженький новорусский романс. И при этом совершенно неважно, кто именно романсирует, потому что все они – эти сладкоголосые мармеладзе и прочие малинины – на одно лицо, на один манер.

«Как упоительны в России вечера...»

Да уж, действительно. Это только после большого перепоя может такое померещиться, не чёрт, но отдельные чёрточки: балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки, любовь, шампанское, закаты, переулки...

«Как упоительны в России вечера...»

Утром ещё не встанешь, а голова уже ходит ходуном, трещит по швам, разламывается... Безумная тоска и виноватость. Прокурвленная комната. Дышать нечем и незачем. Не с кем ни обнажитья, ни обнадёжитья. Времени даже для страданий катастрофически не хватает. Потому как – нагрузки. И всё без закуски. Потому как среднестатистический русский – это вам не какой-нибудь джентльмен, супермен, бизнесмен или туркмен, который всю жизнь ест и ест...

Нет, братцы, так упоительно жить дальше нельзя. Невозможно. Надо что-то решительно изменять: или себя, или Россию, или вечера. Как говаривал первочеловек Адам, необходимо поставить вопрос ребром.

Ощупываюсь. Рёбра есть. Вопросов нету.

«Как упоительны в России вечера...»

## ПРЕОБРАЖЕНИЕ

После жесточайшей ночной пьянки мужик в драной тельняшке с трудом продирает глаза, лихорадочно опохмеляется, а руки трясутся, и горлышко бутылки лязгает по зубам... Потом мужик кое-как натягивает штаны, не попадая ногами туда, куда надо... В чёрную сутану он облачается уже увереннее... и вот он выходит из дома. И пока доходит до храма божьего, он становится прямо-таки на глазах благообразным священником, человеческое начало этого запойного мужичка незаметно преобразается в святое и высокое...

Всего лишь эпизод из французского кинофильма «Охота», который очень по-русски сделал грузин Отар Иоселиани.

## «ПРИИДИТЕ ВСЕ СТРАЖДУЩИЕ...»

«Что делать?!»

Водку с таким названием продают в Саратове на улице Чернышевского, в магазинчике неподалёку от дома-музея Николая Гавриловича, российского борца «за свержение всех старых властей». Такую характеристику борцу дал когда-то

другой борец, автор книги с названием «Что делать?» – товарищ Ленин.

Вышеупомянутый вопрос в России всегда актуален. Это заметили авторы водочной этикетки: не зря же они добавили к знаку вопросительному ещё и восклицательный.

## ДИЛЕТАНТ

Двухтысячный март принёс в Россию из Брюсселя запах Родины и радостное известие: сибирская водка «Отечество» стала лауреатом Одиннадцатого всемирного конкурса вин и спиртных напитков.

– У русской водки много ароматов запаха и оттенков вкуса, – сказал тележурналистам один из опытейших европейских дегустаторов, пригубивший пару миллиграммов нашей национальной гордости.

Ёлки-палки! Он нам ещё будет рассказывать!..

## ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...

Деревянный рубль прямо пропорционален деревянному патриотизму.

Ну, не может же лес быть по-леоновски «русским»! Лес не имеет национальности. И канадские берёзы ничуть не хуже российских, вокруг которых и вертится вся квазипатриотическая гуманность.

*Отгумани́ла ро́ща золо́тая  
Берёзовым весе́лым языком?*

... У Бродского есть стихи, не помню, пересказываю: лес - это часть полена, и зачем весь лес, когда есть часть леса, полено, и зачем вся дева, когда есть колено...

Вот я и говорю: зачем нужен писатель, тем более еще живой, когда уже есть его книги, ставшие вашими?

## КРАЕУГОЛЬНЫЙ ВОПРОС

Однажды собрались в застолье (после баньки? на охотничьем привале? в Дубовой гостиной ЦДЛ? – неважно...) четыре известных поэта и, как водится между известными поэтами, зафехтовали в споре.

– Поэт в России больше, чем поэт! – задиристо крикнул Евтушенко.

– Поэтом можешь ты не быть, – желчно заметил Некрасов.

– Кем быть? – с детской непосредственностью пробасил Маяковский.

– Быть или не быть? Вот в чём вопрос! – водрузил краеугольный вопросительный камень Вильям Шекспир.

И все замолчали.

## РАЗНОВЕЛИКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Владимир Даль посвятил слову «великий» почти полторы страницы своего словаря.

В качестве первого и главного значения этого слова Даль называет «превышающий обычную меру, сравнительно с другими обширный, большой». Отсюда и «величие» с «величеством» есть не что иное, как большие объём, величина или пространство... А уж потом пошли иные причудливые образования: вельможа, например.

Многозначность (полисемия) слова прямо пропорциональна частоте его употребления. «Великий» – из ряда многоговорения, и каждый раз нужно угадывать то значение, которое имеется в виду.

Если кутузовское «Велика Россия, а отступать некуда» есть географически-территориальная огромность, то Столыпин, противопоставляя «великую Россию» «великим потрясениям» подразумевал под величием богатство, процветание и благосостояние страны и её граждан.

Так что, граждане, не станем самообольщаться. Одинаково возможны великий святой и великий злодей, великий урожай и великий голод, великий инквизитор и великий комбинатор,

процветающий Великий Новгород и умирающие Великие Луки, великий почин, великие стройки коммунизма, Великая Октябрьская и Великая Отечественная, великие вожди... Великое разочарование. И великая скорбь.

Податливость слова Добру и Злу замечена историком Костомаровым. «Следует строго отличать великое от крупного, – писал он. – Сочувственное название великого должно давать только тому, что способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству».

## О НИЧТОЖНОСТИ ВЕЛИКИХ НАЦИЙ

«Противник предательски обстрелял наши самолёты, мирно бомбившие его города».

О ком это? О чём это? По какому поводу произнесено или написано?

Карел Чапек – относительно больших и малых наций и о том явлении, которое в конце XX века бывшие коммунисты станут именовать «патриотизмом». Тут вам и Великороссия, и Сербия 99-го года, и Чечня...

«Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищали её. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали своё положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным, как чувство самосохранения».

Это уже Лев Толстой – о том периоде российской истории, когда «большая нация» приумножала своё величие посредством своеговольного (на словах же – добровольного) присоединения Чечни.

За свои так называемые антипатриотические взгляды и антипатию к великодержавности Толстому крепко доставалось от российских государственников ещё при жизни. Но вот наступили постсоветские времена – и великого старца пнул патриот Валентин Распутин: а не будь русофобом! а не изучай на старости лет древнееврейский язык! а не води дружбу с разными там Гольденвейзерами! а не придумывай таких своих литературных героев, которые вступают в масонскую ложу!

«Последнее прибежище негодяя» сдаётся в аренду.

## НАСЧЁТ ГУСАРСТВА

После авторского концерта Юлия Кима в иркутской филармонии мы сидим в комнате администратора, кофий распиваем, весело помалкиваем. Хитро помалкиваем.

Наконец, спрашиваю:

– Да?

– Ну да! – отвечает Ким.

– Гусар, значит?

– Ага! Два гусара!

– Как в расшитом седле и черкеске? Я гарцую на резвом коне?

Это я разудалые строчки из Кимовой гусарской песни выразительно продекламировал, с подковыркой.

– Какие же у гусар черкески, Юлий Черкесович? У гусар ментики!

Задумался Юлий Черчесович, прищурился, глаз вообще не стало видно. Допил чашечку и аккуратно на стол поставил:

– А всё равно песенка хорошая.

– Славная песенка, – сказал я.

– Гусар и в Африке гусар, – добавил «концертмейстер» Володя Демчиков и щёлкнул фотокамерой.

## «НЕСКАЗАННОЕ, СИНЕЕ...»

Слово – не всегда звук. Написанное слово можно ведь и молча, одним только зрением воспринять. Так не противоестественно ли молчащее слово? Нет, нет. Больше того, вся метафизика русской литературы как раз и держится на сопряжении молчания и слова, на этаким двойном ударе по сознанию, на сугубом откровении. Томас Карлейль по этому поводу однажды во всеуслышание написал: «Молчание и речь, действуя совместно, дают двойную значимость». Это хорошо знают актёры, дипломаты и политики – люди родственных разговорных профессий. А что же – молчуны? Исключив из их числа не в меру болтливых писателей и художников, можно сказать, что и они рукотворно прикосновенны к феномену запечатлённого слова и изобразительной речи.

Живописец Владимир Владимирович Тетенькин не только знает, но – стоит на том, как конь перед травой. И в этом фольклорном самостоянии он, пожалуй, может титуловаться самым идейным из иркутских художников, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Да, именно – идейным. Разумеется, не по понятиям Союза советских художников, но по определению Крамского, неосторожно обронившего когда-то фразу о том, что без идеи нет искусства.

Есенинское «несказанное, синее, нежное» – вот что сокрыто в полотнах Тетенькина. И мне, созерцателю, хочется уже не только созерцать, но досочинить, придумать, домыслить, озвучить – всё то и о том, о чём умолчал идейный художник: почему, куда и зачем ушли жильцы из старого дома, катастрофически стареющего без людей? кем и для кого собран букет – не для трёхлитровой-же банки? и ещё эти маски, маски, маски – на портретах, где предполагаются лица, совершенные и несовершенные лица человеческие, и это является чистою правдой, но сокрытая и оттого ещё более пронзительная правда оказывается ещё и в том, что лица – не важнее масок, и только при этом условии может случиться, что портреты заговорят – в странном стечении молчания, речи и обстоятельств с чистотою подземных вод: Христа ради на маскараде... Возможно, я совершенно неправильный созерцатель и слишком охотно

поддаюсь любой провокации на нарушение тишины. В таком случае, Тетенькин – неправильный художник. И я его за это люблю.

Да ещё и загадываю: в день его юбилейного вернисажа все двести колоколов и колокольчиков из бывшей личной коллекции – церковные, станционные, поддужные, корабельные рынды, упряжные бубенцы, бурятские шаркунцы... – все они, доселе молчавшие, вдруг сами по себе, без участия музейных и прочих стационарных зрителей, – разом вздрогнут и согласно отзовутся – звоном бронзовым, зовом долгого родства, мелодией вечной и благодарной. Может быть, никто и не услышит того звона. Тетенькин услышит.

### **ЛИБО ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО, ЛИБО НЕ ЦАРСКОЕ...**

Это ж сколько нужно выпить за здоровье тостуемых художников, мастеров живописи и графики! Да к тому же – не в официально-банкетном великолепии, где даже прислуга обряжена во фраки и прочие официально-официантские бабочки, но – непосредственно на рабочем месте художника, на его трудовом фронте, на поле сражения худа без добра и добра без худа, в живописном ералаше студий и мастерских, с примитивнейшим прикладным искусством сервировки стола на скорую, но верную и безошибочную руку... Конечно, вопрос витал и подмигивал: пить или не пить? Однако же, Гамлет в этой теме, увы, «не копенгаген», то есть, говоря по-русски, даже не валялся, поскольку в своём датском королевстве он не имел ни малейшего представления о том, на какие жертвы (личные, а не публичные!) могут пойти некоторые, отдельно взятые за живое, евразийские женщины в диапазоне от царицы Тамары до нянюшки Арины Родионовны – и всё во имя введения соотечественников в храм искусства и искусствоведения. Кстати, в российском царстве-государстве это дело поставлено не только на скорую руку, но и на быструю ногу («Одна нога здесь, другая там!»), и, что самое важное, – с безукоризненной взаимностью. Вот почему на наше первичное восклицание

надобно взглянуть с другой стороны, с точки зрения обратной перспективы.

Это ж сколько нужно вылить слёз – мужских, скупых, горячих, но, ко всеобщему счастью, невоспламеняющихся – на жилетку сочувствующего субъекта, будь то хоть нянюшка, хоть царица! Да к тому же – в таком изобилии, пред которым померкнет стократ просоленная мировым океаном тельняшка отъявленного моремана... Бывает, что вот так они и стоят вместе в одном углу: носки художника и жилетка искусствоведа.

От царицы у Драницы только имя. Всё остальное – от нянюшки. В России она бессмертна, эта добрая старушка с кружкой.

И если принять во внимание, что искусствовед Тамара Григорьевна Драница принципиально предпочитает телосложению – теловычитание, то становится неоспоримым, почти научно-очевидным фактом наглядный пример её (вот уже и юбилейного!) существования: душа – не в теле, товарищи, душа – вне, вокруг: незримая аура, ореол, плазма, ток высокого напряжения: не прикасайся к нему грязными лапами – шибанёт! Впрочем, ищущий отзывчивой душевности может не опасаться, ибо всенепременно утешится и воспримет благодарный заряд.

За рядом – ряд: вот так и складывается галерея провинциальных подвижников – во взаимном крещении водою живой и мёртвой, от нашего престола – вашему, с профессионально-цеховым круглосуточным товариществом: «Наше вам с кисточкой!»

## КВАЛИФИКАЦИЯ

Деловой телефонный звонок французскому атташе по культуре Лорану Атталю:

- Когда намечаем randevu?
- Завтра, – отвечает. – Как бы после обеда.
- Говори, пожалуйста, точнее. Может, часов в пятнадцать?
- О, типа да!

Вообще-то, в узко специализированном смысле Лоран является атташе по вопросам французской и русской лингвистики. О чём, собственно, и свидетельствует его глубоко профессиональное погружение в тёмные недра ярчайшего русского разговорного языка первых лет XXI века.

## СТОЛОВЕРЧЕНИЕ

В один из дней Вампиловского театрального фестиваля-2003 в Иркутске вокруг «круглого стола» собрались люди, так или иначе причастные к музе лицедейства Мельпомене. Обсуждали проблемы современной драматургии.

Очень ругала пьесы нынешних авторов доктор филологических наук, профессор и член Союза писателей России, специалист по Распутину Надежда Степановна Тендитник, дама решительная во всех отношениях. – Сплошная порнуха и чернуха! – заявила она, и это случилось не в первый раз. – Слава богу, имеются в русской драматургии классики, способные вывести наш театр из тьмы к свету.

– Да уж, – сказал, смущённо побряхтывая, один из приезжих театральных критиков. – Я вот всё думаю, думаю, причём всё на ту же тему, о которой только что заявила уважаемый профессор...

Говорит критик, а сам смотрит пристально на Надежду Степановну, а та одобрительно кивает ему сухонькой своей литературоведческой головкой.

– Возьмём, например, одну пьесу, – продолжил критик. – Автор выводит в действующие лица человека совершенно аморального, опустившегося, лишённого возвышенных идеалов и житейских принципов, этот тип пьянствует, сожительствует, не любя, с несколькими женщинами, а родившегося от него ребёнка умерщвляет самым дичайшим способом: кладёт на детскую головку доску и наступает на неё своей преступной ногой...

– Ужас какой! – восклицает профессор Надежда Степановна и чуть ли не стучит сухоньким своим

литературоведческим кулачком. – Откуда берётся такая чернуха? Кто автор?

– «Власть тьмы», – смиренно, точно студент на экзамене, отвечает критик. – Лев Николаевич Толстой. У него, кстати, ещё и про живой труп есть...

И «стол» закруглился сам собой. И столоверчение закончилось. Что же осталось? Немногое. Осталось воскликнуть так, как это делали Никита с Акулиною «в обновках» из толстовской пьесы: «Ох, гасите свет! Не хочу чаю, убирайте водку!»...

## ЗИМА И МУЗЫ

Не избежать обильного цитирования. Единственное оправдание: нижеследующие тексты вряд ли могут претендовать на переиздание.

Итак, примемся за компиляцию, благословясь.

Есть в Иркутске сочинитель детских стишков. Член Союза писателей России. Круглолицый, лохматый, с виду добродушный простяк и весёлый философ, вылитый добрый леший или дедушка-домовой. Лес любит, речку, всякую живность. А ещё лепит из глины игрушки для ребятишек младшего, среднего и старшего школьного возраста: сви-стульки, зайчики, птички...

И вот однажды слепил он сочинение для взрослых под названием «Ган и Гнус», а сочинению предпослал эпиграф из Евтушенко:

*Моя фамилия Россия,  
А Евтушенко псевдоним.*

Тут потребуется предварить мои заметки небольшой справочкой: кратенькие отрывки из «Автобиографии» Евтушенко с пространной преамбулой.

«Автобиография» впервые была опубликована в начале 1962 года во французском журнале «Экспресс» и в западногерманской газете «Ди цайт». Её перевели на десятки иностранных языков, а в СССР она стала поводом для гонений

на 30-летнего поэта. Прошли срочные пленумы творческих союзов, пленум ЦК ВЛКСМ, собрания в трудовых коллективах чуть ли не по всей стране – и всюду клеймили «предательство» Евгения Евтушенко. А за «клеймением», в сущности, стояло вот что: кое-кому не давала спокойно жить необычайная популярность поэта, независимость суждений, слишком откровенный антисталинистский пафос. Это беспокоило не только советских писателей. Никита Хрущёв откровенно пригрозил поэту на встрече с работниками культуры и искусства 8 марта 1963 года.

Однако самое парадоксальное происходило не в родных пенатах, а за границей. Там «Автобиографию» расценили как прокоммунистическую пропаганду. В ФРГ закрутилась мощная кампания против «Ди цайт». Во франкистской Испании «Автобиография» изымалась из книжных магазинов и киосков, как запрещённая литература. Выступая в Париже через несколько дней после опубликования сочинения Евтушенко, лидер компартии Жак Дюкло, высоко оценив его, заявил, что многие люди, покинувшие ФКП в 1956 году во время венгерских событий, стали снова возвращаться в партию, решительно поверив в положительные изменения, происходящие в Советском Союзе...

Итак, несколько извлечений из «Автобиографии».

«Мой дед по отцу – Ермолай Евтушенко – полуграмотный солдат, был одним из организаторов крестьянского движения на Урале и в Восточной Сибири. Потом он учился в военной академии, стал комбригом и занимал крупный пост заместителя начальника артиллерии РККА. Но даже в военной форме с двумя ромбами в каждой петлице он оставался крестьянином, верящим в революцию так же религиозно, как в бога... Дед был арестован по обвинению в государственной измене в 1938 году».

«Другой дед – по матери: сутулый седобородый латыш Рудольф Вильгельмович Гангнус, по книгам которого изучали геометрию в советской школе. Он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Латвии».

А теперь вернёмся, как говорится, к нашим баранам, а именно: к сочинителю детских стихов Михаилу Трофимову.

«Ган и Гнус» – так озаглавил он своё сочинение, напечатанное в газете «Родная земля» (29 апреля 2000 г.) под рубрикой «Без улыбки».

*Вдруг явились к нам на Русь  
два братана – Ган и Гнус.  
Ган был прыткий мальчуган  
и немного хулиган.  
Он носил большой наган,  
был в искусстве не профан,  
Ган объездил много стран.*

*Гнус был трус, носил картуз,  
он имел короткий ус,  
был не русский, хоть и рус,  
изнутри совсем был пуст,  
проглотить хотел арбуз.*

*Был он тонкий, как жердя.  
По Святой Руси бродя,  
Гнус исколесил всю Русь,  
Гнус тогда в великой силе  
был на теле у России.*

*Но сказали Гану: – Ну-с,  
ты хоть Ган, но тоже Гнус –  
опечатывал «Союз»,  
сочинял властям в угоду,  
слали презрение к народу.  
У тебя вороний нос,  
на друзей писал донос.  
Предавал и продавал,  
в долг копейки не давал.  
Все увидели – ты гнус,  
Ган и Гнус один союз,  
ваша подлая душонка,  
вы назвались Евтушенко.*

*Но поднялся ураган:  
Ган удрапал в Ватикан,  
Гнус ушёл в другой «Союз»*

*и обрил короткий ус.*

Всё!

Демьяну Бедному и Сергею Михалкову после такой политсатиры – хоть застрелись!

А мы перелистнём несколько страниц иркутской литературной летописи.

В середине 2003 года состоялся 3-й Фестиваль поэзии на Байкале, совпавший с 70-летием Евтушенко, стоявшим у истоков этого поэтического праздника; во время первого фестиваля был восстановлен в Зиме дом, в котором прошло детство поэта, ставший с тех пор Домом поэзии, одним из культурных центров города. Фестивальным сподвижником Евтушенко с самого начала выступал поэт Анатолий Кобенков. В начале 2003 года он издал к своему 55-летию томик избранного. Там есть такие стихи:

*До чего же я жил бестолково!  
Захотелось мне жить помудрей:  
вот и еду в музей Кобенкова,  
в самый тихий на свете музей.  
Открывайте мне дверь побыстрее!  
И, тихонько ключами звеня,  
открывает мне сторож музея,  
постаревшая мама моя...*

Третий фестиваль прокатился по всей области при переполненных залах. Факт!

Но вот прошло две недели, как уехал Евтушенко. И вышел в свет свежий номер уже знакомой «Родной земли» (18 авг. 2003 г.) со стихиками, озаглавленными «Музей Евтушенко». Два эпиграфа. Первый:

*«Славу добыл я не задарма»...  
Понимаем. Ясного ясней –  
Хочешь ты, чтоб нищая Зима  
Для тебя построила музей.  
(Виктор Зувев)*

И второй эпиграф – из Кобенкова:

*Вот и еду в Музей Кобенкова,  
в самый тихий на свете музей...*

Читаем:

*Парадоксы времени безумного:  
Вот поэт почти безумным стал –  
Он себя, кичливого и шумного,  
Подсадил на шаткий пьедестал.  
О музее личном беспокоится,  
Пишет губернатору поэт.  
Всё ж сначала надо упокоиться,  
А музей уж будет или нет?!  
Пашня жизни мусором засеяна.  
Светом, добродетелью засеи.  
Не представить гения Есенина,  
Чтоб радел за собственный музей!  
Евтушенко прибыл из Америки  
И тревогу на Руси забил:  
«Как же это? – бьётся он в истерике, –  
Я ж в России не был или был?  
Я ж когда-то ратовал за Ленина,  
Сталину подхлопывал, как друг.  
Почему зиминцы ошаленные  
Дом поэта разломали вдруг?»  
Эй, поэт, подумай по-хорошему,  
В тишине поразмышляй сперва:  
Почему твой дом полузаброшенный  
Растащили люди на дрова?  
Но кричит он: «Я за злодеяния  
Отомищу своею мощью всей.  
Будете, зиминцы окаянные,  
Мне при жизни создавать музей.  
Стройте и трудитесь хорошенечко,  
Это наказание будет вам.  
Сам же я на стройку евтушеночью  
Ни рубля, ни доллара не дам!»  
...Вот и фотокарточки развешены...  
Как же это посреди веков*

*На своих музеях вы помешаны  
С Евтушенкой Толя Кобенков!*

Автор стихов – Владимир Скиф, известный куплетист и массовик-затейник, сочинитель вполне взрослых виршей, член Союза писателей России, он же свояк Валентина Распутина. По большому счёту, Скиф как литератор есть ноль без палочки, но если к нолику эту палочку-единичку в лице Распутина приложить, так уже целая десятка образуется, а для крепости к десятке ещё десяток нолей прицепить можно...

Как минимум, два замечания-комментария потребуются, чтобы хоть малость прояснить злободневную атмосферу.

Первое. Ему ли, Скифу, не знать, что уж который год, да «посреди веков» на родине свояка функционирует музей В.Г.Распутина? И фотокарточки развешены, и рекламный ролик (или документальная кинолента) снят и по областному телевидению крутится-вертится: Распутин на родине, Распутин среди земляков, Распутин в музее собственного имени... И ничего. Скиф не возражает, и не взирает на то, что свояк ещё не упокоился.

Второе замечание. Отчего это так возбудился Скиф относительно Кобенкова? Старая принципиальная вражда имеет основание. Но объяснение нынешнему афронту можно найти и в следующем.

К началу III Фестиваля поэзии Союзом российских писателей был издан второй номер альманаха «Иркутское время» со статьёй Кобенкова «Между городом Да и городом Нет», посвящённой Евгению Евтушенко.

Цитирую.

*«...Я оказался в Зиме – в той точке, откуда Евтушенко начинался.*

*Ещё жив был его дядя, ещё многие помнили его школьником, отчего чуть ли не через одного рекомендовались, как его приятели.*

*Отчитав стихи тем и этим, мы ныряли под крышу гостиницы, глушили себя дешёвым пойлом и затем, послушные ему, мчали по Зиме, кто – за зиминскими Хлоями, кто – в дом Евтушенко.*

*Я (то ли из-за Хлои, то ли из-за смущения) до этого дома так ни разу и не дошёл, зато один из моих коллег не только дошёл, но и, набравничавшись в нём с евтушенковским родственником, выкрал из него почти продырявленный ржавью горшок, на котором, по велению его воспалённого воображения, должен был восседать во своём младенчестве не кто иной, как ныне известный всему миру поэт.*

*Кажется, я нашёл минутку-другую, чтобы почти позавидовать этому, как мне тогда казалось, самому удачливому из моих коллег...*

*Потом по Иркутску поползли слухи, из коих следовало, что поэт такой-то держит на одном из своих стеллажей горшок, на котором восседал, будучи ещё совсем несмышлёнышем, сам Евтушенко, а чуть позже, когда мы уже стали – и физически, и группово – распадаться, сей счастливчик стал бранить Евтушенко почём зря и где ни попадя.*

*Это вообще тенденция, моветон литературного предбанника, в котором не продохнуть от зависти, неутолённых и неутоляемых амбиций, где общее – брань в адрес тех, кто на виду, кто, в отличие от большинства, случился, получился, состоялся...*

*Чем более в нашем литературном предбаннике несостоявшихся, тем более в нём... ниспровергателей Евтушенко.*

*Разумеется, что впереди не кто-нибудь, а стихотворец с горшком. Вчера, не боясь быть смешным, он держал его на заветной полке, сегодня, не страшась прослыть неблагодарным, он метит им в того, из-под чьей заиньки, трепеща от восторга, некогда выкрал.*

*В литературе, как и в жизни, существует то, что социологи называют толпой – возмущением масс или ропотом черни.*

*Это она, литературная чернь, никак не может простить себе свой вчерашний восторг по отношению к тому, против которого её сегодня (не вчера ли?) настроили. Это она сжигала чучело Евтушенко, выдавая себя за христианскую паству по всем правилам пещерного варварства.*

*Это её некогда завели на «ропот возмущения» «румяные комсомольские вожди», блюстители полицейского порядка, числящиеся труженниками по линии идеологической...»*

Статью Кобенкова перепечатал добрый десяток местных и центральных газет. Стихотворца с горшком единодушно опознали.

Осталось только назвать имя: Владимир Скиф.

Ему бы учиться, учиться и учиться, как завещал товарищ Ленин, а не засеивать мусором «пашню жизни». Но в 60 лет поздно уже, поздно...

А учиться надо – измлада и всю жизнь – не только искусству и жизни как таковой, но и искусству жить. Но вначале, конечно же, надобно знать Слово, русское слово, элементарную грамотность, которая позарез необходима как сочинителям стихов, так и их потребителям, и которая спасёт тех и других от дикости и бескультурия.

...В Зиме, отметившей 70-летие Евтушенко с искренним добродушием и сердечностью, поэту преподнесли в подарок казацкую шашку с гравированной надписью: «Земляку от земинцев».

Печальный подарок.

## **ПОСЛЕ ЗВУКА**

### **Послание к другу-стихотворцу, венчающее застольный разговор в застойные времена - с кратеньким прибавлением из сего дня**

...и поэтому точку в нашем разговоре мы с тобою, друг ситный-ситцевый, вряд ли сумеем поставить. Дай-то Бог свершить сие нашим детям, перед которыми нынче мы, седовласые «архипатры», предстаём немощными даже тогда, когда требуется всего-навсего триумфально угробить благоглупости букваря или экономической географии за десятый класс. Эта погибельная немощь в нас неистребима. Грустно. Человек, наконец-то, понял, каким ему нужно быть, но стать таковым у него уже нет ни сил, ни (главное!) времени. Поезд ушёл. Со скоростью звука. А после звука - что ж остаётся? Рельсы со

шпалами как лестница в обратную сторону, а точнее - опять в никуда.

Вот тебе, кстати, еще одна забавная житейская историйка - как раз из того же ряда, продолжающего наш давний разговор. Мой одноклассник Славка Захаров заделался мареманом, ходил в Сингапур, в Сидней и чёрт-те знает куда еще, потом перевелся в трал-флот и вот уже десятый год гоняется за селедкой в Атлантике. Видимся редко, но лучше бы и вовсе не видеться, честное слово: маклак и тряпичник. И вот я, бывало, наслушаюсь его и думаю: ну почему мы, представители огромной страны с ядерной кнопкой - и так робко, забито, испуганно ведем себя за границей? Моряков наших, видите ли, на чужой берег только тройками выпускают! Не четыре-пять-шесть, а самый оптимальный вариант - тройка, птица-тройка, лети на здоровье, и пусть от тебя, по Гоголю, шарахаются иные народы: тьфу, тьфу, сгинь, пропади, нечистая сила страны Советов... Тройки предписывает минфлотовская инструкция: придерживаться на чужой земле одного, чекистами протоптанного и завизированного, маршрута, отлучаться друг от друга только на расстояние взгляда, на дистанцию крика о помощи. Спрашиваю Славку: а за руки можно держаться? Можно, отвечает он, бывший когда-то юмористом. За «распад» такой тройки старшему группы начальство «ставит клизму», да и всему экипажу не поздоровится, и поэтому бродят наши мрачные тройцы (рублёвые - не рублёвские...), точно призраки коммунизма, по портовым городам Европы, Азии и, может быть, даже Латинской Америки - грустные, унылые, точно в клеши наклали; куда уж им, троикам, до чужеземных красот и достопримечательностей? У них одно-единственное в башке тикает: как бы невзначай друг дружку в толпе не потерять... Я узнал, что эти дурацкие правила были сочинены в наших канцеляриях примерно лет сорок назад - правила, единые на весь земной шар, на все карты, на все корабли, на все гавани мира... Моряки-то наши привыкли, а вот я, сухопутный, все никак не могу взять в толк: почему советским людям официально предписано такое недоверие, даже подозрение: дескать, ежели наш человек останется наедине с собой, то уж он наверняка отмочит что-нибудь несогласное с нашими светлыми

моральными принципами, и в том ему помогут если уж не акулы империализма, то какая-нибудь другая мелкая заморско-антисоветская рыбешка...

Славка старшим мотористом плавает. Сто десять рублей в месяц плюс премия. Это - зарплата для тех, кто по три месяца дома не бывает! И мне тогда подумалось, что маклачество при таком раскладе прямо-таки заранее запрограммировано; что в Госкомтруде или в Госкомцене, или еще где-то там, где решаются вопросы оплаты труда, - там явно превозобладала точка зрения: на хрена моряку приличная зарплата, если он валюту получает и, так сказать, остальным прочим, о чем деликатно умалчивается, добирает до нормального прожиточного уровня. И не за Славку мне было обидно - за державу, за то, что нашим соотечественникам приклеивают за кордоном презрительные ярлыки, и «хамунисты» - еще не самый худший из них. А самому Славке носиться с такими мыслями было небезопасно: могли счесть идейно неустойчивым и прикрыть визу. Но более всего я сам пытался кое в чем разобраться, от тех славкиных «троиц» отталкиваясь.

Конечно, говорил я самому себе, мы, как свободная нация, еще очень молоды. Всего-то сотню лет назад нашими прадедами помещик оплачивал карточные долги, а прабабок понуждал кормить грудями породистых щенков. Это было время, когда Англия давно имела «Хабеас корпус акт», Франция стала республикой, а скваттер, отхватив лакомый кусочек земли в Новой Англии, стоял с винчестером на его границах - и никто не отваживался их переступить. Мы в то время были нацией рабов. Сверху донизу - все рабы, как говорил Чернышевский. С горечью говорил. Но, к чести русской нации, рабами были не все. Кто и как - это уже другой вопрос. И я иногда с болью и недоумением думал о том, что будущим историкам ох как немало предстоит потрудиться, чтобы выяснить: что же такое творилось с русской нацией до и после Ленина, в тридцатые годы и позже, в «роковые сороковые», в полосатые пятидесятые, в оттепельно-дрожжевые шестидесятые, в болотные семидесятые, в межевые восьмидесятые?.. Люди, провозгласившие раскрепощение личности, духа и мысли, вдруг стали бояться всего на свете: власти, друг друга, своих детей,

самих себя. Занимая посты, они сидели на краешках кресел, и новых должностных табличек с указанием своей фамилии на дверях не вешали: все равно, дескать, скоро могут табличку снять, а самого человечка повесить. А потом стало - наоборот: кресла пожизненные. Но это пришло уже после того, как наши отцы и матери выиграли жесточайшую из войн, победили разруху, живя хоть и холодно-голодно, но с общими надеждами, валенками и гриппом. Первыми вышли в космос - и что же? Каждый из нас чувствовал, что чего-то не хватает, что нам что-то мешает жить и выдавить из себя ту рабскую каплю, о которой говорил Чехов и которая в силах отравить гражданина в каждом из нас. Газеты этого периода вряд ли помогут будущим историкам отыскать истину: в них - ложь. Мы были наитончайшими дипломатами, мы научились хитрить, ловчить, обманывать себя, друг друга, общество, в котором живем, и общество, которое по ту сторону наших границ. И - собственную семью. Расплатой за эти грехи стали наши дети...

Равнодушие и цинизм, нигилизм и прагматизм вытеснили стержень свободной души - смелость. Смелость - это сметь. Стало: «не должно сметь»... И вот что сказал по этому поводу активно забываемый нами скромный очеркист Валентин Овечкин: «Люди эпохи коммунизма будут очень смелыми. Смелость вообще надо бы ценить в человеке превыше всего. Без нее любое прекрасное качество теряет свою силу. Ум без смелости превращается не более как в хитрость, доброта - в слюнявую безвольную сентиментальность. А честность без смелости в общественной жизни совсем немыслима. Если же говорить о противоположном, то начало всех подлостей в человеке - трусость»...

Вот я и подошел к главному - к твоему вопросу, старик, в нашем незаконченном разговоре об отцах и детях. Во все времена считалось неприличным распускать слюни любви к властям, это всегда дурно пахло. Но ведь факт, что мы эту традицию нарушили, и не потому ли трибунное, околотрибунное и подтрибунное лицемерие стало привычным и почти неизбежным? Да, я вздрагиваю от слова «дорогой» - будь то холодильник, коньяк или политический деятель с гулким именем. Да, я чувствовал себя последним дураком в од-

ноименной шеренге, когда в газетах читал письма в пять-шесть строк от доярки, инженера, токаря, профессора и композитора - письма, осуждавшие Сахарова и Солженицына, а я не мог этого сделать честно и искренне, потому что не знал, что же они, наглухо засекреченный академик и гулаговский литератор, написали такое, изданное за границей, доступное простой доярке - и недоступное мне, дураку?

А однажды я услышал:

- Бардак, понимаешь, развели, гуманизмы разные... Вот при Сталине, например, несунув и в помине не было! За пять кило пшеницы - пять лет неба в крупную клетку, всего-то и делов!

Мне бы - доказать, что именно в тех, сталинских, беззакониях и лежат истоки многих сегодняшних бед. Надо доказать, а я не могу, потому что моя правота для меня - не вывод из тезиса, а реальная, прирученная очевидность. Как доказывать очевидное: что день - это день, что вода - мокрая, что дуб - это в первую очередь дерево, а уж потом - синоним дурака? Что беззаконие служит закваской для брожения зла в душах целых поколений... Что страх - это непреодолимый барьер на пути становления качеств истинного гражданина Отечества... Не доказал. Но слово было найдено - ключевое слово: страх. Откуда он пришёл, окаянный? Дело прошлое: Козин и Вергинский были запрещёнными певцами, Есенин — запрещённый поэт, джаз - запрещённая музыка, танго - запрещённый танец, «дудочки» - запрещённые штаны... Но тогда, в пору начальных моих сомнений, эти запрещения не вызывали страха и воспринимались как данность. Когда же, года через три после смерти Сталина, прорвало плотную атмосферу тогдашнего жития, - то хлынул свежий воздух, от которого люди с непривычки задохались, а не привыкнув, стрелялись и вешались. Но когда привыкли, вот тогда он и появился - страх, не столько за настоящее, сколько за недавно сгинувшее прошлое: как же мы могли жить раньше? и как же мы умудрились выжить в том ледниковом периоде?

По инерции, что ли, осталась сейчас в нас эта язва души человеческой? Правда, недавние «чернобровые» времена трудно вот так сразу взять и обозначить каким-то одним словом. Попытка возвращения к сталинизму? Его

реабилитация? Наверное, можно длинно и нудно сказать так: искусственное прекращение процесса очищения общества от скверны беззакония и произвола, после чего начался медленный обратный процесс - к оледенению. Главное же - стали быстро меняться ориентиры в воспитании людей: от гражданственности личности к непогрешимости и даже святости государственных постов. Чем выше - тем святее. А людей задурили целыми эшелонами торжеств и юбилеев - один за другим, под шум, треск, парадный тарарам; не дать задуматься, не дать осознать - куда же мы катимся? Так и въехали в тупик - с великим изумлением... Впрочем, было немало тех, кто задумался перед въездом в тупик, заинакомыслил, однако против таких шустриков имелось испытанное оружие: «замах на основы!» Стоило шустрику лишь заметить, что у советского бронепоезда буксы горят или пробуксовка на подъеме, как тотчас его осадят: «Ах, трах-тарарах, тебе не нравится советская власть и социализм?» Что ж, такое очень понятно звучало в 30-е годы из уст вчерашнего бедняка (лодыря и выпивохи), убежденного в том, что если сельсоветовская печать - у него в кармане, рядом с «левольвертом», так, значит, и советская власть - там же. А всего лишь пяток лет назад, уже при развитом социализме? Косность косяками повалила - печати негде ставить. У косности и оружия навалом: власть, круговая порука, партгорги, горторгп, ГБ и самый страшный монстр - бюрократия. Правда, за неприятную критику уже не сшибут пулей, и саблей не располовинят от темечка до копчика, газом не удушат, но - вполне системно доведут до самоубийства, инфаркта, инсульта, паралича, затаскают по верноподданным судам, укутут за решетку, в психушку воткнут, посадят, как репку, и поливать будут грязью, искалечат судьбу, вывернут наизнанку мозги и душу... Нет, не будем кривить душой. Живучесть страха и в нашем поколении не представляет собою большой загадки: на протяжении последних двадцати лет то и дело всплывали и кругами расходились слухи: дескать, вот-вот реабилитируют товарища Сталина, и сталинизм восстанет из обиженного гроба, и всех шустриков пересажают, и прополочку сделают... Так ведь точно и было: призывали его, рудого (кровавого!) пана-пасечника, призывали открыто и втихаря -

его, отче нашего, превзошедшего все поднебесные премудрости, человеческие или пчеловодческие, ему равно открыты... А я слушал, как Евтушенко с лицом Савонаролы в Иркутском Дворце спорта вытягивал из себя цепь и словно бы наматывал её на жестикулирующий кулак... Я слушал и думал: а что ему за это будет?

*О, вспомнят с чувством горького стыда  
Потомки наши, расправляясь с мерзостью,  
То время очень странное, когда  
Простую честность называли смелостью...*

Завещая потомкам судить виноватых, поэт оставлял за нашим поколением право хотя бы назвать их всех поименно: пусть, суки, знают, что, действуя против закона, совести и морали, любой кумир действует против своего народа, который не оставит содеянного незамеченным, ибо без неотвратимости возмездия, без нравственного очищения от скверны, без покаяния нелицемерного - теряет смысл девиз «Никто не забыт, ничто не забыто», наполняясь двусмысленностью. Многое забыто. И, видимо, поэтому не забыт страх.

Коснётся ли он детей наших? Они же - как раз те, по ком молчал колокол, но слишком долго звучали фанфары. Торжественные фанфары в общем-то по-человечески очень понятны, они всегда поднимали человека выше, под самый купол души, но фанфары, возведенные в принцип, в узаконенную и освященную ложь, - перестают служить делу победы... В детях нам надо искать свою вину, это очень важно для внуков. «Если предрассудки и заблуждения старого поколения насильно, с малых лет, вкореняются во впечатлительной душе ребенка, то просвещение и совершенствование целого народа надолго замедляется этим несчастным обстоятельством». Добролюбов, в двадцать-то восемь лет...

В общем, так: если я признал, что страх не изжит до конца из моей души, - так вот оно и объяснение многим моим позициям и поступкам. Страх не за себя. Страх за детей. Тайный страх. Не снаружи - изнутри. Однако же еще ни одному родителю никогда не удавалось утаить от своего дитяти того,

что именно лежит на дне этого «изнутри». Речь не о поступке - о состоянии. Это так забавно, что можно даже предположить: то, что тщательней всего родителями скрывается, именно оно в первую очередь переливается в детей. Однако не мало ли такого объяснения? Да, мы детей воспитывали. Как? Черт его знает. А школа, «Пионерская зорька», дядя Степа Михалков, комсомол убеждали их, что все вокруг очень замечательно. А дети (на нашу беду?) вовсе не идиоты, им быстрее нашего осточертел слюнявый оптимизм — сначала розовый и голубой, потом телячий, детсадовский, затем - пионерский, а в целом - казенный. Они видели, что замечательно — далеко не все, а многое так и вовсе дурное, дрянное, паршивенькое... И они приходили к нам с вопросами: кому верить? своим глазам или газете? своим ушам или учительнице? Одни отцы говорили им не то, что думали, а то, что, мол, «надо, Федя!»: чтобы детям было безопасно жить в этом мире, чтобы оградить их нервишки от противоречий, которые даже взрослым не всегда по силам. Сыновьям дарили голубые мечты, дочкам - розовые, но такую ложь наши юнцы и юницы раскусывали, как орешки, а результаты оказывались катастрофичными... Другие отцы говорили то, что думали - и смертельно рисковали детьми: ведь то, что у взрослых на языке вертится и может, отшумев, переродиться в бесшумные теоретические концепции, в пассивное ожидание перемен, - то же самое у молодых может вылиться в немедленное действие, и это тоже может обернуться катастрофой...

А что же я сделал? А я иезуитствовал. Я призывал верить своим глазам и своим ушам - и в то же время посочувствовать слабостям газетчика и учителя, толковавших нечто несообразующееся с очевидным. Очевидное - невероятное. Я превентивно удерживал детей своих от действий, приглушая в них искренние порывы. И что же? Именно в этой моей двойственности - решающая улика, свидетельствующая об остаточном, реликтовом страхе. Вот она, тяжкая инерция человеческой сущности, зараза, переползающая, точно вошь тифозная, из одного поколения в другое...

Ты мне трудный вопрос когда-то задал, старина. Мне трудно отвечать. Кому-то, наверняка, трудно слушать. Но ведь придёт

же такой день, в который за многое спросится. И если настанет время, когда за трусость будут обвинять и наказывать, то я хотел бы быть среди тех, кому оправдания нет и не будет.

А за сим, друг-стихотворец, воспоследует многоточие - знак препинания зело удивительный, категорический и подающий надежду...

Январь 1985

P.S. Странно: к слову «подающий» равноапостолюно приложимы всего только три имени существительных: надежда, милостыня, пример. Имеются, конечно, и иные пристяжные: завтрак, повод, поводья... однако все они, эти иные, как правило, случайны, прибудны и необременительны для сути существования - в отличие от вышеприведённой связки: три парочки слов - будто бы из одного храма вышли и пустились по миру, неразлучные, вроде советских морячков, сошедших из минфлотовской инструкции на чужедальний берег... Странно: по каким бы нуждающимся краям они ни шастали, по каким бы землям безнадежным, немилостивым, беспримерным они ни блуждали - нигде, кроме России, не встречаются они такого человека, для которого в великом и могучем языке не сыскалось бы названия более подходящего, чем «поддающий»; в нём, в одном, точно в святой троице, сходятся все три парные храмовые странники, стечение обстоятельств естественно равно стечению родственных душ, кроткому средостению, высокому сретению, и место встречи изменить нельзя... Странно, друг мой: без долгих слов, без причинно-следственных причитаний люди подающие с людьми Поддающими находят общий язык - со слезой, «с топотом и свистом», без знаков препинания... никаких проблем, пожалуйста, жалуйся и жалей - под «этим делом», оно не хуже иных прочих, не хуже слова, не хуже медной денежки, не хуже стыда, которое названо кумачом, и не хуже кумача бледнеющего - о чем? о том, что я тебя уважаю, и ты меня уважаешь; что пионер - всем ребятам пример; что милостыню Бог подаст; что надежда не умирает последней, она вообще не умирает, поскольку надежда - это булат, это легендарно-легированный булат, который живет вечно и тайну своего рождения и бессмертия не выдаст никому до тех пор,

покуда последнему дураку на земле не станет понятно, что молодые конфликты - это всего-навсего дети старых, бородатых проблем...

Вот, пожалуйста, любезный друг-стихотворец, такая вот получается силъ ву плешь. Она разделила нас - позавчерашних и сегодняшних. Она вместила в понятие «вчера» чуть ли не целую эпоху: две революции, заговоры, перевороты, войны, кровавые разборки, термоядерный апокалипсис, позор армейских знамен, крушение строгого режима, распад империи, низвержение казалось бы вечных кумиров... Спросим у врача: «Ну-с, что за игрища устраивают нервы?» «Такая система», - ответит водопродчик. «Всё бы ей играть, курве», - добавит актёр. И вмешается политик, и все будут правы, кроме тех, кто задаёт глупые вопросы... Всей этой плещи иному народу хватило бы на век-другой-третий, чтобы разглаживать да почесывать, а нам выпало - как снег на голову, за семь мифических лет. Не слишком ли тяжеловато это выпадение для двух старорежимно поддающих собеседников, которые, как им кажется, и без того снега увязли по уши в грехах всей человеческой истории? Слишком. Слишком. Этот лишек - та самая добавка, которая, оказавшись тяжелее основного веса, делает общий вес неподъемным. И поезд ушёл. И не надо спрашивать: куда? У матросов нет вопросов. Можно было бы и вообще успокоиться, как ожог успокаивается после вскрика: звук еще не умер - а уже не болит... Можно было бы, конечно. Если бы в то же «вчера» не родилась под знаком вопроса девочка, дочка твоя, стихотворец. Ей и адресую всё вышеизложенное как комментарий к отцовским стихам, и буду по крайней мере умиrotворён, если она, постигнув слово, не пошлёт поколение отцов туда, куда сейчас убегает революционный паровозик ихнего детства; обиженно ревуший, он шурует с такой искренностью, которая озаряет позади полнеба и впереди полнеба, до самого горизонта, а у того горизонта, оказывается, есть чёткие - пощупать можно! - краешки и закрайчики, потому что заводному паровозу выпал на долю не земной шар, а — блин! - первый блин, плоский, как острога висельника...

29 октября 1992 г.

## К ВОПРОСУ О ЧАСТНОСТЯХ ЖИЗНИ

В общежитии московского Литинститута имени Горького, в одной комнате в 70-е годы XX века проживали два поэта и один прозаик: Гена Островский, Толя Кобенков, Коля Коняев. Надежды юношей питали, но сытости от того пропитания не наблюдалось. С одной стороны, они были студентами, учившимися на писателей. Но, с другой стороны, они уже были писателями, только ещё учившимися быть студентами.

Пришёл как-то Островский в общагу «под мухой», с синяком, и с разгону начал объяснять Коняеву, что «тока-тока» закончился его творческий вечер. А Коля, заботливый и душевный, ему на стол тарелку щей метнул, сел напротив и побавь жалостливо щёки ладонями подпёр.

Гена ложку по тарелке возил, возил, но, видать, до того был утомлённый, что упал лицом вниз и успокоился. Хорошо друг Коля рядом оказался, вызвал «скорую» и утопленника под вой сирен и прочих общежитских муз увезли на откачку, в реанимацию.

А тут и Толя Кобенков прибыл, «под мухой», с синяком, и с разгону начал объяснять Коняеву, что в его творческом вечере «тока-тока» объявили перерыв до следующего воскресенья. А потом Толя увидел тарелку на столе, подсел и хлебать принялся.

Коняев, конечно, напротив товарища оказался, на всякий случай.

- В этих щах, - сказал он, - тока-тока Гена Островский утонул.

Кобенков тотчас отрезвел, принялся ворошить ложкой в капусте, в этой легендарной прародине человечества.

- Не ври, - сказал он Коле, - нету здесь никакого Гены...

Он уже тогда, ещё в студенчестве, подозревал, что в этом мире нет ничего невозможного.

А много позже я Кобенкова персонально предупреждал: «Берегись – увековечу!» Не прислушивается. Продолжает жить в глобальном мире во-о-от такусеньких подробностей, жить – как человек, обречённый словом, которому он верит подчас более, чем самому себе.

1999 г

## УРОКИ РОКА В ЧЕРТУГЕЕВСКОЙ КУПЕЛИ

Не композитор, не музыкант-исполнитель, не певец... Кто же? Бард? Нет, хоть и с гитарой. Миннезингер? Трубадур? Менестрель? Увы... Скажем так: более-менее-стрель. Алик Стуков. Человек, в общем-то, славный, компанейский. Бесхитростный, беззлобный, бесталанный. Вот он и рассказывает без задних мыслей сначала одному своему приятелю, а тот – другому, и пошло-поехало, коlobком покатилося – в апокрифическую историю провинциальной культуры...

Значит, так дело было. Писатель-баешник Анатолий Байбородин и Алик Стуков нанесли визит прозаику Глебу Пакулову. Визит проходил в тёплой дружественной обстановке.

Ближе к вечеру, когда стало смеркаться, стало ясно: надо бы добавить...

– В чём же дело! – воскликнул Глеб. – Пошли ко мне на лодочную станцию. Там у меня в моторке пиво есть, холоденькое. Это совсем рядышком.

Соглашение ратифицировали. Пошли. На глазах вечерело. Глеб с Байбородиным ещё бодрые, жизнерадостные и воодушевлённые. И только Алик вдруг споткнулся на полпути: ёлки-палки, куда мы идём? Понурился Алик, ноги затяжелели, стали сопротивляться направлению движения. И в душе похужело, и в голове тикает: лодка... водка... лодка... ё-моё, опасное же это дело – с Глебушкой на лодочке кататься... вон, Саня Вампилов однажды попробовал...

– Шевелись, Алик, – поторапливает Толик.

И Глеб подмигивает: шас, дескать, промочим горлышки...

По прибытии на место Алик первым делом убедился, что моторка прикована к мосткам чуть ли не мемориальной цепью, да ещё и с мощным замком.

– Крепко? – спросил у хозяина.

– Не сомневайся. Как декабрист к тачке.

Алик вздохнул, перекрестился – и троица нырнула в каюту.

И было всем хорошо: троице, лодке и пиву. Чего же большего желать? Чёрное небо в звёздах, плеск мелкой волны, йодистый запах моря, задушевность мужская – одна на троих... И всё закончилось прекрасно, ко взаимному удовлетворению сторон.

Но это только они так думали, что всё кончилось, когда выбрались из каюты. Кто-то, возможно, думал, иначе.

Встали дружно все втроем на борт лодки, ближней к мосткам, и лодка перевернулась.

А вода холодная. А глубина у мостков тоже не хилая. А темень вокруг такая, что хоть глаз выколи – ничего не увидишь: где, что, куда, за что хвататься – хрен разберёшь... Ещё пребывая с головой под водой, услышал Алик находчивый Глебушкин клич, воспаривший над водой:

– Спаси-те-е...

– Щас, – раздался глас в ночи.

Сторож лодочной станции, обходивший вверенный ему объект, оказался в нужный момент в нужном месте. С матюгами и военно-морским акцентом вытащил он из воды за шкирки троицу творцов, выбросил на деревянный настил и пошёл дальше по своим мокрым делам. Светил одинокий прожектор, и околородочный околоточный надзиратель шёл по узкому лучу, как...

«Как кто?» – думал Алик в позднем, навверное, последнем троллейбусе, весь ещё невыжатый, озябший и лязгающий: – «Может, то и вовсе не сторож был, а это... свыше? Благодать-то какая... Вот только заливчик не шибко хороший, однако! Чертугеевский!»

## РЕЧИТАТИВ НА ТРОИХ

...Что ж, никуда не денешься, придётся говорить о самом себе в третьем лице, в полном согласии с устной версией события, которая дошла до нас, как до Шахразады, правда, в том событии ночей было поменее, уж никак не тысяча и одна – всего лишь одна, и пули в проводах не свистели.

Итак, сидели в домашнем кабинете два мужчины аварийного типа: Диксон и его полуночный гость Александр Сергеевич Сёмкин, журналист из комсомольской «Молодёжки». Сидели не просто так, сидели небезынтересно и конструктивно, то есть водку пили. Со вчерашнего дня.

В течение суток уже были обсуждены вдоль и поперёк вопросы внешней и внутренней политики СССР, проанализирована международная обстановка, проведены взаимные опросы и дебаты, обозначены чёткие аналогии горбачёвских инициатив с реформами 1861 года Александра Второго-Освободителя.

И наступил тот самый момент, который всегда наступает в подобных присестах за рюмкой: от злобы дня собеседники поворотились в ретроспекцию, в недалёкое и далёкое прошлое, и воспоминания, представьте себе, даже как-то облагораживали их расплывчатые рожи, а они, два собутыльника, шли в разговоре всё дальше, дальше и дальше. Как в пьесе Шатрова...

И тут пришёл поэт Кобенков. Тоже, видать, не спалось: то ли рифмы заколебали, то ли новое мышление президента СССР.

И что же увидел поэт Кобенков? Сидят друг против друга два его товарища, промокшие от ностальгии и прокуренные табаком и дымом Отечества, и дикими голосами распевают дуэтом пионерские песни. Диксон гудел командирским баритоном, в котором вольготно раскатывалась буква «Р». А у соперника-песенника был пронзительный фальцет, тоже громкий, но очень противный. На диксоновской тельняшке и на белой рубашке Сёмкина красовались красные галстуки.

- Третьим будешь, - сказали Кобенкову.

- Буду, - ответил он, хотя его согласия, между прочим, никто и не спрашивал, его просто назначили.

Так образовалось трио. Три восклицательных О! О, Сёмкин! О, Диксон! О, Кобенков! Поэту наливали внеочередные рюмки, выравнивали, так сказать, внутреннее положение с внешним и приводили тройственный союз в соответствие со «статус кво». В результате чего заголосили уже троём...

*Взвейтесь кострами  
Синие ночи...*

И Кобенков подхватил:

*Карие очи,  
Очи дивочи...*

- И куда же тебя понесло, дорогой Коба, кобзарь ты наш биробиджанский? – спросили его. – Ты же ж, однако ж, в малороссийский романс залез! Как тебе не стыдно?

- А у меня галстука нету, - печально оправдывался поэт.

Надо непременно сказать, что певец из него хуже Диксона и Сёмкина вместе взятых. Вероятно, в дальневосточном детстве ему уссурийский медведь на ухо наступил нечаянно и до сих пор лапу не убирает. Мелодия в песне для Толи побоку, лишь бы размер да рифма имелись...

А что делать, когда третьего галстука нету? И решено было перевести Диксона, как старшего по воинскому званию, в комсомольцы. Перевели единогласно при одном воздержавшемся Диксоне. Сняли с него галстук, повязали Кобенкову.

- Будь готов!

- Всегда таков! – отчеканил поэт и левой рукой отсалютовал, правая-то была занята посудой.

Налили, чокнулись, поздравили юного пионера, обмыли... Александр Сергеевич даже губы не вытер и взвизгнул радостно:

*Взвейтесь кострами,  
Синие ночи...*

И Кобенков снова подхватил:

*Ночи безумные,  
Ночи бессонные,  
Речи несвязные,  
Взоры усталые...*

Бодро этак исполнил, ногой притопывал, но вдруг осёкся и виновато втянул шею в красный галстук.

- Виноват, братцы. Это меня Алексей Николаич Апухтин попутал...

- Не наливать больше Кобенкову! – предложил Сёмкин.

- Это не по-пионерски, - возразил Кобенков.

- Да, это даже как-то жестоко, - сказал Диксон прямо, по-комсомольски. – Начинать сначала, Александр Сергеич, пока ещё не поздно.

- Какое там поздно, когда уже рано? – ответил жизнерадостный Сёмкин и задрезбезджал тоненько-тоненько:

*Утро туманное,  
Утро седое,  
Нивы печальные,  
Снегом покрытые...*

Кобенков заёрзал. Он хотел сказать, что в пионерской песне на стишки Жарова утро не предусмотрено; что Александра Сергеича Сёмкина попутал Иван Сергеич Тургенев; что...и так далее. Но он не стал ничего говорить, видя, как старательно, чуть ли не со слезами на глазах, ностальгируют его товарищи по своей юности акварельной. И Кобенкову оставалось лишь присоединиться к ним и закончить песенку ко всеобщему и полному удовлетворению:

*Близится эра  
Светлых годов.  
Клик пионера:  
«Всегда будь готов!»*

После чего трио приступило к демонтажу советской власти в отечественной литературе.

## **НЕЧТО ПРО БАБ И КОЕ-ЧТО ПРО ВОКАЛИЗ ГРИГА**

Музыкально-поэтическая чета Кобенковых переехала на новую квартиру, в домище новый, девятиэтажный.

И начали супруги обустраивать свою Россию, квадратные метры ордероносной территории, малую родину, жилплощадь вожделенную.

Оля купила для кухни хорошенькие настенные шкафчики. И тут же скрючился перед Олей унылый традиционный вопрос: и кто же эти хорошенькие шкафчики будет к намеченным местам приспособлять? Ясное дело, не Толя. Толя в своём счастливом, впервые изысканном судьбою кабинетике, в крохотном государстве своём, автономном и суверенном,

суеверно-верноподданном... – сидел поэтический муж Толя на полу среди книжных стопок, перевязанных верёвочкой, попыхивал блаженной трубкой с нидерландским sweet cherry, улыбался, как дитё малое, ей-богу, как дурачок или какой-нибудь король-монах-гуру, медитация у него, видите ли, месячные головокружения, сакральное дело... Нет, не годится Толя к обустройству малой родины.

Телефонирует Оля старому мужнинуму другу Серёже Григорьеву, художнику, у того головокружения бывают пореже, поквартально, придёт, конечно, подсобит, он ведь и в старой квартире подсобил, рыбный натюрморт для кухни нарисовал, краски яркие, свежие, вкусные, и «рыбный день» на кобенковской кухне имел почти натуральное ежедневное присутствие...

Явился Григ, мастер на все руки. Помимо раз-плёвых мелочей в новосельном доме он ещё и шкафчики привесил. А Оля принялась распаковывать картонные коробки с чашками-ложками.

Дальше история драматизируется.

Чаще всего Оля кормила семью свою прямо из сковородки. Выгода от этого прямая: и посуду мыть не надо, и время экономится, и пианистические пальчики не грубеют. Однако же хорошую посуду Оля обожала и покупала, покупала, поелику возможно и покуда не наполнила битком те хорошенькие шкафчики. И вот однажды...

И вот однажды они обрушились, эти шкафчики, и весь НЗ сервизов и прочей красивой в своей девственности посуды – вдребезги. Конечно, явились слёзы и душевное неравновесие, и заслуженная истерика. И виновником того крушения-сокрушения, по Олиной версии, оказался этот Григ, а ещё друг называется...

И вновь был вызван Григ на кухонный коврик. Он выслушал Олю смиренно и целомудренно.

– Оля! – воскликнул Григ как бы по-итальянски, типа «о-ляля!», но по-русски этот тип означал: не надо ляля! и вообще, зачем нам такие нервы и крутой концерт типа сольфеджио?

При этом Григ не стал извлекать наружу внутренний голос своей ариозо-оратории, но внешне проявил завидное, прямо-

таки нечеловеческое великодушие. Он не стал говорить Оле о том, что она, вообще-то, хозяйка, мягко говоря, хреновая. Он сказал: да, шкафчики рухнули, но вот в чём, друзья мои, причина их обрушения? кто виноват? а виноваты, по-моему, многопудовые «бабы», те самые, которыми круглосуточно забивают в землю по соседству железобетонные сваи, строится новый дом, и вот эти «бабы» бабахают, от них идёт глобальное содрогание и сотрясение, но с этих «баб», увы, не спросишь...

– А с каких спросишь? – спросил Толя.

Дальше история ещё более драматизируется. Ибо разговор, уже при свидетельнице-бутылке, пошёл о так называемой «русской почве». Плюс – сопутствующее этой почве: война в Ираке, «Буря в пустыне», озоновая дыра в космосе...

На полу лежали бывшие сервизы.

В спальне рыдала Оля.

А за окном ухали «бабы», сотрясая серьёзный мужской творческий разговор и все его художественные окрестности.

## ТЕЛЕФОН И ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ЯЗЫЧЕСТВО

Уж наверняка многие сочинители рифмованных и нерифмованных строчек испытывают такой искуc нетерпения: немедленно, сию же минуту, с пылу-с жару поведать миру, в крайнем случае, пусть даже и одному человеку, свои свеженькие строчки, только что спорхнувшие с пера, новорожденные... Виват тебе, научно-технический прогресс! Слава тебе, господин персональный компьютер с электронной «емелькою»! Глория с исполатью тебе, телефончик приятности медовой, сотовой!

Правда, по ночам можно звонить не всем.

Мне Кобенков звонил.

...За пару месяцев до скоропостижного переселения в Москву состоялся полуночный цикл стихотворного прощания Анатолия с Иркутском. Одно из стихотворений заканчивалось так:

*Продлись до склона дней, губернский понедельник,  
с санями под крыльцо, с валторной под язык.*

Дальше – тишина. Лишь – прицокивание, причмокивание в телефонной трубке.

– Ты чего это, – спрашиваю, – телефончик целуешь?

– Да вот это, – отвечает, – самое... Дела сердешные...

Помолчали. Он причмокивал о своём. Я – о своём, о том, чего никому позже не говорил: о чём же... Сейчас скажу. Тогда мне в голову вдруг пришёл Рембо, стукнулся Бодлер – те пииты, которые стишками своими франкофонными превращали осколок бутылочного стекла в алмаз, и плевков – в слезу... и царственная Анна Андреевна погрезилась, объявившая сор-мусор обителью стихов... – и некоторый оргвывод на заданную тему явился, не запылится: вот, дескать, до какой низости надобно возвыситься, чтобы – волею небес? – оказаться причисленным к лику поэтов! к лику-то – не кликуха междусобойная!.. – но тут же, вперебивку, решительное со смущением является: да что мне до Рембо, до Бодлера, даже до самой Ахматовой? они – вон где! а мы-то – вот где, но я только что, клянусь мамой, доподлинно узнал: как, откуда, зачем и почему рождается поэзия, подлинная, настоящая, которая начинается так и тогда, где и когда под языком стихотворца валидол превращается в валторну... Оказывается, какое, в общем-то, оно простое и безыскусное, такое язычество. Правда, сплошь и рядом оно дорого обходится. Случается – ценою в жизнь.

И при этом совсем необязательно спрашивать: по ком звонит «Телеком».

## **ВОПИЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ НАРОДУ**

Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои. Дело в том, что дело не в шляпе. Дело в следующем. Вернисаж пермской писательницы Нины Горлановой в Иркутском доме литераторов им. Марка Сергеева ответил, по крайней мере, на один вопрос: нет вопросов для талантливого человека, живущего в пространстве, напичканном вопросами. Во всяком случае, этот человек делает всё

возможное для того, чтобы согбенные вопросительные знаки собственноручно выпрямить в восклицательные. Такова и Нина. Но таковы, наверняка, и многие женщины великой российской провинции.

Понятно: все рождаются под знаком определённого созвездия; живут – под знаком вопроса. Он и похож-то на крючок, на котором подвешено бытие с возвышенными и земными почти гамлетовскими рефлексиями: быть или есть? А надо и то, и другое. Вот она, Нина Горланова, и благоустраивает пространство: не парламентско-депутатскими способами, но – по-своему, по-женски, по-горлановски обустроивает мир, который рядом, до которого можно рукой дотронуться, и вот этой же рукой, дотронувшейся, что-то изменить, приспособить к потребной гармонии, в сторону любви, покоя и уюта. А ведь верно: что нам сто́ит дом построить? – нарисуем, будем жить! – а как нарисуем ту пермскую обитель, так и жить будем.

Так что, привет вам всем, горлановские глазастые домики, и горластые петухи, поющие всегда до востребования, и полевые букетики в стеклянных банках с водой, вокруг которых кружат крылённые добрые рыбки, великодушно уступившие своё законное место цветам. И тебе привет, Нина Горланова. Слышал, ты и стишки сочиняешь, нечто мальчишески-девически-озорное... про Фета-поэта... на фоне университета... Присоединяюсь:

*Здравствуй, Нина!*

*Вот тебе и моя картина:*

*Я, сударыня, тоже чихаю на Фета*

*С трёхколёсного, лисапета...*

Но ведь, согласитесь, – изуверство какое-то, прости господи, чтобы рисовать с двух сторон одной картонки! По одну сторону – петух, который нравится поэту Кобенкову, а на обороте – селёдка, которая мне по вкусу. И как прикажете делиться?

## ТРАКТАТ О ТРЁХ ИСКУШЕНИЯХ

Приходит срок всякой амортизации и эксплуатации – и сердечно-сосудистая система подаёт звоночек: эй, друг-курильщик, не пора ли завязывать с дымным фактором? подумай и одумайся, субъект этакий, пока не поздно...

Поэт Кобенков после первого инфаркта призадумался и в том призадуме сочинил стишок-прощание с курительной трубкой. Посредине прощания поэт воздвиг, будто памятник, интересный вопрос:

*Кто снится уходящему из жизни  
курильщику?..*

Выдержав паузу вдоха-выдоха, поэт выложил сугубо субъективное мнение:

*..... Обыкновенно  
курильщику, бегущему из жизни,  
и женщины являются, и дети,  
которых он – то спички потерявши,  
а то и трубку, – взял да напридумал:  
не покурить, так хоть поговорить.  
Они над ним, почти уже погасшим,  
на крылышках табачных пролетают,  
в руках у них табачные колечки,  
в устах – гобой папы Петерсона,  
в зубах – свирели папы Савинелли,  
а меж ключиц – бигбеновский тромбон.  
Да здравствует оркестрик слакримозой  
великого Моцарта, с аллилуйей  
Андре Форэ, и дирижёр-курильщик,  
и две трубы, поющие о трубках,  
и посему – подвинься, Dies Irae  
карающего Верди, дай взметнуться  
прелюдии картавых зажигалок...  
Жизнь кончилась, пора перекурить.*

Так-так, всё так, всё верно, все пьющие люди и курящие люди – братья, понятное дело... Только вот непонятно: откуда и почему эта музыка сфер табачных?

А – потому!

У кого что болит, тот о том и говорит: все книжки стихов Анатолия Кобенкова, от первой до десятой, наполнены музыкой: чистое стаккато в стакане...

*Кто на клавише гарцует,  
кто над клавишей кружит...  
Моцарт музыку танцует,  
Бах на оной возлежит.  
Глюк не мыслит без буфета  
и без пунша – никакой,  
ибо с пуншем больше света  
и внушительней покой...*

...«дудочка моя, дружок» – «валторна под язык» – «вся в молниях смычка виолончель в коленках, и солон кларнетист» – «когда сержант Попов играет на кларнете и друг мой Закирбек играет на трубе» – «жил таракан, и музыка играла» – «и с песенкой в зубах приходит жизнь к народонаселению»...

*А у Генделя зевота  
в трудовлажные часы,  
а Сальери носит ноты  
на товарные весы...  
А у Гайдна гаснут свечи,  
чтобы мы могли сойти  
в ад почти по-человечьи  
и по-божески почти...*

...«стучат барабаны и дуют в дуду, и музыка – воздуха шире» – «мотивчик бы такой сыскать, чтоб – жизни не смешнее, и чтобы – из неё и в то же время – над»...

Собственно говоря, и говорить-то, тем более языком прозы, на тему двуединства Каллиопы с песнопеньем и Эвтерпы с поэзией вряд ли нужно: родственные их узы-музы очевидны, первая чуть-чуть постарше, на каких-то десятках тысячелетий, исторический миг времени тому назад; вторая – чуть-чуть помладше... и сошлись они в человечестве по-родственному, по-свойски, легко и просто, и пошли с ним дальше по белу свету

уже вдвоём, полетели по летам, пританцовывая – две сестрицы-близняшки, и являлись народным массам уже не абы как, но по просьбам трудящихся, по заявкам радиослушателей, в рабочий полдень, до 16-ти и старше, и после полуночи...

А курительные трубки с табачным зельем уж тут как бы даже вовсе ни при чём, то есть как раз при том, что состоит она, эта презельная трубка, при культуре человеческой в положении вульгарном, сбоку-припёку, но вот что характерно: трубка-то эта, кажется, предстаёт не только как, в некотором роде, духовой инструмент или реквизит духовности, но и как материализованная, в духе диамата, сакральная душистость типа «парфюм». По свидетельству истории мировой культуры, капля никотина не убивает Пегаса! По свидетельствам многочисленных очевидцев, свидетелей и подельников, в словарях произвольно и грациозно выстраивается то ли ряд, то ли шеренга фимиамная: табак – табу – табун – трава – отравы – равви – равель – лад – ладан – ладонь, колеблемый треножник, алтарь, лампада, воскурители лампад... Бред какой-то, дурман и опиум для народа. И ведь всё как-то так незначаянно, что даже противно! Чушь. Залезешь в неё – сам чушкой станешь. А нам это надо? Нам это не надо. Министерство здравоохранения предупреждает: курить – здоровью вредить. Фольклор поддакивает, но как-то так фигурально-неопределённо: кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт... Вот почему так и тянется, так и тянется любознательное человечество к житейскому опыту и эксперименту: надо нам это или не надо – эта Каллиопа, эта Эвтерпа, эта трубка мира на тропе войны?.. Вопрос – знак плодородия. Народ хочет знать. Российский народ хочет знать в особенности, пуще всех других народов. Потому что потому: Россия есть шестая часть света и пять шестых всего остального, и в той остальной тьмущей тмутаракани содержатся неисчерпаемые залежи сюжетов, звуков и красок. Непросвещённая пещера Алладина – без лампы – для творческой интеллигенции: писателей, художников, музыкантов, да-да! вот только читателей, зрителей и слушателей часто бывает жалко, но что вы хотите? – мы такой народ, застенчивый до грубости, отзывчивый, короче, такой

народ, что самого Гитлера до самоубийства довели, а уж после войны сам маршал Ворошилов по линии ЦК партии возглавил руководство искусством...

Вернёмся, однако, к Эвтерпе с Каллиопой в свете дыма отечества. Перво-наперво, заметим: чего-то в этой конструкции явно не хватает. Чего?

И вот вдруг является художник. Молодой и зелёный, и синий, и красный, разный, многоцветный: Илюша Смольков. Является и выставляет перед нами свою работу: «Портрет поэта Анатолия Кобенкова» (2001, бум., пастель, 56 x 71). И мы видим: возлежит весьма приблизительный Кобенков и курит... саксофон. Портрет трубадура, вылитый из художника.

Значит, что? Значит, всё. Приехали. То есть, дальше поехали. То есть, тронулись. И вослед машут нам, тронутым, уже три парнасские девы, соблазны слова-звука-цвета, три девицы за окном, три подружки-поблядушки, святая троица, равнобедренный треугольник, прелести модельные 60\*90\*60... – и вот уж блазнится, то есть чудится, нам, тронутым, что чушь ничуть не смешнее жизни, ибо вся – из неё, и в ней, и под, и над – в том запретном парфюме, в воскурениях языческой лампы: ламбада трёх граций на фоне трубадура.

Ну, вот и слава Богу, и воскурильщикам всех времён и народов - тоже слава !

На том и чокнемся, товарищи.

Со старым интеллигентским тостиком: «За нас с вами и хрен с ними!»

### **Примечания**

1. Петерсон: знаменитый трубочный мастер (Великобритания).
2. Савинелли: не менее знаменитый трубочный мастер (Италия).
3. «Биг Бен»: помимо Лондонской башни с часами, ещё и марка английских трубок.
4. Ворошилов: Климентий Ефремович, маршал, соратник маршала Будённого и генералиссимуса Сталина.
5. Будённый: Семён Михайлович, во времена застолий на даче Сталина в Кунцево систематически играл на гармошке, Ворошилов плясал «барыню», а тов. Хрущёв – «гопака».

6. Сталин: Иосиф Виссарионович, лучший друг всех артистов и писателей (см. Постановления ЦК ВКП(б)); трубку курил, между прочим.
7. Илюша Смольков: гений.
8. Бог: он есть и всё видит.

## ЯЗЫК

Сентябрь 2003 года в Иркутске был отмечен Всероссийским фестивалем современной драматургии им. Вампилова. Гости съехались, избранные тройкой местных литераторов: Распутиным, Румянцевым и Козловым.

И всё бы ничего, кабы не странные нелепицы с самого начала.

Директор фестиваля, он же директор драмтеатра Анатолий Стрельцов в первый же день теле вещает:

– Все современные пьесы должны быть написаны языком Вампилова...

Вот те нате хрен в томате! Может быть, Анатолий Андреевич этак образно-фигурально выразился? Увы, никаких фигур и образов. Понимай так, как сказано. К тому же, сказанное является продолжением речитатива на ту же тему другого фестивального деятеля, Распутина.

Так что, реплика Стрельцова не случайна.

И слушатели уж сами должны додуматься, что современная проза должна быть написана языком Распутина, современная поэзия – языком Станислава Куняева. Всё! В крайнем случае, для стишков сгодится язык Андрея Румянцева.

В эти же дни член Союза писателей России А. Румянецв отмечал своё 65-летие. Молоденькая тележурналистка навестила именинника в его доме. Именинник читал стишки. А журналистка рассказывает, что юбиляр – не только поэт, он ещё и профессор Иркутского заочного отделения столичного Литературного института, ведёт семинар поэзии на кафедре литературного мастерства, а Распутин, тоже профессор, ведёт семинар прозы, и они, эти мастера, не ставят перед собой задачу вырастить из семинаристов великих писателей, нет, у мастеров

задача намного проще и практичнее: показать, как не надо писать – вот чему хотят научить профессора своих учеников...

Час от часу не легче! К чему вся эта липовая профессура и семинары? Ведь вполне достаточно для выполнения поставленной задачи раздать студентам сборнички стихов Румянцева – и пусть постигают азы мастерства, отталкиваясь от обратного.

...Фактически всё фестивальное время в сквере у драмтеатра простоял деревянный ящик с бронзовым памятником Вампилову внутри. Под закрытие фестиваля – открытие памятника. То ли запредельная духовность организаторов фестиваля, недоступная простому обывателю; то ли наши культуртрегеры начисто лишены театрально-сценического мышления.

Что сказал бы по этому поводу сам Вампилов, остаётся только догадываться.

Но вот что сразу вспоминается. На учредительном собрании Фонда Вампилова в 90-х годах весьма серьёзно решали множество процедурных и организационных вопросов, обсуждали проблемы финансирования будущих грандиозных проектов и т.д. и т.п. И вдруг подал реплику поэт Р. Филиппов:

– Вот Саня посмеялся бы, если бы услышал нас сейчас...

Кто знает? Но одно бесспорно: нынешние «вампиловеды» – увы, люди не театральные и безнадежно обделены тем чувством юмора, которым обладал драматург.

...На закрытии фестиваля с заключительной речью выступил Распутин. Концовка речи:

– Мы победим!

Так ползучая распутинщина (десять лет ползла...) встала на четвереньки и публично озвучила свою современную позицию.

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕТРАЖИ

Бахыгу Кенжееву

### 1

Всё началось с элементарной мухи.

Муха летала в салоне реактивного авиалайнера и прикидывалась элементарной. Она элементарно жужжала и мимолётно вызывала сложные вопросы: с какой скоростью, однако, летает она, эта воздухоплавательная тварь божия, если скорость самолёта сверхзвуковая, а тварь внутри самолёта носится со скоростью не то чтобы сверхзвука, но сверх всякого нахальства? и не значит ли это, что скорость полёта данной мухи складывается в суммочку из двух скоростей: а) скорости этой самой цокотухи, которая меньше копейки, плюс б) скорость авиатехники, которая, фигурально выражаясь, есть летающий Монетный Двор.

Муха навевала тоску. Тоска, получалась размером со слона. Слоны слоняются по земле. Земля вся в путях-дорогах и перекрёстках, скорее видимых, чем невидимых, в отличие от воздушных путей сообщения. Но вознесённая тоска в сущности ничем не отличалась от приземлённой...

Не так уж и часто, но случается: совершенно бесчеловечные, пустые ночные аэропорты, железнодорожные залы ожидания, автостанции, речные и морские вокзалы: в пустоте забытое, реликтовое эхо эхает, мается из угла в угол, тошно ему без людской взаимности, и – один я, я один – в сгущённой бесчеловечной тоске, в мире без вины, в вине без мира, в ощущении безнадёжного отшельничества... Ах, какой же застенчивый восторг, какое ликование! – когда вдруг выглянет в амбразуру сонная, но, значит, живая кассирша, или живой милицейский сержант спросонок изобразит бдительное дежурство, но живее всех живых – неожиданно явленный человек с чемоданчиком, свой, значит, почти родной, потому что есть он не просто законченный человек, но пассажир, пусть даже и незаконченный, ещё не в статусе, но уже попутчик, и при этом совершенно неважно куда он едет (летит, плывёт), в какую сторону... – вот ты и устремляешься к нему с

притворным равнодушием: куда едем? – и он, ещё свежий и нетронутый тоской, отвечает не всегда радушно и обстоятельно.

А однажды в нашем городе взяли и ликвидировали тоску. Как ликвидировали? А так, как взяли! Отменили к чёртовой матери ночные электрички. Формальный повод: нерентабельность, пассажиров мало, железнодорожному ведомству убыток... И ночная человеческая тоска возмутилась и сделалась круглосуточной. Что такое? А вот что такое: «мало» и «убыток» – это, оказывается, не кое-что, не пустячок пустячковый, не мелочь пузатая, но – государственное уничтожение человеческого в пассажире и пассажирского в человеке. Да пусть хоть всего один пассажир будет на всю электричку! И пусть на него одного-единственного работает министерство путей сообщения, и гидроэлектростанция, и весь пригородный поезд с локомотивной бригадой машинистов, и весь желдорвокзал со своим чуть живым персоналом. Может быть, для того одного-единственного пассажира ночная электричка есть вопрос жизни, или вопрос смерти, или судьбы – этого мало? Это убыток? Э, нет, дорогие товарищи. Пусть железная дорога не выпендривается как цельнометаллическая дура. Подумаешь – железная! А нам без разницы. И пусть она будет нерентабельной, но зато человеческой. И пусть она ведёт себя так, как все другие дороги. В конце концов, ещё ж не до тупика выяснен вопрос: кто кого ведёт? – дорога человека или человек дорогу?..

Муха!

Из ближайших окрестностей донёсся звучный шлепок, а вслед за ним – мужское удовлетворение:

– Отлеталась, сволочь! А то уж и рта не даёт открыть... Так вот я говорю, значит: рассеянный мы народ, несобранный, чистый севильский цирюльник, фигура здесь, фигура там, а где народ, где люди, я вас спрашиваю? Вопрос важный. Жена мне как-то говорит: что-то я давно не слыхала, как ты умничаешь... – и так далее. А я не умничаю. У меня такой склад ума. И назрели сложные вопросы. А начальник на работе меня вызывает по телефону и говорит в трубку: с тобой, Евдокимов, щас будет говорить сами товарищ Зычкин из Минводхоза, они уже у меня в кабинете сидят, лично приехали реагировать на твоё

жалобное письмо в Москву, так что ты, свинья, хорошенько напрягись и почувствуй ответственный момент скорби, да ещё не шибко умничай, Евдокимов! А я не умничаю. Меня вопросы распирают. А мне домоуправ говорит: ехай в Москву разгонять тоску, щас все так делают по пьесе Чехова – и так далее. И эту глупость говорит мне должностное лицо и вдобавок чемпион нашего двора по домино?! Когда всем давно известно: Москва слезам не верит. Вот поэтому хочу попробовать в Париж. А мне говорят: Париж, Париж, приедешь – угоришь! Не угорю. Там знаете какие люди? Мне рассказывали прямо-таки презрительно: народ там – ну, прямо как дети, всему верят, что ни скажи! А я слушал, и меня крутила тоска, и мне было трудно, почти что невозможно было представить такой нормальный народ... Да, такой обыкновенный народ, природный, верующий, правильный, который когда надо и ремни застегнёт, и расстегнёт, когда надо, а не будет при этом штаны снимать или вообще распоясываться...

Через пятнадцать минут авиалайнер приземлился. Остывая после полёта и подрагивая, покатился он по рулётной дорожке и, наконец, замер на отведённом месте.

Над зданием аэропорта был вознесён в небо неоновый буквенный ряд:

**Saint Petersburg – Город-герой Ленинград – Санкт-Петербург.**

Низкие антиневские небеса. Приземлённые горизонты. Зонтики. Зелёные газоны. Плюс 4 градуса по-Цельсию за бортом. Середина декабря. Зима, называется.

А «Петроград» не удостоился вознесения.

Имперский запас революций истощился. Лишь суммочка памяти – колыбель, пелёнки, краснуха... – как мокрое место, как воспоминание о пришлётной мухе.

## 2

Ровно сто пятьдесят семь лет назад в столице Российской империи декабрь сам по себе был сущим наказанием божьим, свирепым и беспощадным. Так что, казнь петрашевцев весьма гармонично впечаталась в тот месяц. Стояли они,

государственные преступники, в одном нижнем белье, босые, на студёном ветру, в пронизывающей насквозь петербургской пурге, жизнь по клеточкам вытеснялась из тел холодом небытия, конечного окоченения... – а для зачитки длиннейшего судебного приговора казённая власть как нарочно назначила чиновника-заику, вот он и читал казённую ту бумагу, читал... После такого вдвойне изощрённого истязания Фёдор Достоевский, стоявший в ряду казнимых, имел полное формальное право написать впоследствии: «Жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья».

Потом уж, в потомках, отозвалось, и в последующем веке другими казнимыми неформалами увековечено – в вечной мерзлоте и в вечной памяти – как дольше века длится день, как на плечи кидается век-волкодав, как век свободы не видать... Минута стояла в очереди, где что-то давали. Век взял тайм-аут. Джон Стейнбек расстреливал вьетнамцев из пулемёта, а на отдыхе путешествовал по Америке в авто с пуделем Чарли. Шолохов «косил» под наследника Горького. Михалков-баснописец выносил, заикаясь, приговоры литературным попутчикам. Розенбаум с Кобзоном пели песенки для ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Деревенщик Распутин медитировал: «Представьте себе, что Пушкин в детстве слушал бы не сказки Арины Родионовны, а песни Аллы Пугачёвой – да разве мог бы он стать Пушкиным! Вероятней всего, он стал бы Дантесом»... А в доме, что напротив дома Пушкина, как раз через Мойку, окно в окно, уже проживает всенародный любимец Боярский, наше всё, семь комнат, не хило, однако: вот он скоро выйдет, покажется уличной публике, весь в чёрном, под адекватной шляпой... – и точно! вышел, помахал мушкетёрской рукой, но лошади под рукой не оказалось, и наше всё пешком отправилось за угол, на Невский проспект, в бывшую кондитерскую Вольфа и Беранже, где нынче обустроилось литературное кафе имени А.С. Пушкина: у входа, под стеклянным колпаком, экспонированы две гранитные вышорканные ступени от бывшего заведения, при виде которых должно быть понятно всем и каждому: по ним, выщербленным тростями и подошвами, ступала нога самого Александра Сергеевича и, что характерно, даже в день

роковой дуэли: наглядное пособие для начинающих упражнения в красноречии на чернореченские темы...

«Пока свободою горим...»

Но уже не греет.

На студёном ветру эпох: те же небеса, и бесы, и бестии, вроде обер-прокурора Победоносцева.

Где-то в средостении застолбился идолом бывший каторжанин Достоевский, примороженный минутами казни к пожизненному сроку. Идол равновелик. Белинского он называл «букашкой навозной» и гневался на «шелудивый русский либерализм».

Пока горели свободою (liberté!) – век-то и кончился.

Лучом света в тридцатом царстве-канцелярстве – «Догорай, моя лучинушка...»

Под одним призрачным колпаком – вся экспозиция: Пушкин и Дантес сами между собой разобрались, без посредников, секунданты не в счёт, и Арина Родионовна – вне конкурса, а Пугачёва, не путать с Емелькой, и Распутин, не путать с Гришкой, как ни парадоксально, но – явления одного порядка в феноменальном героизме соцтруда: одна, с непорочным зачатием, через микрофон и под «фанеру», но со скоростью крольчихи плодит Дантесов в согласии с дьявольской-таки пронизательностью, а другой, то есть другой Распутин, ведёт сольную партию в сопровождении ума, чести и совести нашей эпохи, ещё не растекаясь по древу, не былинно ещё, но уже романно: через неделю после советского вооружённого вторжения в Афганистан по просьбе трудящихся наш деревенщик тоже по просьбе высказывается в центральных газетах о том, что вот наконец-то судьба явила нам божью милость и приблизила время, когда пришла пора снова, как шесть веков назад, выходить на поле Куликово, чтобы защитить от поганых землю русскую, и решится-таки судьба нации на том поле в битве двух рас, и не надобно нам ждать, когда современные монголы до Дона дойдут, а надобно устроить им побоище на ихней же земле... «Вот же сука!» – сказал капитан спецназа ГРУ в Кандагаре, откуда улетал в далёкое Отечество очередной «чёрный тюльпан» с оцинкованным «грузом-200».

Вздрагивают идолы.

Но вот штука, за вздрогом прячущая уши: самые сокровенные мысли и убеждения, свои собственные, кровные, однако же невыговариваемые вслух, потаённые, жгущие изнутри, точно горящий торф, рвущиеся из «дикого мяса» на свободу и оттого ещё более страшные... – такие личные мысли Достоевский доверял произносить лишь особо доверенным лицам – своим «отрицательным» романным героям, своим психологическим двойникам вроде Смердякова и Ставрогина, «чёрным человекам», путешествующим в русской литературе и сидящим внутри самого писателя... А биографы утверждают: эпилепсия! Чушь. Идолы не болеют. У них даже простенького насморка не бывает – на сквозняке веков.

Ровно сто пятьдесят семь лет спустя...

### 3

Когда-то в Ленинградской высотной гостинице «Советская» был тринадцатый этаж.

В эпоху перемен отменили сначала Ленинград, потом гостиницу «Советскую» и тринадцатый этаж.

Топография осталась прежней: Лермонтовский проспект встречается с Троицким, место встречи изменить нельзя, и ковровый газон нелепо закатывать асфальтом, и Фонтанку повернуть куда-нибудь в духе решений и в свете постановлений не пришло в голову даже прожжённому и махровому Минводхозовскому функционеру.

В итоге постсоветских сублимаций образовалось: Российская Федерация, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, остров Безымянный, Адмиралтейский район, Лермонтовский проспект, дом № 43, отель «Азимут», этаж 14, следующий сразу за нижним двенадцатым, одноместный, вполне приличный номер № 14027 категории Comfort Single Bed – и человек в номере, у окна, бросающий в распахнутые настежь створки кусочки хлеба – прямо в небо.

Байкальские чайки научили меня такому способу кормления птиц с судового борта посреди моря. Балтийские чайки посреди города учились у меня ловить хлебушек налету. Обмен опытом состоялся.

Далеко слева, по ту сторону Большой Невы, угадывались очертания Василеостровских индустриальных гигантов и Горный институт, замыкающий набережную лейтенанта Шмидта с памятником Крузенштерну. По сию сторону мерещился остров Галерный с близлежащим пивзаводом имени Степана Разина, славный был разбойничек, «Балтика №9» – тоже пошло убойное; и тут же – порталные краны Адмиралтейского завода на Матисовом острове, окружённом речкой Пряжкой, там жил Блок, там он поймал строчку: «Ветер, ветер на всём белом свете...», из окон его квартиры не очень-то и разглядишь Новую Голландию, и Коломну не видать, и Покровский остров, на котором финиширует марафонская Садовая улица... Из номера №14027 весь этот свет, не совсем белый, – как на ладони, а ветер тот же...

Внизу, под окном – Фонтанка с Египетским мостом, а дальше, на заднем плане – подсвеченные Исаакий и шпиль с корабликом, Адмиралтейство.

«Куда нам плыть?..»

А корабельщики – в ответ, аж на двух языках сразу: «Дорогие гости! Dear guests!..»

Так начинается двуязычная информационная справочка для поселенца отеля «Азимут», любовно исполненная на мелованной глянцевої бумаге и вывешенная в рамочке над письменным столом.

Звоню по внутреннему телефону в круглосуточную справочную службу и на чистом «олбанском» языке пытаюсь выяснить некоторые вопросы языкознания, ещё досталинские.

– То, что «дорогие» есть немножко располневшее «диар», это я ещё понимаю, – говорю. – А дальше?

– Гэстс, – отвечает милый девичий голосок. – Гости, значит. По-английски гэст, по-русски гость.

– А какая разница?

– В смысле?

– Да я сам хочу узнать: какой смысл в том смысле, когда русский язык есть ломаный английский или даже наоборот? И кто в этом безобразии виноват?

– Может быть, моряки? – проворковала трубка. – Хотя я не уверена... А вы кто? Не депутат Госдумы?

- При чём тут Госдума?
- Да она ещё в начале этого года взялась за охрану и чистку русского языка. Вы разве не слышали?
- И слышать не хочу. Делать ей, что ли, больше нечего, вашей Госдуме?
- Наверное, – вздохнула трубка.
- Ладно, – говорю. – Спасибо. Вопросов больше не имею.
- Гуд бай.
- Бай-бай, дорогой гэст...
- Какое там бай-бай? Окно манит! Справа в оконной панораме кочкою вспучился купол Троицкого собора, затянутый в камуфляжную сетку.
- Звоню в справку.
- Уот проблемс, – говорю, – с Троицким собором?
- Недавний пожар. Но наш губернатор Матвиенко уже нашла средства на восстановление.
- Сколько, интересно?
- Этого никто не знает. Тайна.
- И много тайн в колыбели революции?
- Ой, я не знаю! Наверное, хватает.
- Хотите, ещё одну?
- А с вами не соскучишься! Я вас слушаю.
- Вы, конечно же, бывали в Петергофе?
- И не раз.
- И прыгали на одной ножке вокруг одного из фонтанов?
- Ну, конечно! И все дети прыгали! И взрослые тоже!
- По булыжникам?
- По булыжникам!
- И справочная девушка по имени Лена рассказала, как она, именно она, допрыгалась до того заветного камушка, под которым был скрытый шутейный механизм, сюрприз с секретом, срабатывавший при наступлении на него ногой и обдававший наступальщика с ног до головы неожиданными тугими фонтанчиками...
- Дорогая девушка Лена, – говорю, – а вы не замечали в кустах зелёную будку, маленькую такую?
- При чём тут будка, когда и без неё было весело?

– Без будки, девушка Лена, было бы не очень весело, уверяю вас. Вот вы прыгали, да? Вы прыгали по десяткам камушков, искали методом тыка среди камушков потайный. Но никто даже не обратил внимания на то, что фонтанчик появлялся всегда в одном и том же месте. Никто не замечал! Даже взрослые, которые вели себя, как дети. Взрослые вообще забывают о том, что они взрослые, когда начинают прыгать на одной ножке, не правда ли? Так вот, вернёмся к будке. Дело в том, что в той будке сидел я, читал Хемингуэя и после каждых десяти книжных страниц нажимал ногой педаль под столом. И не было никакой хитрости в том, что вы однажды угодили под мою педаль. И никаких пружин, никаких скрытых тайных механизмов под булыжниками не было и нет. Обыкновенные водопроводные трубочки, которые по моей прихоти изображали чудеса механики. Вот вам весь фокус-покус императора Петра Великого. Но это всё я говорю вам под большим секретом. Потому что эта легенда является страшной тайной Петергофского музея. Ко всему прочему, ещё и рабочее место в будке. Всё просто и скучно. А вы думали: хемингуэво? Увы, девушка Лена. Спасибо за внимание. До свидания.

Лена печально вздохнула.

И ещё один белый камушек – минутка древнеримская! – выпал из её счастья.

Но я сообразил об этом уже позже.

А тогда я положил телефонную трубку и вновь потянулся к окну.

Ещё в ранешнем питерском житии меня поражало: почему в городе столько много тёмных окон? почему в них не горит свет? может, пусты квартиры? тогда зачем они, эти квартиры?

А в три часа декабрьского дня уже включается с диспетчерского пульта уличное освещение, и автомобили движутся с зажжёнными фарами.

Северная Пальмира. Эйфория: белые ночи, чёрные речки, странные речи. Форa политпросвету. Фары фараонов. Такие метафоры...

«Окно в Европу» из пушкинского «Медного всадника» не могло быть метафорой русского поэта. Русские поэты не очень хорошо знают, кто и зачем лазит в окно. Слишком не очень

хорошо, нетемпераментно. И потому вышеупомянутое «окно» ещё за полвека до рождения Пушкина придумал итальянский литератор Альгаротти, написавший записки о путешествии в Россию. Это был темпераментный сочинитель.

Но пусть будет даже так, как вывел Пушкин: Пётр Великий окно в Европу прорубил. О'кеу? Окаем, конечно, согласны. Правда, оговариваем: дескать, не с той стороны окея прорубил. Будь государь наш позорче да пооглядистей, он усмотрел бы под собственным носом целую могучую кучку океев в виде Пскова и Великого Новгорода: эти «русские Афины» сами по себе были Европой, оставаясь при этом чистопородной Русью: три века общей грамотности и разумного предпринимательства, свободы слова и средневековой демократии, достойной независимости как от Орды, так и от Ордена, три века мирного развития общерусской культуры... Чего ж ещё? А не усмотрел Пётр! А уж после него столько этих «окон в Европу» было прорублено – ни Европа не ведаёт, ни Россия, никто не знает, топоры знают, но не скажут, и этим молчаливо-угрюмым, возможно даже застенчивым, всезнайством они «железно» похожи на российскую статистику и тем же самым так непохожи на российскую историю, заключённую в учебники на отмеренные сроки.

История сохранит: в должности исполняющего обязанности президента России Владимир Путин впервые поставил свою подпись на письме в адрес известной французской актрисы Брижитт Бардо. Письмо содержало признательную благодарность за активную деятельность Бардо по защите животных. Под текстом – дата: 5 января 2000 года. Тем временем продолжалась война в Чечне, начавшаяся в 1812 году: эпопея, война и мир – от Шамиля до Шамиля.

#### 4

Царские рапорты богам, земным и небесным, размазаны по многим векам, по тысячелетиям.

– Я водворил свободу! – докладывал шумерийский царь Урукагина.

– Я устроил в стране благосостоянье! – докладывал царь ассирийский Хаммурапи, одновременно повелевая подданным отмечать начало своего правления как «год, в который была установлена правда» (Классик советской литературы Леонид Леонов пошёл дальше: отменить в СССР летоисчисление от рождества Христова и ввести новое, от даты рождения товарища Сталина).

– Я устранил всё то зло, которое было в стране! – докладывал богам Азитавадда, царь данайцев.

– Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек! – распевало советское радио почти весь, от корки до корки, двадцатый век.

Чему научилась, какие уроки усвоила Страна Советов из всемирной истории? «Она научилась, – докладывает литературный критик Алла Латынина, – поздравлять себя не только от собственного лица, но и от лица всего народа».

Ничто не вечно под луной – ни Союз нерушимый, ни всё то, что люди неосторожно называют вечным: покой, память, мерзлота... Из планетарной метафизики всего-то и возможен только один Вечный Жид, этакий беспокойник.

Но ещё был жив Советский Союз, а критик Владимир Лакшин уже осмелел настолько, что отважился в одной из статей привести рейтинговый показатель из мировой статистики: СССР по уровню образования занимает 28-е место в мире. Я не удивился бы, если бы Лакшина осудили тогда за клевету, за антисоветские измышления под дудочку буржуазных так называемых статистиков, или, наконец, за разглашение одной из наших многочисленных государственных тайн. Сейчас, спустя более полутора десятка лет, после исторически закономерного краха коммунистической империи то и дело слышатся ностальгические всхлипывания: при советской власти, дескать, было лучшее в мире образование, и здравоохранение, и балеты, и ракеты, и самый читающий народ, и всё такое прочее... Как же коротка память! При 28-м месте «по образованию» задачей первостепенной государственной важности являлись первые, золотые, места на мировых чемпионатах по футболу-хоккею, а нынче-то и этой телеви-

зионной наркоиглы для народа нет, и мир открыт: смотри, учись, переделывай... Нет, всхлипывают.

Реформа общеобразовательной школы до сих пор остаётся всего лишь размытой, расплывчатой мечтой-намерением. При всех хаотичных ведомственных новациях, направленных в первую очередь на оправдание самого существования в государстве Министерства просвещения и образования, у выпускников средней школы в головах остаётся не система знаний, но, скажем так, странички учебников. Уточняю: странички, как бы разделённые пополам. На одной половине – достижения парижских коммунаров, на другой – их же ошибки. Ошибки запоминаются лучше. Даже средненький выпускник легче усваивает сведения о том, кто чего недопонял и недоперепонял из трёх источников и что у коммунаров было пять ошибок, и вот на экзамене по истории он называет четыре и мучительно вспоминает пятую... их же пять было! Вспомнив – претендует на золотую медаль... Вот что оно такое, донельзя упрощённое и огрубленное знание, катехизис, на трёх пальцах объясняющий устройство мира.

Давным-давно первый переводчик «Капитала» на русский язык Герман Лопатин писал Николаю Огарёву, другу Герцена: «Школы внутри России задавлены полицейским надзором и попами».

Ровно через полвека после этакой констатации факта случилась социалистическая революция, и среди её критиков мне что-то не вспоминается ни один, кто выставил бы ей, пусть даже с некоторой натяжкой, единственный плюс: ликвидация клерикального режима, конституционное провозглашение свободы совести, отделение церкви от государства и школы от церкви.

В начале XXI века самопровозгласившаяся православно-патриотическая интеллигенция назойливо инициирует вопрос о введении в школьную программу Закона Божьего. «Слава богу, – говорят при этом, – что в России, наконец, появился верующий президент!»

Но президент-то – на госслужбе! Не господней, но государственной. А что, ежели в недалёком будущем кто-то из последующих президентов окажется мусульманином?

С другой стороны, допустим, что введут в школьную программу Закон Божий. И что? Как в таком случае поступать с такими предметами, как физика и химия, астрономия и история, биология и география? А очень просто. Взять – и отменить всякие биологии и физиологии. Решительно отменить, конституционно. Если не отменить, то в детских умах история происхождения человека непременно сформируется так, что человек произошёл от обезьяны, которую боженька создал по образу и подобию своему...

Свежие газеты: петербургская школьница Маша Шрайбер начала заочный поединок с Дарвиным и примкнувшим к нему Министерством образования. Девочке не нравится теория эволюции, и она требует исключить из учебника по биологии за 10-11 классы слова «мифы, легенды, нелепости», которые применяются для характеристики понятия «религия». Пока суд да дело, девочка укатила с родителями куда-то на Ближний Восток, к месту постоянного проживания в знак протеста. Ну-ну...

(Дополнение из 2007-го года: десять академиков РАН направили президенту Путину открытое письмо. В частности, учёных возмущает очередная инициатива церкви включить теологию в перечень научных специальностей. Кроме того, беспокойство вызывает проникновение РПЦ в школы, – сообщил академик Виталий Гинзбург. Среди подписавших письмо, которое опубликовала «Новая газета», академики Евгений Александров, Жорес Алфёров, Михаил Садовский.)

## 5

Я прошагал уже добрую половину территории моей питерской юности.

Покурил на ступеньках Троицкого собора, одетого в камуфляжную сеть, и погладил стволы орудий с заклёпанными дулами, декоративно расставленных позади храма божьего, вокруг монумента, собранного из стволов турецких пушек, взятых трофеями в войну 1877-78 годов, хорошая сталь, и ржа её не берёт...

– и перспектива Троицкого проспекта, пересекая Лермонтовский, упирается в круглую башню ночного клуба «Паприка», валютному подразделению «Азимута»;

– спешат мимо молодые самоуверенные люди, разговаривая на ходу по мобильным телефонам, и все как один без зимних шапок и с хорошими лицами, один я в шапке и без лица со всеобщим выраженьем...

– поглазел на черно-белое сорочье толковище в Юсуповском саду – впечатлило!

– а после впечатления я бесцеремонно пристроился к экскурсионной группе иностранных школьников из города Львова: новый маршрут «По местам, связанным с Григорием Распутиным». Впечатляет! Как выяснилось, разработан маршрут сотрудниками Юсуповского дворца, в котором старца убивали, да не до конца убили. Полтора часа с двумя остановками. Первая – у дома на Гороховой, 64, где Распутин жил с мая 1914 и до последнего своего дня в декабре 1916 года принимал богатых и очень богатых дам, которым осточертели их анемичные супруги и кавалеры, отчего они, то есть дамы, толпой, но в порядке живой очереди, шли к старцу «за благословением». В квартиру экскурсанты, конечно, не заходили. Там, говорят, нынче многонаселённая коммуналка в состоянии многолетнего перманентного ремонта. А завершился маршрут у Большого Петровского моста через Малую Невку – с которого и был сброшен в воду недоубитый Распутин. Мост тоже в постоянном капитальном ремонте. Так что, весь путь оказался присыпанным извёсткой.

Женщина-экскурсовод имеет высшее, историко-филологическое, образование. До нынешней работы преподавала литературу в старших классах в той самой школе, где когда-то учился президент Путин. Прощаясь, мы обменялись любезностями: она подарила мне красочный проспект «старческого» маршрута, я по её просьбе надиктовал на её крошечный японский диктофончик целую речь с цитатой из Салтыкова-Щедрина, так и не встреченную ей в годы школьного учительства и необычайно поразившую теперь.

– Даже не верится, чтобы такое... тогда, давно... Михаил Евграфович... Я обязательно сверю с книгой. Может быть, вы шутите?

– Шучу, – отвечал я и, прокашлявшись, нажал красную кнопку звукозаписывающего аппарата: – Уважаемая Софья Михайловна! Призрак коммунизма еще только начинал бродяжить по Европе, а наш Михаил Евграфович в «Истории одного города» уже описал то интересное положение, когда – начато цитаты – «каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако же, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего» – конец цитаты. Как известно, господин Угрюм-Бурчеев довёл-таки город до всеобщего однообразия, вплоть до планомерного детопроизводства, однако он, в отличие от более удачливых прожектёров Икарии, потерпел неудачу при попытке усмирить реку, не желавшую течь по его предписанию. И здесь, уважаемая Софья Михайловна, не один лишь Михаил Евграфович находил в действиях устроителей военных поселений сходство с утопией.

– Минводхоз? – ахнула Софья Михайловна.

– Ну, вот, опять Минводхоз... Вы знаете, как он привязался ко мне в последние дни, спасу нет! Нет, не Минводхоз, пропади он пропадом. Его ещё и в помине не было, когда будущий император Николай Первый побывал в Англии на фабрике, которую Оуэн устроил в Нью-Ленарке, и там он заметил, что нечто похожее пытается делать в России граф Аракчеев. А уж потом, много позже, на трон сели эскадронные командиры и придумали Минводхоз. Всего вам доброго, Софья Михайловна. Желаю успехов в личной жизни и заработной плате, – сказал я и выключил диктофон.

## 6

Библия принадлежит не церкви. Библия принадлежит этому свету, белому с радугой. И светский человек, даже без поповской агитации и пропаганды, обязан-таки прочесть и Библию, и Коран, и Талмуд, и Тибетскую Книгу Мёртвых, и Кодекс Бусидо, и Книгу Перемен И-Цзин... И – Соснору.

Соснора читается как Библия и всё вышеперечисленное: с любой страницы книги, и при этом неважно, что именно было на предыдущей странице и что будет на последующей; и в этом случае пространство чтения превращается во что-то причудливое уже даже без самого Сосноры... Во что? В кинематографический, из «Земляничной поляны», город Бергмана с уличными часами без стрелок? Толи бывшая поляна Земли, толи ещё будущая, на которой уже мальчик ловит сачком стрекоз, принципиально не кушает суп и изо всех сил борется за свободу и независимость?.. Что-то брезжит в пространстве чтения: неуловимо точное, необъяснимо верное, не требующее доказательства существования, постоянное и необходимое, словно число «ПИ» во всех, математически выстроенных, научных теориях? Или – незримый готический собор, всегда присутствующий на всех полотнах Ван Эйка, на любых полотнах, что бы на них ни изображалось – всегда собор невидимо стоит и чудится... Ближе Ван Эйка – только советский солдатик, истосковавшийся по девкам, и вот на что ни посмотрит он, бедолага, да хоть на ту же сапожную щётку, а всё она вспоминается, она! всё о ней думает, о неосязаемой, приманчивой и недоступной... – о родине, значит... Анекдот? Ну, и что с того, что анекдот! В него тоже можно войти, как в Евангелие. Добро пожаловать, обжалованию не подлежит...

Когда-то Виктор Соснора публично оскорбил всех пушкинистов: «Пушкин, – заявил он, – не умел выдумывать, все его сюжеты заимствованы из книг. Да и по биографии видно, что человек только читал и писал. Это знают все исследователи. Такой метод – самый рациональный для писателя. Я бы его обозначил формулой: книга – писатель – книга. Но многие не выдерживают, хотят ещё и жизни, идут в камер-юнкеры, на дуэли, в алкоголики, едут в Ясную Поляну, чтоб учить крестьян, как резать землю плугом, или рекомендуют целым странам, как им развиваться экономически, политически и даже этнически. Но и эти нелепости – от книжной начитанности, от амбиций «Я всё могу». Но писатель может только читать и писать».

Цитата – как цикута: можно и отравиться от передозировки.

Противоядие известное: это ненаучно! это неисторично!

Противоядие против противоядия против цикуты-цитаты: так ведь и история, пардон, – не наука.

Если представить историю без историков, то она, вероятно, существует где-то в ноосфере, в виде информационного поля, или в памяти неживой природы, в памяти воды, в памяти кремния. Как существует? Молча. У истории нет подходящих, адекватных событиям, слов. У неё вообще нет ни слов, ни языка. Есть исчерпывающее, самодостаточное молчание. То есть истина. А что ей, истине, до того, что кое у кого есть слова, язык, и даже угол зрения имеется, а уж у самых крутых, у совсем кое кого, так и вовсе: точка зрения? Что ей, истине, до нашенинских геометрий?

Вот – гений. Гениев создаёт природное пространство, классиков создаёт время, и человеческое сообщество слишком высокую цену платит за эту несогласованность.

В 1834 году известный Фаддей Булгарин писал в «Северной пчеле»: «У нас на Святой Руси гении никогда не бывают поняты. Но не беспокойтесь. От прозорливого г. Лобачевского не укрылась эта печальная участь гениальных произведений. Он послал по экземпляру своей программы во все знаменитые иностранные академии. Дай бог ему успеха. Авось там поймут его лучше нашего»... Речь идёт о «Геометрической программе» Николая Ивановича Лобачевского.

Вот вам, как на блюдечке, весь Фаддей, и геометрия России, и история, и цикута для пушкинистов, а заодно и для лермонтоведов, есениноведов, толстоведов и солженицыноманов – да с присовокуплением не просто «пожалуйста», но невыносимо-вежливого русско-французского «сильвуплешь».

Кстати, есть вот такая точка в угле зрения (Соснора тут уже ни при чём), озвучиваю впервые: Пушкина Александра Сергеевича ежеутренне чрезвычайно раздражала собственная, с каждым разом расширявшаяся, плешь на макушке; раздражение перетекало на прочие мелочи быта и становилось злобой дня, и лишь отчасти, в ничтожной части, уравнивалось, компенсировалось и удовлетворялось обзыванием супруги, первой петербургской красавицы, как «моя косая мадонна» – к

недоумению мужеской части бомонда и двора Е.И.В., к соперническому злорадству – женской, к молчаливой солидарности живописца Карлушки Брюллова, писавшего натальиниколаевнин портрет; вот! а вы мне тут говорите: Дантес, Бенкендорф, Нессельроде, декабристы, царь... Какой царь? И что такое Нессельроде в сравнении с плешью поэта, любимца муз и не только их одних?!

Так или не так?

Вот возьму сейчас телефонную трубку – и позвоню по номеру 527-81-24, и спрошу вполне миролюбиво:

– Так или не так?

Нет, не возьму, не позвоню и не спрошу вполне миролюбиво, хотя физически ничто не может мне помешать звонить и говорить о чём угодно.

Соснора Виктор Александрович не услышит.

Нет молчания у Сосноры.

Он, конечно же, слушает.

Но слышит только тишину.

## 7

Город готовится к встрече нового, 2007-го, года.

На Исаакиевской площади, между Собором и зданием Законодательного Собрания, выросла архивеликанская ёлка с великанскими фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Стоят эти сказочные монстры не как в сказке, но как в правовом государстве: лицом к Законодательному Собранию, задом – к Собору, в отличие от соседствующей конной статуи императора Николая Первого: тот всё же смотрит на Собор и добровольно разворачивается задом наперёд покуда не собирается.

Старые сказки на новый лад, новые – на старый... Казарменно выстроенный город: петровский Санкт-Петербурх – бироновский Санкт-Петербург – панславянский Петроград – большевистский Ленинград – собчаковский Санкт-Петербург... – именами обречённый круг, цирк без страховки, манеж российской истории.

«Атланты держат небо...» А ведь и круто же их подставили! Подставили - и кинули...

Сфинксы звереют в дрёме.

У входа в Казанский собор, вчерашний Музей атеизма и позавчерашний Казанский собор, бдят с гранитным выражением милицейские посты.

Имперско-синодальная пышность величия.

А как же иначе! Если – Святая Русь, священная война, спасение Отечества и фронт национального спасения, да вот ещё и артиллерия как «бог войны», и пехота как «царица полей»!

Символы и атрибуты не столько религиозной веры, сколько элементы православной сакрализации имперской политики.

Утрата столичного положения, комплекс государственно-статусной неполноценности воцарились обидою в крови поколений, и подвигают электорат, способный к бунту, даже к неонацизму, ничем иным уже не обратишь на себя внимания, а в славянофильстве Москву уж чёрта с два перещеголяешь.

Христос на Марсовом Поле.

Марсианский цвет – красный.

Многие думают: обыкновенный песок...

И куда плывём, братцы-ленинградцы?

...уже не ленинградцы, но ещё и не петербуржцы, и это ещё ба-а-льшой вопрос: будут ли таковыми? то есть теми, которых мы уже не знаем, но ещё образно представляем памятью букв, красок и нотных знаков.

## 8

Фаддей Венедиктович Булгарин был человеком дальновидным и расчётливым.

После смерти Николая Первого стареющий Фаддей Венедиктович, доносчик и тайный осведомитель императорской охраны, сексот по-нашему, по-советски, оказался не у дел (вот удел, странный! в наши времена сексоты от безработицы не страдают и переходят от одного режима к другому как эстафетные палочки...) Но старорежимный Фаддей Венедиктович не впал в отчаяние, он имел довольно продуманный и просчитанный план.

В основе этого плана лежал портфель с бумагами Кондратия Рылеева, переданный декабристом в болгаринские руки – на сохранение.

Булгарин сохранил.

И это сохранённое послужило-таки Фаддею Венедиктовичу действительным залогом, личным сокровенным оберегом от исторического забвения.

Оберег тот опирался на предположения: а вдруг история с декабристами как-нибудь этак обернётся, что государственные преступники вдруг восстанут из мертвых и сделаются национальными героями? почему – нет? в России всё возможно! и как тогда дело обернётся?..

И дело обернулось.

Старый уже, но неистощимый на выдумки паскудник объявил себя отчаянным либералом, немало пострадавшим от властей, извлёк из потаённого хранилища заветный портфель с рылеевским архивом и, потрясая рукописями, письмами, документами, принялся доказывать обществу, что он, Фаддей Венедиктович, был самым близким, самым доверенным другом «первенцев свободы» (что кстати говоря, было частично правдою).

...Спустя полтора века Григорий Горин положил этот сюжет в основу своей пьесы – со слабым утешеньцем в том, что в судьбе даже прожжённого прохиндея остаётся что-то человеческое и заслуживающее жалости.

## 9

Канунный вечер и минувшая ночь угрожали новым подъёмом воды в Неве, однако в наступившее утро 14 декабря уровень наводнения не дотянулся до критической отметки на контрольно-измерительных постах, и угроза стихии, явившаяся привычно, так же привычно миновала.

В полдень на Сенатской площади собрались потомки декабристов.

Собрание освещали телевизионщики, «радиоактивщики», газетчики – солнышко не удосужилось.

У Медного Всадника в порядке живой очереди выступали потомки.

Они говорили через микрофон – друг другу.

Потомков потомков что-то не было видно.

Из динамиков гремели изначально тихие, камерного внимания, стихи:

– *Во глубине сибирских руд...*

Девушка с блокнотом и диктофончиком невесть откуда вывернулась и ко мне подпрыгнула, жизнерадостная, потомок потомков:

– Газета Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Наш район»! Разрешите вопрос! Что вы можете сказать по поводу...

А что сказать? Очевидное. Середина декабря, четверг, обыкновенное наводнение, зелёный газон вокруг Медного Всадника, белый лимузин с молодожёнами, очень приятно познакомиться, милая девушка, остренький носик, быстрый говорок, розовый шарф-самовяз, с шейкой трижды повенчанный, мой район, очень приятно, только знаете что, милая девушка? не надо понимать те глубинные сибирские руды вот так уж прямо в лоб, в буквальном толковании, в рудниковом смысле, в полезно-ископаемом и горнодобывающем значении, а в каком? а в таком, что руда по-старославянски означает кровь, смотрите у Даля, он и в буквах дока, и доктор медицинский, он кровь знает, и поэта Пушкина праведную, и лазаретную матросскую, и нет между ними кровной разницы, одинакова, а кто я такой? да вот же, стою с краешку и слушаю звуки речевых слов из динамика, размышляю не вслух, про себя, но, возможно, что и от имени и по поручению, да, конечно, от имени одного весьма оригинального сооружения в Иркутске, памятника человеку-невидимке или человекам-невидимкам, это, представьте себе, такой гранитный камушек, оцепеневший у истока неперемной улицы Ленина, на месте старого, восемнадцатого-девятнадцатого веков, немецкого лютеранского кладбища, там сейчас асфальтовый пяточок и крошечный скверик, а в скверике камушек с надписью «Здесь будет сооружён памятник декабристам», много лет тому камушку, у основания мохом

тронут, центр города, а памятника нет, почему? а потому, что патриоты-профи во главе с писателем, героем соцтруда Распутиным шибко сомневаются в пользе для Отечества и Сибири либеральных дел тех масонов и цареубийц, хотя раньше, при советской власти, герой соцтруда не шибко сомневался, даже совсем не сомневался, но вот как-то так совершенно по-булгарински поворотился, только в обратном порядке, и вот, значит, этим патриотам-профи возражают патриоты-любители, схватка нешуточная, уже лет тридцать этой гражданской войне, люди спорят, камень ждёт, а сейчас там, вероятно, снег идёт, не то что в колыбели трёх революций, в Сибири снегопад долгий, сугробы сугубые и дебелие, покров, что называется, «с иголочки», свежий, чистый, а иголочки хрустальные, и солнца там имеется даже больше, чем требуется для процветания и блаженства...

– Вы не из потомков? – спросила девушка.

– Не из этих. Но по крови их родственник.

– Во глубине сибирских руд?

– Во глубине.

«Мой район» щebetнула прощально, крутнула шарфиком на четвёртый оборот и исчезла: лёгкая городская декабрьская птичка.

...в самую пору опустить руки – и написать кое-что покрепче бумажного листка, наполненного чистотой, не пропустив при этом ни одной буквы.

## 10

...в самую пору поднять руки – и выпить кое-что покрепче из полнокровного гранёного гвардейского стакана, наполненного доверху, не пролив при этом ни одной капли застенчивого добра.

И тогда, чует брюхо, осенит – осенью затяжной как снегом на голову – почему это вдруг Нева чуть не выплеснулась из положенных берегов; ведь всё, куда ни кинь-глянь-брось, шло к этому безграничному безграничному выплеску поверх барьеров и парапетов: вопил пейзаж, свистел ландшафт, завывала градостроительная архитектоника с геополитикой: слева –

Ширак, справа – «Доширак», между ними – евразийский Санкт-Петербург в болотном хмареве, а посреди Санкт-Петербурга не чижик пыжится с финляндской плацкартой на железнодорожном броневике, нет, какой чижик? это голова пассажира дальнего следования Иосифа Александровича Бродского возлежит на чемодане, чемодан стоймя стоит, хороший чемодан, из хорошего дома, на фасаде по-хорошему висит предупреждение, меморий мраморный: «В этом доме жил и работал...» – какая прелесть! и везёт же некоторым людям человечества, тем, которым совсем необязательно нужно каждый день на работу тащиться... Большая Морская, 47, на трёх сотнях метров жилплощади здесь родился писатель Набоков, от него кой-какие книжки остались, а от квартиры – лишь крошечный фрагментик потолка с туманной росписью: толи спившиеся вдрызг моря, толи в облаках Мадонна нежится и ангелы-англомены правят бал-не бал, баловство пушистое, купидонское, поднебесное, в охотку и налегке... Какой восторг! Такой восторг, что даже Мадонна прямо на глазах столичного бомонда закосила, закосила на манер новодевичий, налево, направо... Два напудренных гида водят монд по паркету, состязаются мировоззрениями... «Вот вам, – говорит один, – и вся секстинская Мадонна!» – «Примадонна, – говорит другой, – типа Пугачовой!» Первый гид косит под Вольтера, второй – под маркиза де Кюстина, и оба враз, солидарно отмахнулись от потолочного святого семейства и сошли на грешный паркет, на котором сафьяновые туфельки со шпорами выписывали звучные артиллерийские фамилии: Пушкин, Гаубиц, Мортирасян...

Нет, не тот это дом, и монд с бомондом не тот, а другой это дом, где лиловый негр в белейшем парике и с вертлявыми глазами разносит свежие санкт-петербургские ведомости на серебряном блюде, негр ещё недавно состоял на службе у входных дверей Строгановского дворца, и вдруг – революция, сокращение штатов – вот и новая должность в качестве экспонатуса в Музее шоколада, близ прозрачной кафешки, призрачной будки, за зеркальными окнами восковые фигуры чавкают кофий, ультимативно предложенный всероссийской императрикс... Какой восторг! Какая прелесть! Appetit

радостный, уж весь шоколад сожрали вместе с музеем, и с восковой императрикс, и с восковыми гостями, ошибочка вышла, думали – вкусные, и доля лиловая обручилась после того с газеткою, заголосила из тыща семьсот восемьдесят пятого года: «А на Сенной першпективе от Гороховой улицы к рынку во втором доме над железными лавками под номером девяносто четыре продаются книги! Ключ коммерции или торговли, то есть наука бухгалтерии! Три рубля! Наставление дворянам, поварам и поварихам! Шиисят копеечек!..» – «Какой дурак», – замечает Вольтер, на что маркиз отвечает: «Самородок Кулибин! Уймища умища!», на что Вольтер парирует: «Оставьте ваши противовесы. Ибо довольно и одного дурака, чтобы обесславить целый город!», на что маркиз реагирует язвительно: «На последнем-то дураке, месье, очередь не кончается!», на что Вольтер раздражается философией: «Кому тут нужны ваши умищи-кулибищи? Я вот по праву первого конфидента мог бы сказать вам прямо в лоб: убожище! Но я почему-то говорю: убежище! Вместо уёбища. И почём же фунт изюму с таковой диспропорцией?» – молчит маркиз, молчит Вольтер, молчит лиловый негр из Марокко по имени Габриэла, вальсируют по римской мозаике некто плешивый с косой, и эта косая зовётся Мадонна, в девичестве Луиза Вероника Чикконе...

Нет, не тот это дом, и квазимондо не то, а другой это дом, в Московской Ямской Санкт-Петербурга, у Никиты Фёдорова, где, как провозгласила негрская газета, продаются привезённые тульские соловьи, учёные чёрные дрозды, скворцы-говорунны и свистуны и прочие разные другие птицы, двести двадцать один год подряд, а в углу дремлет господин некто в очочках, в самом центре нигде, *in the middle of nowhere*, посредине нигде, пятый сон видит в очочках некто, в многоэтажном доме на Гороховой улице, между Садовой и Семёновским мостом, огромный домище с двумя воротами и четырьмя подъездами с улицы, и с тремя дворами в глубине, а в самом глухом дворе, в первом, в самом грязном этаже, в четвёртом, в квартирке направо – сидит он, в углу, в очочках, дремлет и думает: что делать?... «Что, что! – восклицает Вольтер. – Вопрос решается через тендер!» – «И последнему дураку ясно, что через тендер!» – соглашается

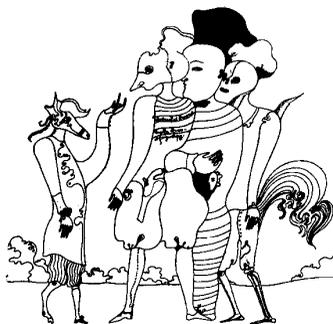
маркиз, но публика в смятении, бомонд с квазимондом разводят руки, и весь свято-петровский истэблшмент замер в ожидании ветра перемен, лишь младореформаторы с Литейного проспекта не замерли, прикидывают версии с вариантами: да, конечно, такого вольтерьянства в России покудова ещё не знают, можно лишь предположить, что «через тендер» – это как бы такое промежуточное положение между двух других: с одной стороны – как бы через тернии к звёздам, с другой – как бы через жопу и в никуда, промежуток метафизический, положение интересное, и надо рискнуть попробовать через тот тендер, авось, что-нибудь и выйдет куда-нибудь... – так прикинули младореформаторы из дома на Литейном проспекте, на что угловой человек в очочках незамедлительно подал угловой прикид: всё, приехали, герои соцтруда! тупик! но вы же герои! а герои идут дальше тупика! ведь идти дальше тупика – тот же героизм, правда, уже со знаком минус или же в кавычках, так что, идите, ничего не поделаешь, господа младореформаторы...

Нет, не тот это дом, и бельмондо не то, а тот это дом, где девица в драных джинсиках вдруг пискнула, оборвала наш приятный разговор о международном положении и рванулась прочь, застучала каблучками вниз по маршевой лестнице, к парадной дубовой двери, в которую уже входил Кумир! сам! на собственных ногах! поддерживаемый с двух боков другими девицами в других драных джинсиках, и вот первая девица захлопотала вокруг Кумира, защебетала: ...только вчера! иду по Невскому! и вдруг навстречу мне вы! сами! на собственных ногах! и я вижу вас в упор своими собственными глазами как живого!... – щебетала и хлопотала первая девица, а другие девицы, побочные, ревниво били её ногами по морде, и неизвестно, чем бы всё это идолопоклонство кончилось, если бы на верхней лестничной площадке вдруг не появился Габриэла, шоколадный негр из Марокко, университетский аспирант в пудрёном парике: Стоп, шалашовки! – сказал он и разом остановил девичьи моления о благодати, и тотчас же Дом актёров на Невском оборотился в Дом чекистов на Литейном, и сделалось тому негру Габриэле отчего-то пасмурно, нехорошо, как бы хреново в смысле херово, короче, поплохело Габриэле

до крайних степеней гуманизма, он побледнел от страха, потом покраснел от стыда и посинел от натуги, и почернел от горя лукового, и сделался ультрафиолетовым, а не натурально лиловым, как прежде, он стеснялся, он хотел убежать в Африку, там тамтамы, самумы и бананы, они не врут, они не обманут, они действительно бананы, самумы и тамтамы, а не видимости, не то что здесь – видимость невидимок, призраки признаков, ух, страшно, обгрызут ведь, сожрут – не от голода, от любознательности и соревнования, а убежать невозможно, имя собственное не отпускает, гирей на ногах висит, будь оно трижды проклято, это имечко, в шестидесятые годы двадцатого века именем «Габриэла» здешние вольнодумцы называли государственную безопасность, империю без границ в стране незаходящего солнца и вялотекущей интеллигентности... «Я что? – закричал Габриэла. – Один за всех тут должен отдуваться? Куда подевались эти чужеземные гады?» – Гиды Вольтер и маркиз де Кюстин выглянули из-за бронзового бюста Железного Феликса, пропели дуэтом: «Сильвупле-е-ешь!» – и скрылись. И хлынула Нева в двери! «Кто – где?» – кричит Габриэла. Никто – нигде. Реформаторы мочат сортиры. Железный Феликс сошёл каменным гостем с постамента, ахиллесовой пятой переступил апеллесову черту и дамочным мечом принялся взбадривать ночные подушки на ложах масонских, на ложах прокрустовых да на кожах шагреновых... – ух ты да ах ты! интересное положение, кисленького захотелось, остренького!.. – на гвоздях почивающих праведным сном классических новых людей из отцов и детей да на ножах засапожных факира похмельного, фокусника неудачливого титимитикарамазова: эх, широк же человек, даже слишком широк, уж я бы сузил... – пыль перин стоит столбом александрийским, прыгает обоюдоострый меч по сквернам культуры и отдыха, прыгает мяч тишетанечки в невских водах, не плачь, орёл византийский, спокойной ночи, малыши, спи себе, щепка в глазу, дом летеиский, литеисный, литерный, сиропитательный, странноприимный, ковчег обречённых, приют комедиантов, урочище пилигримов...

Плывёт кораблик каменный, по краткому курсу колышется, подрагивает ложноклассическими колоннадами, сама по себе

крыша поехала, и вместо крыши образовалась верхняя палуба, там столик уютный на три куверта, вразумительный графинчик финской водки с клюковкой на шестерых и традиционная китайская пентатоника на весь Санкт-Петербург со крестами и окрестностями: это русскоязычный писатель Крусанов-сан интересуется, как там во глубине сибирских руд насчёт жёлтой опасности? поди, уж лица жёлтые над городом кружатся? или не дотянулись ещё до зоны ответственности великоросской противовоздушной обороны дирижаблей державы?.. – три инженера человеческих душ сидят как святые угодники или простые сантехники: вышеупомянутый Крусанов-сан, индийский гость Диксон-сан и нижеуказанный Носов-сан, лауреат какой-то премии за роман-бестселлер «Грачи улетели», но не все улетели, один попридержался, в глазах его несказанный упрёк: уважаемый Диксон-сан, кой чёрт надоумил твоё преосвященство явиться в наш маленький провинциальный Святопетроградск с таким толстым романом по имени «Августейший сезон»? семьдесят пять авторских листов – не хрен собачий! это ж дредноут в Неве и полный аут в наших маленьких провинциальных издательствах! нельзя же так нагличать! надо как-то этак потихоньку, как бы помаленьку, сначала листиков десять, пятнадцать, а вы вона как размахались, аж на полный атомоход с прицепом! нехорошо-с, судырь, видите – чего из вашей сумасбродной кампании вышло – Нева вышла из берегов, места культуры и отдыха бурлят холодными финскими водами, и кто виноват? и что делать? – грач поклонился на прощанье, и хвостиком вздёрнулась вверх его тощая обшарпанная шпажонка гражданского ведомства... – и вот и всё, и все мерси, и грачи улетели, и все оставшиеся фигуры с фиговыми авторскими листами, все пассажиры и самопровозглашённые друзья, все чемоданы и бронепоезда – замерли в немой сцене – то ли из новой петербургской повести господина Гоголя, то ли картинкою с петербургскими буднями господина Миши Шемякина:



...На столе просыхает раскрытая книжка маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».

Просыхая, корчится строчка: «Такой бред невозможен нигде, кроме Петербурга и Марокко».

Бледнело окно.

Это занималось утро.

Утро занималось солнцем.

Предстоящий день требовал ясности.

## 11

Утренняя газета «The St. Petersburg Times» (Friday, december 15) распахнула свои объятия, приглашая к бодрому настроению:

### «The IDIOT» RESTAURANT

Dostoevsky loved this place!

Extensive range of VEGETARIAN  
dishes and drinks

Open daily 11.00 a.m. – 1.00 a.m.

Прелестно! Особенно это миролюбивое vegetarian! Но нам, пассажирам, с утречка чего-нибудь попроще, обыкновенную человеческую кафушку с drinks, и чтобы не от ам до ам, а на скорую руку, на быструю ногу.

И газетка любезно шелестит:

**CAFE**  
**«THE IDIOT»**

Great Russian and vegetarian food served all day.  
Jazz, cappuccino, fresh juice, specialty teas.  
Happy hour from 6:30 p.m. to 7:30 p.m.  
Weekend brunch. Used English-language books  
and magazines, plus an art gallery.  
82 Nab. Moiki. Tel. 315-1675

Любопытно!

Наматываем на ус и шелестим дальше:

**«FEDOR DOSTOEVSKY»**  
**RESTAURANT**

Atmosphere of traditions in interior and cuisine for the  
real GOURMET. Unforgettable Folk Shows on  
Wednesdays at 7 p.m. A mushroom festival with head  
chef Mikhail Reznikov. Exclusive cakes from Natalia  
Mitina. Elegant dinner based on the authentic Russian  
Cuisine Recipes & Folk Cossack's Dance and Songs.  
Special present for the guests – caviar & recipe book is  
included into the ticket (3500 rub). Live popular music  
every night & Jazz on Thursdays. Banqueting &  
Catering service.

Open daily from 3 p.m. until the last guest leaves,  
Sat & Sun – we start at midday.  
9 Vladimirsky Pr., 572 22 29...

Ну, всё, довольно, определились, и выбор сделан, и грачи  
улетели: двух «идиотов» назначаем на завтрак и обед, а «Досто-  
евского» оставляем на прощальный ужин, там ведь, помимо  
прочего, ещё и атмосферу обещают, первоочередным блюдом...  
Ну-ну!

О том, что порядок посещения трёх вышеозначенных точек  
общепита был изменён с точностью до наоборот, вряд ли стоит  
говорить и помнить. Но вот атмосфера... Да, атмосфера  
заслуживает особого внимания.

Существуют три значения атмосферы – и все три в тот день были испытаны на достоверность.

«Достоевский» преподнёс атмосферу как окружающие условия, обстановку: творческую, трудовую, общественную, и – воспоминания о барометре-анероиде, на морде которого между «ясно» и «ветер» разместилось верховно-центральное «переменно»: ветер перемен, ветряные мельницы, ветреные модницы, ветер в голове, и откуда ветер дует, и ищи ветра в поле, и держи нос по ветру... – помешивая ложечкой водочку в стакане.

Второй «идиот» выставил атмосферу как внесистемную единицу давления, равного давлению, которое производит столб... – какой не помню, дальше были уже стишки про «ветер, ветер, ты вонюч, ты гоняешь...» – помешивая ложечкой ершистый горлодёр в стакане. Горлодёр оставлял на стекле наждачные следы, он вёл себя в некотором смысле по-человечески, потому что наследие его в общем-то ничуть не отличалось от всего того, что мы оставляем после себя и что всегда оказывается либо намного лучше нас самих, либо намного хуже.

И только в первом, Санкт-Петербургским таймсом обозначенном, «идиоте» явилась атмосфера по-гречески, то есть с паром, с парком, с испарениями – как газообразная оболочка Земли и других небесных тел: Солнца, планет, звёзд... – и тут же соларис, солнечный ветер, и духовность, разлитая во флакончики на продажу, и среднестатистический человек на ветру, с носом по ветру, добродушная бестолочь, нацбест и маленько бестия, он переводит слово «сантиметр» с оливкового языка на осиновый как «святой отец, учитель, наставник», в общем, ещё тот смиренник, не с тормозной жидкостью в жилах, он болеет за «Зенит», он стишки бормочет: «...дело свято, когда под ним струится кровь...» – за барной стойкой чудится неприкосновенным запасом святости витрина витражная, в холодильной кунсткамере святопетровский скелет в ботфортах и треуголке – вздрагивает, весь целиком – одна большая кастаньета в беззвучном вопле: «Оле-оле-оле-оле-е-е!..» – мраморный меморий в винных пятнах – гранитная кукарекуатура прямо из окна – да в европу... – помешивая ложечкой

валерьянку в стакане... – и, боже ты мой! – какая странная у среднестатистического того человека фамилия – Носов! – с самого рождения она повела человека по жизни и по судьбе, повела цепко, подобно тому, как портфель водит совслужащего чиновника всех мастей, чинов и рангов – задолжник должности; так и человек Носов убирал, вычищал, выскабливал и замазывал в своей одолженной фамилии какие-то лишние буквы и вписывал другие – тщетно! ничего не помогало... – вот вам и новая петербургская повесть, извольте почитать во святцах и почитать.

## 12

Вода в Лебяжьей канавке стыла зеркалом: ни хмурости на ней, ни морщинки, и такая-то тишь и гладь с благодатью – на сквозняке из окна в Европу – ветражи российские, ветрожизнь...

Я прощался с Лебяжьей канавкой, которая не одни только сквозняки знала и помнила. Какие только волнения ни бороздили эту каналю акваторию для царственных птиц! Арбузный ветер, и бабий ветер, и баварский с антильским, крестовый и ленивый, зоровой, козлиный, жупановский, верховой, белый, богемный, холостой и женатый, аквилон и борей, галицкие ерши и доктор альбани, вишнёвый и виноградный мельтем, бугульдейка и голомяник, динарский фён и влажный сирокко, бравые весты и танцующие джинны, береговой бриз и бакинская моряна, баргузин и бербер, большой шаман и косоглазый боб, тбилисский норд-вест и мистраль, и сарма с муссоном, и пассат с циклоном, и зефир со смерчем, и шквал с насморком... Все побывали тут. Все наследили.

А сейчас – зеркало.

Из зеркала смотрело на меня большое лицо, противное и безупречно знакомое...

Когда-то, давным-давно – я помню себя в тёплой ванночке, в прикосновениях крылатых ладоней, это потом, позже я узнал, что это были ладони и чьи они были, а тогда и оттуда я запомнил только воркующий плеск воды и лицо во всё пространство, бывшее надо мной, выше тёплой воды, пространство

называлось вселенским небом, а лицо принадлежало богу, и я видел этого бога воочию, лицом к лицу, и ни хмурости на нём, ни морщинки.

Сейчас это лицо глядело на меня из зеркала Лебяжьей канавки.

## 14

Двигатели лайнера при взлёте работали на ноте «ми-бемоль» второй октавы...

Самолёт набрал высоту. Пассажиры распоясались.

– Ну, уж нет! – донеслось из ближайших окрестностей. – Вот как только прилечу на этом самолёте на свой заслуженный курорт, так всё равно сразу же нажрюсь за все свои кровные утраченные отпускные денёчки. Четверо ж суток в аэропортах мыкаюсь, как последняя колхозная корова, хоть заборы грызи – надо ж так опуститься! А оно мне надо? Оно мне не надо, чтобы на каждом углу висели плакатики с нарисованными стюардессами, и эти лакированные курвы в пилотках всем улыбаются прямо в глаза, а буквами написана буквально провокация: «Летайте самолётами Аэрофлота! Надёжно, выгодно, удобно!» Нет уж, обязательно нажрюсь. Возмещусь за все четыре пропавших дня вынужденного простоя. Никому шансов не оставлю, всё сам выпью...

Я слушал случайного соседа и охотно верил ему: уж этот нажрётся, уж этот, как пить дать, непременно сдержит свою пролетарскую клятву. Желаю тебе крепкого здоровья, сосед. Будьте вы все здоровы. И ты, товарищ контр-адмирал Мартынов, начальник института, который был когда-то высшим военно-морским инженерным училищем имени Дзержинского: успехов тебе в ратном труде по оштукатуриванию и прочему ремонтно-восстановительному возрождению Адмиралтейства, зодческого памятника, разваливающегося на глазах – и только золотой кораблик шпилья ещё плывёт куда-то... И ты будь здоров, ПЕНный соратник-соперник Валера Попов; досадно – не состыковались в фотосалоне на Невском, 6, где всего лишь за полчаса до моего делового прихода закончилось официальное торжество

открытия выставки, посвящённой твоему юбилею, и все разошлись на торжество неофициальное, сиречь водку пить, а в салоне осталась фотоэкспозиция – следы попова детства и поповых лауреатств, и всему тому вернисажу было дано название очаровательное: «Жизнь сложна, зато ночь нежна», аж слеза прошибает, как последнего дурака... Будь и ты здорова, забегаловка «Академический проект» на Рубинштейна, 26 – продолжай, голубушка, свою гуманитарную деятельность по оздоровлению питерской литературно-художественной богемы с 11.00 до 19.00, без обеда и выходных, тел. 764-81-64... Все будьте здоровы, живите богато. И да минует вас воздух несвободы, решётки Михайловского сада на канале Грибоедова, у Спаса-на-крови: сад регулярный, канал необратимый, а храм сам спасётся, классический оберег пособит: «...дело свято, когда под ним струится...» И наше вам с кисточкой, уличные художники на пяточке безымянном у католического костёла святой Екатерины. Прости и прощай, белоголовая армянская апостольская церковь, в глубинку посторонившаяся, от людодохода Невского проспекта... И ты, многожды упомянутый, прощай и прости за испытание широты твоей знаменитой всемирной отзывчивости: лично измерил – 22 шага, от бордюра до бордюра, в истоке; уж куда до тебя Гороховой улице! то же – и Вознесенскому проспекту, третьему магистральному лучу, убегающему от адмиралтейских львов с глобусами, – всего-то десяток шагов в ширину, два самых паршивеньких танка не разойдутся... хотя, знаете ли, есть по этому поводу разные точки зрения с фокусировкой, и всё зависит от того, как посмотреть на этот уличный поперёк в десяток шагов: с одной стороны – это миг делов для какого-нибудь принципиального поскокиша, торопыги, злостного нарушителя ПУД, провокатора ДТП и клиента ГИБДД; а совсем другое дело – утренний техник-сан/водопроводчик, он же дежурный слесарь: этому гражданину для поперечного путешествия с прямохождением напересёк Вознесенского проспекта и получаса будет не весьма довольно... В общем, прощайте и до скорой встречи, друзья сухопутные!

...А в небесах расклад следующий: авиалайнер, грубо говоря, жрёт керосин и сытно урчит.

Летит как змей-горыныч, как дракон трёхголовый или, нежно выражаясь, как птица-тройка.

То есть, – как Русь, по-Гоголю.

А в ней/в нём сидит... Кто? Троянский конь в пальто, по-Гомеру?

В нём/в ней сидит население пассажиров.

Причём, некоторые даже лежат.

Спрашивается: можно ли лёжа и сидя – лететь?

Вопрос на засыпку вполне допустимо поставить иначе, на сухопутный манер.

Государство, например, идёт вперёд семимильными шагами: это мы точно знаем, это на бумаге написано, на фанере, на жести, на кумаче, на лбу первого лица среди равных.

А в этом государстве сидит на троне царь, первый среди равных.

Царь – идёт?

Мужик на лавочке, депутат в президиуме, какой-нибудь правонарушитель или правозащитник на нарах – тоже считается, что сидят.

Интересно: они – идут семимильно?

Идут – в свете планеты ветров, от умеренных до сильных, которая летит и не урчит, и не жрёт керосина.

Вот и пусть себе летит – куда влекут её центробежные или центростремительные силы. Мы – с ней – туда же, в большой матрёшке.

И вот и всё. И грачи улетели.

И не грубо или нежно, а условно-честно говоря, не стоит по этому троянскому поводу задаваться никчёмными вопросами, ломать себе и друг другу головы и, уж тем более, из мухи делать слона; в противном случае, неизбежно появление слонов и России как родины слонов, и родины как генетики, и генетики как родины мух, и мух, летающих даром напрасным и случайным в салоне авиалайнера, и авиалайнеров, влетающих в копеечку всем налогоплательщикам и всадникам летящим, лежащим, сидящим, едущим, идущим, имущим и неимущим, всем неприбранным к изначальному Слову и потому одиноким пассажирам. Собственно говоря, кому из них взбрёт в голову

разделять такие противные случаи, эти властительные сласти, эти страсти мифотворческие, чтобы, предположим, Россия – отдельно и мухи – отдельно? Кому этакое взбрѣдет в голову? Всем.

Я уже пробовал.  
Не получается.

Декабрь 2006, Санкт-Петербург,  
август 2008, Иркутск.

## ТУЗ БУБЕЙ И БУБЕНЧИКИ КОРОЛЯ

В один из рабочих предновогодних полдней середины 90-х годов XX века метался по городу тележурналист Андрей Фомин и выхватывал за пуговицы из толпы наиболее красочных, телегеничных персонажей:

– Здрасьте! Что вы можете пожелать землякам-иркутянам в наступающем новом году?

В районе Центрального рынка чернобородый гражданин ответил на вопрос, не задумываясь:

– Крыши над головой. Обыкновенной. Которая не ехает куда попало...

– Извините, а кто вы будете?

– Поэт. Без определённого места жительства.

– Здра-а-а-сьте! – воскликнул Фомин. – Бомж! Очень, очень приятно! Ну, и как вам тут у нас... вообще... как живѣтся?

– С бомжѣй милостью, с божѣй помощью.

– Опять здрасьте... Но, вообще-то, знаете ли, в нашем городе таких поэтов без определённого места полным-полно.

– Неправда. Таких, как я, в вашем городе нету. Я такой один. Даже ваш знаменитый ходок и король верлибра Александр Сокольников мне в подмѣтки не годится, – сказал персонаж, высвободил родную пуговицу из журналистского прищепа и с достоинством удалился, выставив бороду и неся её впереди себя, точно хоругвь.

Телесюжет вышел в эфир без купюр.

Однако Приангарье и его областной центр как-то даже и не заметили этого теледвижения: как на необъятных,

орденоносных и зачуханных просторах случилось явление народу странного сельского жителя – стихотворца Андрея Тимченова.

Неприкаянный Николай Рубцов однажды воскликнул: «Тихая моя родина!..» – воскликнул, удивился и удавился бы своими собственными руками, если бы за него не сделала это женщина неопределённо-мучительного статуса: жена-не жена, муза-не муза...

В полном соответствии с тем восклицанием поэта российской провинции тоже, как правило, тихие. Уточним: тихие-то они тихие, но с периодическими исключениями из тихих правил в форме пьяных громов и похмельных молний в сторону «дикого Запада», в адрес столичных трезвенников и язвенников, законодателей эстетических вкусов и литературной моды, дегустаторов поэтики всех жанров, лауреатов всех премий, редакторов всех жирных журналов, всех депутатов, политиков, генералов и министерских культуристов... – кому, скажите на милость, утро красит нужным светом? – им, паразитам! – а кому холодок бежит за ворот? – нам, провинциальным гениям! – где шварцевский дракон зубы свои гнилые-поганые скалит? – там, там, на стенах древнего Кремля, а за теми стенами зубастыми, в застенчивости секретной сидит мачеха городов русских, и нету ей, карге, никакого кровного интересу до настоящей России-матушки, которая залегла вдали, тяжёлая в немощах мать мятежа, великая мать с бомбой в утробе, бомба тикает, в каждом тике – тоска на нервной почве, а в той почве неровной сидят, может быть, русские Шекспир, по уши в назyme, а вытащи такого за уши на свет белый – и что будет? Шекспир в подмётки такому не годится! – поэт, гений, вечный РАПП, раб усталый, галерник-лагерник, рыбачок хлѣбный, слов улов тягающий, сетующий в нетях: тянет-потянет, вытянуть не может – ни слов явь, ни снов новь... – эх, едрѣна вошь-беда, горе-лебеда, разбито корыто, у корыта старуха, она ведь тоже чья-то маманя, толи какая, толи известная, в царской короне сидит, а сама бедная, бедней нищенки, жальчей некуда, молиться некому, бог не выдаст ни копя, ни копейки, и некому пожаловаться – ни Чемберлену,

ни Пьедесталину, ни Кукурузвельту нашему дорогому Никите Сергеевичу, всех пожрала и не срыгнула зубастая мачеха, вот и нечем подле корыта утешиться, окромя диалектического материализма плюс телевизор: и на старуху бывает порнуха...

Весной 2005-го Тимченев напросился ко мне в гости, причём проделал этот телефонный приступ с такой невероятной, натурально умильной робостью, что отказать ему было невозможно; к тому же, меня смутило и подвигло на разрушение уж чересчур преувеличенное расхожее мнение, на которое Андрей сослался, о моей недоступности, о дистанции «пушечного выстрела», о домашнем кабинете Диксона, куда попасть постороннему есть дело немыслимое... хотя, конечно, чего уж там говорить, нет дыма, без огня...

Пришёл. В прихожей стянул грязные ботинки, очень убедительно негодую на весеннюю распутицу, аккуратно поставил в уголок, и носки туда же поставил, и босиком, музейным скольжением, пошёл за мной в гостиную, а жена испуганно глядела на его босые ноги, и в глазах её я прочёл, что уж лучше бы наш гость вообще не разувался, ботинки-то почище оказались...

И сразу же – ещё до холодной водки, до горячей закуски, до сбивчивого и торопливого монолога на тему жизни и смерти – Андрей вручил мне десяток листов рукописи: поэма «Холм» с посвящением Диксону.

Он торопился говорить, торопился читать стихи, и тут же торопливо комментировал их, и пил водку медлительно, растягивая удовольствие, пил с неправдашним отвращением, нежно удерживая пальцами почти невесомый, почти воздушный хрусталь, и мизинец манерно оттопыривал, и серебряной ложечкой помешивал турецкий кофе в мейссенской чашечке, в этой кукольной, на полглотка посудке, яичной скорлупке... – разглядывал, щёлкал ногтем по корпусу, поднося к уху чистопородный фарфоровый звон...

Уходить ему не хотелось, но он выбрал подходящий момент прощания, церемонно раскланялся и с достоинством удалился, выставив бороду и неся её впереди себя, точно вымпел.

Через минуту позвонил в дверь: извините, заговорился я тут с вами, что как-то даже не заметил... – и серебряную ложечку протянул.

И в глазах, и в голосе – чудовищная, дичайшая тоска по дому.

...Я вот всё думаю, пытаюсь понять: в чём же особенная суть провинциальных характеров и провинциального же патриотизма, и всевозможных фокусов с «малой родиной» – в державной руке «родины большой»? С одной стороны, забота у нас, в сущности, такая, забота у нас простая: жила бы, как поётся, страна родная, а потому надобно любить средку обитания, впрочем, не более того, чем она этого заслуживает. Просто, понятно, безнатужно. Так нет же! Объявляется такая отъявленная, такая социалистическая любовь, что, кажется, подобной на всём белом свете не существует. И природа – дрожит... С другой стороны, каждому болоту нужен свой кулик, каждой деревне – свой первый парень, каждому городу – Парень Из Нашего Города. Вот вам, если хотите, – полный, законченный и беспредельно развитой образ провинциального патриотизма, весь до копейки; это уж потом, в общем и целом, великий и могучий советский народ всех на свете, как богатырь былинный, победит, даже самого себя – в первую очередь, а в очереди за героями и дураками нет крайних – ни первых нет, ни последних, но это уж потом, а в начале геройства и шутовства – это:

– Хочешь быть первым парнем на деревне? Валяй! Валяй, но помни: каким быть парнем по-счёту, первым-вторым-третьим, и даже парнем вообще – решает не парень, а – деревня, девки за околицей, бабки на завалинке, мужики со стаканами, сверстники в драке...

А тут ещё иной фокус – тихие поэты. Тихие потому, что с горькой горечью чувствуют и ощущают свою ущербность, которой с лихвою наградила их большая родина. Это как раз и есть осознание той самой фатальной, роковой, обречённой на неуслышание второсортности, о которой написал Олег Кузьминский в стихах о своем поколении, выросшем из октябрят в пьяницы на культурном ширпотребе, когда –

«огоньковские» репродукции вместо музейных полотен, репродуктор и грампластинка вместо живой скрипки и рояля, этого лакированного чудища редкоземельного, циркоподобного. От того осознания до изнуряющей маеты – рукой подать, один шаг, полсловечка прикурить от тоски... И чтобы выйти в гении большой родины им, тихим поэтам, парадоксально не хватает молчания. Остальное у них уже есть, у тихих... Вообще-то, наличествуют и вовсе не тихие. Но они и не поэты. Страсти у них другие, и стаканы не те, и личные дела особого свойства: куплетисты-чечётчники, массивики-затейники, но и это тоже в порядке вещей – как на малой родине, так и на большой.

Накатил майский Фестиваль поэзии на Байкале-2005. И московские гости накатили, поэты замечательные, каждый по-своему, на свой лад: Евгений Рейн, Виктор Куллэ, Санджар Янышев. В этих же днях сошлись 65-летие Иосифа Бродского, почитавшего Рейна как своего учителя, и день рождения Санджара. И случился в провинции «римский вечер в термах», с лавровым венком на челе Евгения Борисовича, и винопитие с декламацией, и старинный ольхонский артефакт, четырёхгранный гвоздь-самоков, мой скромный подарок Санджару к его 33-летию, презент с явным призрачно-прозрачным намёком, откровенно рискованный библейской памятью, но однозначно, и впору, и впрок пришедшийся «по душе»: по душе как приюту провинциальной сакральности с московской пропиской.

В последний день Фестиваля Тимченев получил из рук Рейна рекомендацию для вступления в Союз российских писателей.

И все разошлись по домам, кто куда, к своим серебряным ложечкам или алюминиевым вилочкам, а Тимченев – к себе, в будку, где вдвоём с членом Союза писателей Олегом Кузьминским на паритетных началах, как профессионал с профессионалом, они за ночь уничтожили весь вино-водочный НЗ всего Союза российских писателей, точнее, его Иркутского отделения.

Кстати, о будке. Ещё в начале года Тимченев верховодил бригадой дворников в Академгородке, имел койко-место в общежитии, и всё бы ничего, да угодил в больницу, где ему диагноз вынесли, точно приговор без обжалования: инфекционный гепатит. После лечения Тимченову уже некуда было податься: общежитское начальство срочно избавилось от заразного жильца, и дворянское начальство по просьбе трудящихся тоже избавилось от вирусоносительного метельщика и ледоруба – солидарность упоительная. После чего Тимченев купил будку, бывшую контрольно-диспетчерским пунктом трамвайно-троллейбусной или автобусной управы и стоявшую во дворе рядом с особнячком Союза писателей. «За семь тысяч!» – говорил он, между прочим. Правда, люди, знавшие его поближе, та же Марина Акимова, утверждали, что «тысячи» – это научная фантастика или поэтическая метафора, поскольку в карманах Тимченова больше семи рублей – на пачку «Беломора»! – никогда не хрустело и не звенело.

О, эта Марина, самоотверженная Марина! Такие, как она, когда-то уходили в сёстры милосердия, под Красный Крест с Красным Полумесяцем, но эти знаки небесные давным-давно отсыяли и нынче сделались то ли символом, то ли синонимом света погасшей звезды... Она навела уют в тимченовской будке, чистила, скоблила, отмывала, красила, дезинфицировала, а попутно снабдила место жительства подобающим жильем, декором, утварью и скарбом. Топчан с постелью, стол, полочка с книжками, салфеточки какие-то, собственное полотенце, собственный стакан, собственная миска, ложка, кружка... Можно ведь даже собственных гостей принимать! Это ошеломляло новосёла. Я таким и вижу его, чуток ошалевшего: сидит на топчане у стола, хрустит всухомятку корейской лапшой «Доширак» – умная еда для вкусных разговоров! – но вот кипяточку, извините, нет и не предвидится, уважаемые гости, потому что электричество от будки отрезали неумолимо, но разве это может помешать человекам быть людьми?... Поздним вечером Тимченев стоял на тротуаре, прислонясь к кирпично-чугунной ограде своего особняка. В руках прижатый к груди, огромный резиновый сапог. В сапоге, конечно же,

наполовину вода. В воде, само собой, охапка цветущей черемухи.

Я редко бываю в Доме литераторов. Но однажды, по пути откуда-то куда-то, завернул в знакомый дворик, тяжёлая дверь ограды заскрипела чугунным голосом, и тут же будка заголосила андреевским призывом пожаловать в гости... Стены изнутри уже были расписаны разноцветными фломастерами известных и неизвестных героев. «Как у Любимова, на Таганке!» – заметил Тимченков, скосил глаз вопросительно: не слишком ли снахальничал со сравнением? – и протянул свежий фломастер, которым я совершил экспромтно рукописный вывод фамилии «Тимченков» из родового имени будущего Чингиз-хана «Тимучин». Фантазировал я безбожно, врал вдохновенно. Андрей, разинув рот и крякая в бороду, слушал, то ли удивляясь моей исторической убедительности, то ли впитывая урок высоколобного пен-клубовского нахальства.

Хотел того Тимченков или не хотел, но вскорости его будка сделалась ночным клубом бичей и бомжей околорыночной округи. С ними у Андрея были хоть и дискретные, но в общем свойские отношения – по питию, по бытию, по хождению на доньшке мира; когда-то он даже «срок на малолетке» оттянул, ещё пацаном и сельским жителем, а уж после срока и от деревни оторвался, и к городу не пристал. И вот у них, полупьяных и провонюченных посетителей будки, было особенное отношение к Тимченкову, может быть, даже горделивое: «Свой поэт! Нашенский поэт! А бич бомжий – всё равно что маленько Пушкин и маленько Есенин!» Так что, Тимченков был третьим, в России без третьего нельзя. А других поэтов как бы не существовало.

Отказывали ноги... Андрей не жаловался. В такие дни он тихо лежал на топчане, выставив в разбитое оконце бороду: ни дать ни взять – старый больной барбос в конуре...

Из словесных фехтований с Тимченковым на тему шекспировского «То be or not to be» – в фокусе актуальном: «Кто что, кому чего и на кой хрен?»:

– Быть иль не быть? – вот в чём Пастернак...

- Бить или не бить? – вот вам и менты поганые...
- Пить или не пить? – по идее касается только алконавтов, но на практике – вопрос некорректный...
- Жить или не жить? – гамлеты всех времён и народов...
- Выть или не выть? – это уж пусть думают бурлаки на Волге, волки и волкодавы...
- Цыть или не цыть? – пугалы огородные...
- Рыть или не рыть? – могильщики пролетариа- та...
- Плыть или не плыть? – корабельщики и пушкинисты...
- Путь или не путь? – не токмо маргиналы, но все странствующие...
- Суть или не суть? – все философствующие...
- Жуть или не жуть? – романистки типа Марининой...
- Будь или не будь? – юные пионеры и дулет-миллионеры типа Макса Галкина и Алки Пугачихи...
- Мабуть чи не мабуть? – хохлы незалежные...
- Кабыть аль не кабыть? – кацапы вечевые...
- Быть или не быть? – на всех кругах сада Адамова и ада Садамова...
- Бич я или не бич? – потерянные одиночки...
- Царь я или не царь? – одиночки растерянные...

На двери будки кто-то из весёлых и находчивых нарисовал не без изящества трёхзубцовую корону с шариками на остриях. Да может быть, это и не корона предполагалась, но шутовской колпак с бубенчиками. Впрочем, не так уж и важно. Главное, что и королю, и скомороху такой убор вполне пришёлся бы впору: хоть царю Гороху, хоть аналогичному шуту – без примерки. А уж тем более – одному в двух лицах: королю скоморохов.

А между тем подкрадывалась осень.  
 «Беломор» не согревал будку.  
 Будка не грела тело.  
 «Октябрь уж наступил...»  
 Да уж!

Историю сочинения Тимченковым поэмы «Холм» вряд ли кто знает. Но история её публикации известна.

Ещё весной Андрей предложил поэму для печати в газету «Культура», орган областного комитета по культуре. Там редактировал Сергей Корбут (стихотворец) с ближайшей помощницей Мариной Акимовой (стихотворицей). Текст взяли. Прочитали. Одобрили. Пообещали.

И вот звонит мне Андрей, уже вдребезги пьяный:

– Корбут – вампир!

– С каких пор? – спрашиваю. – Мне всегда казалось, добрый малый, стихи пишет, тебя любит, печатать собрался...

– Мне его любовь до фени! А зачем он вычеркнул моё посвящение вам? Это нарушение прав... Я хотел вам сюрприз... А он вонзился... И что делать? Взять и это...

– Взять, – говорю.

– На предмет?

– На абордаж.

– На карандаш, – подхватил Андрей.

– На халяву.

– На калган.

– На понт!

– На три буквы!

– На мушку!

– На прикуп!!

– На грудь!!

– На два раза по сто пятьдесят с прицепом!!

– Ну, вот, – спрашиваю, – уже тепло?

– Горячо!!! – орёт Тимченков.

– Так чего ж ты ревёшь? – спрашиваю. – Вампир, вампир... Печатает поэму – и то хорошо, скажи спасибо и радуйся. А посвящение пусть между нами останется...

Откуда ж ему, Андрею, бесконечно далёкому от литературно-журналистских игр с топотом и свистом, было знать, что совсем не своевольничал Корбут: он был в меру послушным, дисциплинированным, исполнительным редактором и, сняв посвящение, всего лишь выполнил устное (не письменное же!) распоряжение своей начальницы Веры Ивановны Кутищевой, возглавлявшей комитет по культуре...

Ещё год назад, летом 2004-го, столкнулись мы с Сергеем невзначай у Музкомедии, где редакция его размещалась.

– Написал, – говорит он, – отзыв о вашей новой книге, о «Контрапункте». И вот теперь думаю, где бы напечатать?

– Не понял, – говорю я. – У тебя в руках газета, а ты ещё спрашиваешь?

– Я не спрашиваю. Я объясняю своё положение. Если упомяну ваше имя в газете – мигом слечу с работы. Вера Ивановна предупредила. В культурной форме.

– Так и сказала?

– Нет, не так. Она сказала ещё культурней, чем я пересказываю. Она сказала: Диксона в газете не акцентировать...

Короче говоря, в октябре вышла «Культура» без акцентирования. Андрей явился ко мне с газетой и рукописно вывел над заголовком поэмы две строки посвящения. Про вампира уже не вспоминал. Правда, ещё тихо штормила Марина Акимова, «подельница»: напечатаем, дескать, авторский текст поэмы в московском альманахе «Илья», да ещё и с комментариями относительно нравов нашего литературно-культурного подворья, пусть все узнают... Наивная девушка! Она была лауреатом «Ильи-премии», она надеялась\*... Через год она умчалась в Новосибирск и, точно пароль, сменила свою фамилию.

А коротенький отзыв Корбута на книгу «Контрапункт» был напечатан в «Зелёной лампе».

Последние месяцы жизни Тимченова как будто бы списаны со страниц воспоминаний Астафьева о фатальном пути Рубцова к собственной гибели. Поэма «Холм» на фоне автора уже звучала жутковато, крючками ассоциаций цеплялась за строчки стихов братчанина по фамилии Лисица (его стихи, кстати, восхитили несколько лет назад фестивального Евтушенко):

*Мы все приходим в этот мир  
так, как приходят в гости,  
и крыша мира – не Памир,  
а холмик на погосте...*

---

\* См. Приложение II

Будка тоже как будто умирала, источая смрадный запах распада и жидкой херни под названием «Троя». Округляла «чистая» публика глазыньки свои: ужас какой! представляете? одичавшие вши выскакивают из будки и кидаются на народ, как собаки!.. К случаю сему народ причащался примет народных: явились вши – так это к войне, мору, голоду, к ужасу и смертям, раскрывай ворота, костлявая пришла, косу с плеч сняла, и никто не устоит перед ней – ни богом целованные, ни укушенные искушением многозмейным... В августе 2006-го в Москве похоронили Толю Кобенкова. Через полгода, едва перевалили в новый год, в январь, – как в пустой, но полной отчаяния мастерской, умер художник Валера Мошкин, один из аккуратных завсегдатаев тимчендовской будки. Следом – Таня Медведева, бывшая некогда директором Дома литераторов...

Тимченев умер в воскресенье, 25 февраля. В будке. Похоронили на шестой день.

На студёное Александровское кладбище пришли немногие. А те, кто не пришёл, были отвлечены минувшей ночью, в которую скончался Борис Ротенфельд, преемник Кобенкова в должности руководителя Иркутского отделения Союза российских писателей.

Во время похорон тихого поэта Тимченова тихий поэт Сокольников получил по морде от тихого поэта Кузьминского. Возможно, что и правильно получил, заслуженно. Покойник, будучи застенчивым циником и пьяницей, не любил трезвого, беззастенчивого цинизма.

Будка с трёхзубцовой короной на двери до сих пор стоит, как памятник неизвестному будочнику, в углу дворика, и, кажется, никому не мешает. Бубенчики молчаливы. Хотя, при некотором стечении обстоятельств, могли бы и прозвенеть своё, трижды шутовское, для любого входящего и выходящего через чугунно-кованую калитку: эй, прохожий! если уж ты не можешь ничего больше написать, так хотя бы потряси копьём! глядишь – и будущего Шекспира ободришь тем потрясением с отвагой и решимостью, не рассыпающимися во прах, а впрочем, впрочем... Прах миру твоему, соцлагерь с человеческим лицом-подлецом, маскою, под которой корчится первобытно-

общинная харя. Мир праху твоему, родина дорогая, уже не по карману, ещё не по уму...

## **Р.Ф.**

Иркутские газеты в эти дни выходили в свет как обычно. Они обязаны были выходить. Это был их долг. Они были средствами массовой информации (СМИ) и служили народу.

В газетах печатались новости, старости и фигня.

Из писем в редакцию одного из СМИ: «Сейчас село вообще забросили. Света обещанного до сих пор нет, появляется иногда по вечерам. Конечно, зачем в деревню завозить шифер? Всё равно деревня погибается...» Ещё письмо – из деревни, от дедушки: «Да вот тем и отличается русский человек от западного – свинством. Не бережём ничего из того, что имеем...»

Обозреватель «Восточки» Элла Климова в статье под названием «Немного о нетленном» рассуждает: «...Как отметили мы 170-летие со дня гибели Пушкина? Отчитались перед календарём и пошли дальше... Время песчинками дней смывает некогда живые имена. Перед ним не устоит ни один памятник, возведённый человеческими руками... Одна эпоха спешит на смену другой, а вместе с ней и бесконечна смена караула. Ударить оземь «рыцаря революции» на Лубянской площади, чтобы спустя совсем немного времени спорить в парламенте, стоит ли его вновь возводить на постамент? Поручить все скульптурные портреты некогда царствовавших особ, чтобы вдали от двух российских столиц, на берегу Ангары, восстановить памятник предпоследнему русскому императору?.. Сильнее тлена только память...»

В этой же газетке – статья ангарского театрального режиссёра Леонида Беспрозванных о своём благополучно здравствующем земляке, филологе, режиссёре и поэте Георгии Крюкове. Названа статья так: «Вечности не приемлю».

Областная газета под названием «Областная газета» рассказывает о том, что директор Академического драмтеатра имени Охлопкова Анатолий Стрельцов возглавил в Иркутской области молодёжное театральное движение «Алые паруса». На

вопрос, почему ему вдруг стало интересно общение с молодёжью, Стрельцов отвечает: «Я хочу, чтобы они научились говорить о любви языком Ромео и Джульетты»... Ещё новость под заголовком «Вселенная кочевника Даши Намдакова»: речь идёт о скульпторе, члене Иркутского отделения Союза художников, который покинул Иркутск, живёт в Москве, и вот он решил-таки своё 40-летие отметить в бывшем родном городе персональной выставкой, на которой будут представлены его работы совместно с артефактами краеведческого музея: между его работами, как считает Даши, и скульптурными изображениями древнего человека существует взаимная связь...

Ещё заголовок: «Свет и тьма полковника Евстигнеева. Ушёл из жизни бывший начальник Озерлага». Фото лагерного полководца: вся грудь в орденах, на фоне фотопортрета Сталина.

И ещё утрата – некролог в чёрной рамочке: «Областное отделение Аграрной партии России выражает глубокое соболезнование родным и близким Геца Ивана Васильевича в связи с его безвременной кончиной. Всю свою сознательную жизнь он отдал развитию сельского хозяйства Иркутской области»...

2007 г.

## **ЛИНИЯ ЖИЗНИ**

Давно уж, ещё в XX веке, встречался Герой соцтруда Сергей Владимирович Михалков с советскими пионерами и школьниками в студии Центрального Телевидения в Останкино. Про жизнь рассказывал. Про творчество. Про патриотизм.

И вот спросили дети Сергея Владимировича:

– А какое будет ваше самое любимое произведение?

– Гимн Советского Союза! – ответил Михалков и вытер набежавшую слезу: – Горжусь!

И вот пришёл новый век, и новые песни придумала жизнь, и новые гимны рождались в яростных идеологических схватках противоборствующих думских депутатов, но музыку уже не заказывали, музыку прежней оставили, без изменений,

требовались лишь новые слова, слова, слова... – и господин Михалков снова оказался тут как тут.

В феврале 2005 года на телеканале «Культура» в программе «Линия жизни» – снова он, этот вечный С.В., «трижды гимнюк».

– Что вы чувствовали, – спросили его, – когда писали с Регистаном самый первый гимн?

– Чувствовал? – улыбнулся С.В. – Знаете, что я вам скажу? Я скажу: врут все эти писатели, всё врут, когда говорят: чувствовали, чувствовали... Чувствовали они, видите ли! Врут! Ничего я не чувствовал. Какие чувства? Идёт война! Мы с Регистаном положили на стол перед собой Сталинскую Конституцию! И работали, работали! Я в Конституции ключевые слова искал, потом текст писал. Регистан редактировал. Потом Сталин карандашом кое-что подправил. Я тот карандаш храню. Такие чувства... А ещё я чувствовал: на обед пора...

## СКАЗ ПРО ТВОРЦА КАЛАШНИКОВА

На московском Казанском вокзале образовалось событие...

Сидит однажды на скамье в зале ожидания авторский песельник, иначе бард, Калашников Виталий. Чего сидит, зачем и по какому случаю – даже помнить забыл, но всё равно сидит, чего-то дожидается, подрёмывает, – однако ушами, чуткими до всяких внешних мелодий, продолжает набираться жизненного опыта и музыкально-поэтических тем с вариациями.

Слышит: мимо волокут пьяного гражданина – тема известная со множеством вариаций.

Открывает глаза – видит: два здоровенных бугая в военной форме с полковничьими погонами препровождают гражданского старичка, воткнув ему в подмышки даже не руки свои, а всего лишь указательные пальцы, а старичок, действительно, под весёлым градусом, и не то чтобы препровождается, нет, он даже как бы шутки шутит, словно дитё малое, он подгибает к животу ноги и в таком висячем положении, в распальцовке бугайского сопровождения, типа задарма, не утруждаясь собственными ногами, путешествует в

неизвестном направлении, да ещё и песенку повизгивает голосом дребезжащим – про артиллеристов, которым Сталин дал приказ... – тема знакомая, вариация единая и нерушимая, точно весь Советский Союз с Варшавским Договором против агрессивного блока НАТО, а старичок легкомысленно-задиристый, головёнка седая и пушистая, как одуванчик, дешёвый болоньевый плащишко на нём зачехлён наглухо, под подбородок, лёгенькое фронтовое тело, может быть, неоднократно раненное или контуженное в боях за свободу и независимость нашей Родины... бедный старик, за что боролся? чтобы вот так небрежно, двумя пальцами с боков, обращались с ветераном ВОВ, то есть Великой Отечественной Войны? нет уж, бугаи, вам этого не выйдет! ветеран-вовик не заслужил, к тому же – свой брат, песельник...

И встала обида во весь рост барда Калашникова Виталия на пути несправедливой русской тройки.

– Эй, вы, бугаи! – закричала обида голосом барда Калашникова Виталия. – Чувырлы! Стойте и отвечайте: куда тащите заслуженного гражданина старичка? За что? Требую немедленно освободить героя от вас, сатрапы хлёбанные!

Сатрапы остановились, переглянулись и в один момент, как-то так ловкенько, приземлили заступника рылом в пол с заломленными за спину руками.

Ещё пуще прежнего взвыла обида бардовским голосом!

А полковники говорят тихо, но выразительно и железным тоном:

– Не прыгай, парень, куда не надо. Как говорится в народной мудрости, не е..т – не дёргайся. А старичок наш вовсе не старичок, а сам Калашников, гордость Рособоронэкспорта.

– Это я Калашников! – кричит снизу вверх Калашников. – Не знаю, товарищи, никакого другого экспорта!

Полковники потуже приручили барда и рывкнули:

– Тих-ха! Не нарушать!

Известное дело, чем кончилось бы такое мероприятие, но тут в беседу вмешался сам старичок.

– Это ещё кто тут Калашников? Откудова такой самозванец? Это я тут один Калашников, которого весь мир в

каждой дыре знает! – провозгласил старичок и рванул на груди свой плащишко болоневый, аж пуговички брызнули в стороны.

Глядит бард – глазам своим не верит: целый генерал перед ним висит, будто на вешалке, на полковничьих пальцах, на мундире всякие ордена-медали сверкают, а по штанам красные лампасы стекают до самого до низу, где, как можно заметить, то ли начинаются, то ли заканчиваются лазоревые кальсоны, импортные, с манжетиками.

– Это я тут настоящий Калашников! – возмущается нечаянный генерал, и полковники ставят его на собственные опоры. – Ноу хау!

– Ни х\*\* себе! – возмущается бард. – А я кто по-вашему? Лермонтов?

Вот так и познакомились – накоротке.

И позвал бард генерала в гости – из вежливости, но без особой надежды на взаимность.

Полковники записали в блокнотике адрес.

...Прошло некоторое время. И вот однажды жилплощадь барда гудела. Гудела уже примерно два дня и две ночи. В центре гудения сидел Дима Дибров из самого Центрального Телевидения и врал, какая у них там, на Центральном Телевидении, паскудная творческая атмосфера.

В дверь позвонили.

Дверь открыли.

Вошёл военный человек с портфелем. Вынул из оногo пакет с сургучными печатями и сказал голосом типа нотариуса или ещё какого-нибудь Риббентропа:

– Лично в руки товарищу Калашникову Виталию.

Калашникова Виталия разбудили и срочно поставили перед военным человеком.

– Это вы? – спросил военный.

– Это я, – ответил бард и даже как-то ссутулился от собственного последующего вопрошения: – А вы, кажись, из военкомата? С повесткой? Так я невиноватый...

– Я буду от генерала Калашникова Михаила Тимофеевича, – четко, по-военному доложил военный. – Порученец по особо важным делам. Со срочным и совершенно секретным пакетом. Пакет с приветом. Под личную роспись.

И тут бард завис в невесомости.

Буря бурлила в нём – вся в пене, вся в брызгах: запертая в телесной оболочке, в майке, в свитере – душа советского шампанского! И все вокруг всё сразу поняли, а Дима Дибров немедленно исчез из кресла. Потому что душа барда выстрелила, получился салют с фейерверком, барда подбросило и плюхнуло в центр общественного внимания, интереса и любопытства.

– Присаживайтесь, господин посол, – сказал бард Калашников военному товарищу и закинул ногу на ногу.

– Никак нет, – ответил военный товарищ. – Не положено.

– Тогда может водочки?

– Стоя?

– Естественно, стоя, – сказал бард, и вся компания под руководством свергнутого Димы Диброва поддержала барда, заплескав ладонями на манер цыганского хора: – Сто-я! Сто-я! Сто-я!..

– Тогда уж ладно, – произнёс посол, принял поднесённый стакан, ахнул содержимое одним махом и сказал: – Мне тут у вас нравится.

– Мне тоже, – ответил бард. – Бардель, по-нашему.

– Да? Как интересно-о-о...Я до вас думал, что бардель это когда только с девками...

– Ах, – вмешался Дима Дибров, – давайте оставим эту трепетную тему!

– Действительно, – сказал бард, с большой охотой раздирая пакет до внутреннего содержания.

Дима Дибров тут же сбоку любопытствует:

– И чего там пишут?

– Да мне многие пишут, – охотно отмахивался бард от Димы. – Всякие маршалы, разные трижды герои Советского Союза...

– Трижды?! – ахнул Дима.

– Ну... А чего такого? И трижды, и дважды, и единожды...

А что?

– Да ничто... И что? Так вот запросто?

– Да уж так вот, как придётся... Вы же видите? Наш автоматный генерал даже посылочку присылает...

– Неужели родственник?

Бард охотно не услышал вопроса и продолжил:

– Прямо беда мне с ним, совсем старик от рук отбился...

В пакете имели место быть тетрадки. Много тетрадок: школьные, ученические для разных классов, тонкие и толстые, в линейку и в клеточку... Бард ворошил тетрадки: нет ли среди них ещё чего? Чего ещё не было.

Тем временем Дима Дибров полушёпотом распространял в бардельной компании непроверенную информацию из неизвестных источников про генерального оружейника Калашникова: дескать, Михаил Тимофеевич фигурирует не только на просторах нашей родины, но он фигурирует в глобальном масштабе, даже, представьте себе, на государственном флаге и национальном гербе африканского государства Мозамбик! точнее, не лично сам Михаил Тимофеевич фигурирует, но – автомат Калашникова фигурирует, а это же всё равно что сам Михаил Тимофеевич фигурирует, собственной персоной... однако, может быть, источники врут, от зависти...

В тетрадках, исписанных фиолетовыми чернилами, фигурировали стишки – оборонная лирика, тема известная, со множеством вариаций, годы сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые... И машинописный текст приложен – на фирменном генеральском бланке с исходящим номером и с заключительным вопросом автоматного генерала: может быть, прилагаемые поэтические произведения надо где-нибудь напечатать? между прочим, некоторые товарищи, как младшие по званию и выслуге лет, так и старшие, восхищаются и говорят про меня, что гений, поэтому обращаюсь как поэт к поэту: зачем зарывать свой второй талант в землю?..

Бард Калашников хмыкнул: да уж, гений, если до самого Мозамбика добрался, это как бы Пушкин шиворот-навыворот, но, с другой стороны, любому хоть русскому, хоть африканскому дураку ясно-понятно, что мир мало знает своих гениев, потому и проживает из века в век негениально, одни вон – аж до Мозамбика, а другие не то что до Мозамбика, а дальше московских вокзалов не распространяются и вообще всю свою

творческую жизнь повёрнута задницей к народу, вроде дирижёров перед публикой, и это несправедливо, не честно, не по уму и не по понятиям, тут любое понятие как бы раздвоится, даже если корень у него один, как, например, у гения и джинна, у которых от единокровного родства только и осталось, что оба связаны с бутылкой...

– Разрешите идти? – обратился к барду военный посол типа фельдъегеря и полевой почты.

– Минуточку. Я тут черкну записочку, передадите Михаилу Тимофеевичу.

– Слушаюсь.

«Уважаемый Михаил Тимофеевич! – написал бард. – С огромным вниманием к обороноспособности нашей Родины прочитал тетради сочинений. И вот что Вам скажу: Вашу поэзию упаси бог где-нибудь печатать и вообще кому-нибудь показывать. Не надо! Я, как патриот, дружески протестую! Ваши стишки чего-нибудь да подорвут! С Вас уже достаточно автоматов Калашникова, тиражи же ж у них немыслимые по всему миру! За сим здравия желаю. Бард Калашников».

Военному послу была вручена вышеупомянутая нота протеста. В двустороннем порядке барду была вручена двухлитровая бутылка водки «Калашников», на этикетке которой имелся портрет генерал-майора технических войск Михаила Тимофеевича.

Бутылка была помещена на сувенирную полку в серванте и объявлена на весь бардель неприкосновенным запасом или, выражаясь по-военному, НЗ.

А потом в помещении снова чокались и пили. Правда, пили уже не так расхлябанно, как прежде, но – важно, со значением, строго и даже несколько угрюмо, как пьют бойцы после сражения, и точно так же строго и угрюмо пели ритуальные мужские песни, и тогда на компанейских лицах, упоённых до хоровой спелости, появлялись черты первобытного коммунизма, и пережитки капитализма, и родимые пятна светлого будущего, не омрачённого похмельем, но целиком и полностью посвящённого готовности к труду и обороне во славу русского оружия за мир во всём мире...

Утром обнаружилось, что НЗ исчез.

...И снова прошло некоторое время. И опять сидит как-будто бы однажды бард Калашников Виталий в зале ожидания Ярославского вокзала. Подрёмывает. Но ушами, чуткими до внешних звуков, слушает звуки среды обитания, в том числе и телеверещанье с вокзального голубого экрана. И вдруг из телящика попёрла дикторская речь о презентации выдающейся книги легендарного советского оружейника, славы нашей и гордости, и что эту нашу славу и гордость только что приняли в члены Союза писателей России...

Бард открыл глаз: точно – на экране светится Михаил Тимофеевич, да ещё и улыбается...

Бард икнул, вздохнул, закрыл глаз и погрузился в экзистенциализм. Да, именно в него и погрузился. Ибо дальше, больше и скоропостижней уже некуда, кроме как в него, в этот экзистенциализм. Потому что только в нём, в родимом, в этом простом, обыкновенном, обыденном и безыскусном русском словечке/понятии могут так безыскусно, обыденно, обыкновенно и просто уживаться и жизнерадостно побулькивать две легенды в одном стакане.

## НАИСКОСОК К ВИСКУ

Из восьмидесятых годов прошлого столетия тянутся строчки Поэта:

*Всё на свете остаётся –  
ты уйдёшь, но не уйдут  
ни деревья, ни колодцы,  
что во тьме тебя найдут.  
Ты и мнишь себя счастливым  
оттого, что всё твоё  
остаётся – и крапива,  
и ожоги от неё...*

...и ещё многое-многое другое, даже избыточно-изобильное, от чего поначалу можно возрадоваться и возгордиться, однако же потом – увы, мир, переполненный бесконечными последними каплями, становится искупительной чашей, чашей искушения, и зришь его, мир чаши, уже как бы и

не лицом к лицу, не лоб в лоб, но – наискосок, отражённым светом, со смущением столько же ветхим, сколько и юным, новозаветным, из века в век свидетельствующим с категоричностью свидетеля под судебной присягой, что – видит бог! бог свидетель! – на пути к раю земному единственным препятствием и необходимой (ни с какого боку!) преградой, этаким камнем преткновения, оказывается сам человек.

И вот тогда выносится самоприговор.

Язык у него не бронзовый.

И рубахи на груди не рвут: хоть и самое время, да не место – около колокола.

Когда-то Сервантес, ещё до «Дон Кихота», сочинил новеллу про человека, который считал себя стеклянным, и когда однажды его уронили наземь, он сказал «дзинь» – и умер.

Стеклянный человек настолько поразил девяностолетнее сердце советского литературоведа Виктора Борисовича Шкловского, что он почёл за святую обязанность вспомнить про «дзинь» в одной из своих последних книг о теории прозы.

Всё на свете остаётся.

В детстве Поэт мечтал стать клоуном и смешить людей. Не получилось.

Об этом мечтательном факте жизни мало кто из посторонних людей знал и знает, а сам он, неудачливый мечтатель, войдя в серьёзные лета, даже и не заикался – ни в устной форме, ни в письменном виде и, уж тем паче, в биографических и автобиографических справочках, которые иногда предваряют сочинения членов Союза советских писателей.

Объяснение давал унылое:

– Да, не получилось... Но это не то, чтобы носом не вышел в клоуны. Нет! С судьбоносным носом как раз всё в порядке. Дело в другом. Дело – в читателях. Ведь не поймут же! А уж литературные критики да коллеги-соперники так и вовсе до смерти залюбят...

Что правда, то правда.

Поэт при жизни удостоился газетной фотографии в траурной рамке. Шутка такая.

Это странное состояние, положение, ощущение, когда – лицом к лицу, лоб в лоб – к потустороннему миру, к отражённому свету.

Вот был случай.

В лето 2003-е СибЭкспоЦентр разместил первую выставку иркутских дизайнеров. Туда меня зазвал художник Андрей Хан, до этого оформивший одну из моих книжек. И вот этот самый проект оформления, увеличенный в десятки раз, Андрей вынес в экспозицию и позже, через несколько дней, даже получил Гран-при, был, понятное дело, доволен чрезвычайно – в отличие от меня, очутившегося в день открытия выставки лицом к лицу, лоб в лоб – со своим двойником, монументальным фотопортретом работы известного мастера Николая Бриля: сгущённый в контрастную чёрно-белую графику, портретный двойник был мемориально холоден, поглядывал на оригинал с высоты декоративно-прикладного положения и обозначал уже не меня, но кого-то другого, пусть даже и похожего, но отделённого неодолимой, форс-мажорной полосой отчуждения... По соседству разместился живописный портрет поэта Виталия Науменко. Так вот, даже со ртом, точнее, с губами, наглухо зашитыми суровой ниткой, мой тёзка смотрелся веселее, жизнерадостней: он был вполне реалистичным, его сделал, если не ошибаюсь, тогдашний иркутянин Илюша Смольков, нынешний москвич.

А донынешний иркутянин Андрей Шолохов выставил тогда композицию под названием «Золотой унитаз». Мог бы, впрочем, обойтись без названия: имелся в наличии натуральный, типовой, чисто советский-социалистический, правда, не фаянсово-белый, но выкрашенный бронзянкой «под золото», а всё остальное тоже натурально-выкрашенное: мощная вертикальная труба стояка с чугунной ёмкостью для воды, и свисала из того бачка обыкновенная цепочка-дёргалка для спуска воды, но вместо фарфоровой висяльки-гирьки на конце была приспособлена компьютерная «мышка».

Дочка Поэта, школьница Варвара задумалась перед произведением Шолохова: такой Шолохов не вписывался в школьную программу. Потому он, такой Шолохов, лично пришёл на помощь школьнице Варваре: дескать, сам Ленин в

скобках Ульянов Владимир Ильич предсказывал, что при коммунизме в Советском Союзе люди будут пользоваться туалетами из чистого золота... Шолохов смотрел на Варвару, Варвара – на папу, папа – на унитаз, а унитаз смотрел на всех сразу с ослепительным высокомерием и надменностью.

– Я думаю, – сказал наконец папа-Поэт, уважительно наклонясь к дочке, – что мысль художника такова. Даже в отхожем заведении ты, Варвара, должна учиться, учиться и учиться. Как завещал великий Ленин.

– Поняла? – строго спросила мама Оля.

– Поняла, – ответила Варвара и вздохнула. – Ленина поняла. А папу не очень...

Папа был большой диалектик. Таких не сразу поймёшь. Он не боялся заглядывать в будущее. По большому счёту, это даже был его долг.

Ещё в прошлом веке, в годы девяностые, он написал «Автоэпитафию»:

*Ничего не остаётся –  
только камни и песок,  
да соседство с тем колодецем,  
что к виску наискосок.  
Никуда уже не деться –  
успокойся, помолчи...  
Пусть дорога по-над сердцем  
рассыпающимся мчит, –  
хорошо бы к ней прибиться  
чем-то вроде родника –  
пусть и птица, и девица  
припадут к нему напиться...*

К слову сказать, птицы и девицы да бабочки с кузнечиками – особо трепетная тема в жизни и творчестве Поэта.

Весной 2004 года в Доме литераторов имени Марка Сергеева ответственные лица готовили открытие художественной выставки под названием «НЮ». Лиц было двое: художник Сергей Григорьев и вышеупомянутый Поэт. Они развешивали на стенах картины и картинки, испытывая при

этом совершенную растерянность: творений на заданную тему, сверх ожидания, оказалось много, стен мало, всего две с половиной...

И сказал художник Григорьев:

– Явный избыток. Перебор. И какое же будет наше Соломоново решение?

Поэт задумался, потом улыбнулся и, сохраняя улыбку, сказал грустно-печально, точно сию минуту Песнь Песней сочинял:

– Серёжа, мне кажется, что красивые обнажённые женщины никогда не бывают лишними.

И воспрянул художник:

– Точно! Красивых обнажённых вообще не бывает много!

После чего Поэт и художник продолжили сочинять экспозицию, не исключая из неё ни одной «нюшки». Они трудились вдохновенно. Как два царя Соломона. Целых два! – на одном, взъерошенном политических страстями, постсоветском суперпространстве.

Мы ехали в Переделкино, в знаменитый писательский посёлок.

Травка зеленеет... мокрая субстанция с небес... в лето две тысячи шестое от Р.Х., середина декабря, Москва.

Бывший иркутянин Андрей Хан сидел за рулём своей нелегальной «японки» и вполголоса медитировал: «...ничего не остаётся... всё на свете остаётся...» – и между слов маячил призрак вопросительного знака.

Я, кажется, догадывался: Андрей решает неравенство, заключённое в соединении слов, доселе несоединимых. И подумалось мне: действительно! вероятно, здесь имеет место сбой в формальной логике, возможно – философическая стычка противоположных начал, а может быть – элементарная погрешность в литературной стилистике...

Бывшая иркутянка Людмила Сенотрусова с заднего сиденья сопровождала мужское полумолчанье кроткими пояснениями, приличествующими дороге: посмотрите налево, посмотрите направо...

Так мы и продвигались в суперпространстве: с Московской Кольцевой – на Боровское шоссе – мимо резиденции патриарха Всея Руси – вдоль соснового бора, потом направо, по Чоботовской просеке – речка Сетунь хохочет над декабрьскими фокусами погоды – осторожный въезд в овражек, ограничивающий Переделкинское кладбище... А дальше пешком, совсем недалеко, в двух, считай, шагах – шепчется у овражного склона родник в деревянном срубе, миньютюрный колодезь с неиссякаемым источником, с ключом земным, и синички воду пьют, а вблизи, чуть наискосок, свежая могила с деревянным православным крестом и табличкою: «Кобенков Анатолий Иванович...» Дальше по склону, в одном ряду – могилы публициста Юрия Щекочихина, исторического романиста Юрия Давыдова... Вспомнилось сразу же: в морозном иркутском декабре 2004 года мне позвонил Кобенков и зачитал кусочек из компьютерной «емельки» от нашего общего товарища, московского прозаика Андрея Дмитриева, который извещал, что, дескать, всем встречным-поперечным москвичам рассказывает о замечательном Иркутском «круглом столе» по прозе, участником коего он был удостоен чести всего месяц назад, а фотографии от Диксона он получил по почте, спасибо почте, спасибо Диксону, мы его недавно вспоминали в узком кругу, сравнивали с Давыдовым, когда отмечали, без Давыдова, его восьмидесятилетие, не дожидаясь круглой даты, похоронили на Переделкинском погосте...

И тут зазвонил телефон. В кармане Людмилы.

Я вздрогнул.

И подумал: смерть абсолютно права, когда с непреложной естественностью смены времён года напоминает живущим о том, что больше жизни не проживешь, но вот всегда в этом напоминании дребезжит что-то несоединимо-тревожное, точно сбой в формальной логике, или стычка противоположностей, или стилистическая погрешность... Так, так. Но, с другой стороны, ведь и сама жизнь никогда не была и вряд ли будет безупречным стилистом. Что до стилистики ей, жизни земной, играющей без особенной чистоты и безукоризненности не только словами, но и людьми?..

На обратном пути остановились у Тверской площади.

Князь Юрий Долгорукий высокомерно смотрел на противостоящую Мэрию и надменных «парковщиков», разделивших его, княжескую, законную площадь на мелкие кусочки автостоянок по 40 руб. за час. Справа и вглубь от памятника – Столешников переулок, где под №2 стоит церковь святых бессребренников Космы и Дамиана. При советской власти в храме размещалась типография, печатное слово служило делу партии Ленина-Сталина, откуда Слово не вернули богу, и церковный приход возглавил протоиерей Александр Мень. Спустя какое-то время протоиерея зарубили топором, убийц не нашли, а настоятелем церкви стал священник Александр Борисов, бывший учёный-биолог. Он и стал крестным отцом Кобенкова в середине 90-х, уж после того, как в Иркутске прошли Дни памяти Менья, на которые приезжали из Москвы брат Менья – Михаил, и сокурсник Менья по охотоведческому факультету Иркутского сельхозинститута священник Глеб Якунин, и впоследствии Менья священник Александр Борисов, он же президент Российского Библейского Общества. От тех дней у меня осталась групповая фотография, сделанная на смотровой площадке близ листовянского «Интуриста». Да ещё – книга Александра Менья «Сын человеческий» с дарственными надписями всех трёх наших гостей. «С пожеланием веры в нашего Господа Иисуса Христа», – написал Борисов... Увы, всеу. Так и остаюсь промозглым материалистом. Да не один я такой – в стране, где человек проходит, как хозяин, и при этом имеет выстраданное, заслуженное, благородное право жаловаться на жизнь, что, в общем-то, уже немало. А что касается бога, то я с ним разговаривал. Весьма доверительно. Однажды. Ничего нового и, тем более, утешительного он мне не сообщил. В самом деле, нельзя же утешиться всевышней константой типа: «Обрыв. Облом. Обыкновенная история»...

Отпели Кобенкова там же, где он принял крещение, у Космы и Дамиана, при отце Александре.

Как только мы с Людмилой завернули за угол и глазам открылась церковь, тотчас же ударили колокола.

– Вечерняя служба, – пояснила Людмила. – Ровно восемнадцать часов.

А как только мы, уходя, вновь скрылись за углом, колокола смолкли.

Так всё там и сошлось – около колокола: и место, и время – лицом к лицу.

Вечером втроём сидели за кухонным столом, умеренно пили и вспоминали не только то, что было, но и то, что ещё только будет или не будет, и в вечернюю речь почему-то нахально вклинивался совершенно потусторонний интерес: а зачем косноязычные думские краснобаи лезут (калашниковым рылом, как выразился Андрей) в вопросы языкознания? нам что, друга всех лингвистов товарища Сталина мало? и как же при этом соотносятся законотворчество с закономерностью? для кого депутаты сочиняют законы про то, как народу правильно говорить, писать и думать? им что, тунеццам, делать там, в Охотном ряду, больше нечего в то время, когда у народа житейских забот невпроворот?.. Стали пальцы загигать: первое, второе, третье... Пальцев не хватило, чтобы отметить давно замеченное: почему российские таланты рождаются в провинции, а умирают в Москве?..

Андрей только раз отлучился из кухни, чтобы крошками белого батона накормить синичек, дожидавшихся ужина на балконе, а чёрный хлеб они не потребляют, надо же, привереды какие.

Вернувшись, Андрей сказал, что это те самые синички, которые пили воду из Переделкинского родника.

Мы с Людмилой поверили.

Мы ведь тоже пригубливали тот родник.

**PS:** Всего десять дней оставалось... Десять дней до Нового года, который Президент России объявит Годом Русского Языка, годом, который потрясёт мир... Наивный он всё-таки человек, Президент, носитель многозначительной и, даже без всякого директивно намеченного удвоения, энергоёмкой аббревиатуры ВВП.

**PPS:** «Вы напишите о нас наискосок», – подсказывал Иосиф Бродский... Я написал. А машинистка в постскриптуме отстучала: «Десять дней до Нового Года, который Президент России объявит Гадом Русского Языка»...

Декабрь 2006  
Москва

## ГДЕ ТВОЙ ТРЕНОЖНИК, ХУДОЖНИК?

Когда молодой офицер, авиационный инженер по образованию, сказал (сначала – себе, а потом уж – окружающей среде): «Прощай, оружие!», то он не повторял Хемингуэя. Он делал свой собственный выбор, неповторимый, из тех, которые совершаются лишь один раз в жизни – и навсегда.

Так кадровый офицер ушёл на вольные хлеба – в художники, поменяв погонные звёздочки лейтенантского военно-воздушного звания – на призвание, которое не сулило гарантированных звёзд с неба. Погонные метры холста для живописи вообще никому ничего не гарантируют.

Так бывший военныйслужащий Вооружённых Сил, ставший обыкновенным гражданским жителем небольшого городка Саянска, спикировал в художественный мир Иркутска, областного центра.

Дальнейшее напоминало события, связанные с джинном, выпущенным из бутылки. Сказочный джинн нереален? Хорошо. Можно сравнить с чем-нибудь попроще, но подороже: с игристым вином, даром Солнца, дождавшимся своего отмеренного срока, после которого вино – закупоренный сгусток солнечной энергии! – вышибает пробку, пробка вышибает потолок (опять нереально?)... – а из узкого тёмно-го стеклянного горла устремляется вверх, к прародителю, неукротимая струя, бурный поток, эпопея, мириады микроскопических воздушных шариков, искрящихся пузырьков с пустотой...

Один из моих питейных приятелей рассказывал как-то в прошлом веке:

– Похмеляться шампанским в сибирских условиях – это дикая пошлость, варварство и невоспитанность, в конце концов. Но что поделаться, если с утра ничего другого достать было нельзя?! Встала проблема: как открыть бутылку? Сил-то в руках нету! Спасибо средней школе, вспомнил то ли физику, то ли химию. Разболтал бутылку – и что ж ты думаешь? Ка-а-а-к бабахнет! Пробка люстру с потолка сшибла! А из бутылки шампанское бьёт со свистом – как из пожарного брандспойта! стакан подставляю... Куда там! стакан из рук вышибло и в форточку унесло! Таз подставляю – через пять секунд полный! Я ведро ташу – туда нацеливаюсь – через секунду ведро до краёв полно? Подставляю второе, третье... А оно всё хлещет! Фантастика! Опупея! Бегу в ванную...

– Врёшь ты всё, – говорю ему со слабой надеждою, что он врёт, по-диалектному выражаясь, заливаает, поскольку при советском образе жизни и способе производства такие феноменальные случаи нереальны. – Врёшь ведь?

– Вру, – сказал мой приятель и вздохнул. – Ну и пусть нереально. Зато как красиво! Не правда ли, друг мой?

– Правда, – отвечаю. – Истинная правда. С аминем и априорными формами сознания...

А наш Художник, между тем, именно так и работал: фонтанировал с неудержимой освобождённой энергией, искрясь и сверкая, ослепительно экспериментировал, шутя, и шутил всерьёз, как маг-чародей, как восточный факир, и все фокусы ему удавались, потому что сам фокусник был трезв, как стёклышко, и в два счёта мог (маг!) убедить любого Фому-неверующего в том, что электросварка в ночи, на вершине ударной комсомольско-молодёжной новостройки есть не брызги электродов, но рождение новой звезды...

В 2005-м году Художник создал серию портретов иркутских поэтов. Поэты о том не знали. Художник создавал их графические образы по их же собственным стихотворным текстам. На вернисаж в Доме литераторов имени Марка Сергеева поэты явились с превентивной осторожностью, но вскоре пришли в нормальное состояние и сказали – одни с философическо-мистическим испугом, другие с невралгическим весельем:

– Похоже!

Так нахально зашагал по жизни проект «Портрет на рубеже веков».

А Художника понесло дальше: в Шанхай на международный фестиваль современного искусства; в Нью-Йорк...

Да, в самый центр империализма – прыжок через океан.

Прыжок совершился, по-спортивно-футбольному говоря, в одно касание, то есть артистично, легко, безнатурно, без особых предварительных экзерсисов. Так опытные музыканты играют любые опусы без подготовки, без репетиций, а прямо «с листа», впервые видя перед собой только что положенный на пюпитр лист нотной партитуры. Даже не верится, что такое может быть реальным.

Впрочем, нам во многое, бывало, не верилось – в своё время, в наше время, «на празднике общей беды», как пел «Наутилус-Помпилус»... Господи, какие прыжки случались! В школьные годы чудесные, с музыкой, с танцами, с песнями... – помнится урок физкультуры, девочки и мальчики в пузырячатых маечках, в одинаково-мрачных сатиновых шароварах на малороссийско-козацкий манер, синие матерчатые тапочки с резиновой подошвой, учитель-физрук гарцует перед строем: «Товарищи, в прошлой четверти мы проходили с вами прыжок в длину. Он был обыкновенный. Теперь будем прыгать тройным прыжком. Справа по одному – начали!» И все по очереди, справа по одному, начали правильно: так, как учитель рассказал и лично показал. Только один мальчик по кличке Чича оттолкнулся от земли не три раза, как положено в тройном прыжке, а всего лишь один. При этом он улетел туда, куда после трёх отталкиваний улетали и приземлялись на задницу понятливые ученики, правильные. Мальчики и девочки потешались над неумехой, у которого всегда что-нибудь не получается. Учитель назвал Чичу бестолчью, не способным даже сосчитать в уме до трёх, это же так просто: раз – толчок, два – толчок, три – толчок... Чича стоял перед строем, виновато опустив голову. Что ж поделаться ему, бестолковому, если после первого отталкивания от земли он, неумеха, уходит в свободный полёт, а в полёте

задумывается и забывает вовремя приземляться, чтобы правильно было, на три счёта.

Очень правдивая история. Социалистический реализм. Горький.

...Вокруг выставки нашего Художника в Нью-Йорке, в знаменитом Бруклинском музее, – зашелестели газетные волны. Критики-обозреватели уже в письменном виде живописали то, что увидели: демонстрация демонов, лица революций, химеры, монстры, чёрные дьяволы и дьяволицы багроволицые со змеиными языками, чудовища... Одному из критиков привиделась во всей этой фантазмагории Держава, Империя Зла: русская бабища в сарафане с гармошкой в руках по имени Большая Матрёша, Big Baba, а в этой гармоничной бык-бабе скрыта чёртова дюжина других баб, поменьше, одна в одной, а всё вместе получается Союз Советских Социалистических Республик, родина слонов, водки и электричества... Другому обозревателю померещился Троцкий с ледорубом, по самую рукоятку всаженным в череп – этакий неназойливый революционный привет от мексиканских художников-сталинистов Диего Риверы и Давида Сикейроса... Ну да! Вспомнили-таки американские «акулы пера» знаменитое панно Риверы на стене Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке – живописный гимн классовой борьбе во имя торжества коммунизма, исполненный в традициях Ренессанса, Гойи, Эль Греко и североиндейского фольклора: многофигурная композиция, сложенная из мятежных орущих уродов с Лениным и Троцким в центре... От дотошных американских журналистов, между прочим, бруклинские искусствоведы не стали утаивать, что многие творения нашего Художника являются копиями, по большей части фотографическими, его же декоративных росписей опорных колонн и прочих сугубо производственных профилей в цехах одного из заводов Саянского Химпрома, где Художник в начальную пору своего художества зарабатывал денежки на жизнь в штатной должности оформителя, вот он и химичил: пусть работяги мрачного производства повеселятся! Но в глазах газетчиков от такого факта – краски сгущались: о! этот Химпром! секретное оружие массового уничтожения! но если в России такой юмор,

такие бабы-змеи и такая непобедимая живопись, то какова же на самом деле армия и военная мощь?!

Нынче и уже издали позволю себе, под большим секретом, сказать, то есть раскрыть военную тайну, которую в Саянске знает любая бродячая собака-химконенавистница: да, был Химпром, он и сейчас стоит и воняет, ну и что? а вот что! не страшен чёрт, которого малюют, но страшна черта, за которую может переступить ум гомо сапиенса, увы, весьма преждевременно окрещённого как «человек разумный»; возможно, крещение такой классификацией есть лишь аванс, выданный человечеству, но нам, сегодняшним, от такого долга не легче; а что касается Химпрома... что ж, он есть и, наверное, ещё долго будет, но этот монстр уже не страшен, ибо тот, над кем смеются, уже не страшен, а смешон – хотя бы только потому, что зарин-зоман в империи есть, и даже в избытке, а зубы населению чистить нечем да, в принципе, и незачем, потому что по ту сторону зла ни смеяться, ни личную гигиену блюсти будет уже некому... Я говорю о страшных вещах, однако улыбаюсь при этом: «Paete, non dolet! Уже не больно...» – поскольку очень хорошо помню и «мыльную оперу» хронического товарного дефицита, и времечко, когда на смену зубному порошку в круглых картонных коробочках пришла болгарская паста «Поморин» в тюбиках и сразу же сделалась королевой рынка, предметом опекунской заботы фарцовщиков и спекулянтов.

Такие мы. И не потому, что «мы», а потому что «такие»: не столько физические лица, сколько химические, да ещё и с утренним перегарчиком.

Французский литературовед Эжен Вогиоэ со слов неназванного им одного русского писателя записал и внёс в текст своей книги «Русский роман» фразу, ставшую летучей и приписываемую то Достоевскому, то Тургеневу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели».

Не все. Я – из офицерской. И наш Художник – из офицерской. Шинель, в свою очередь, вышла замуж за другого. И судьба, в свою очередь, вышла из берегов. И летучая анонимная фраза, я полагаю, вышла не из уст вышепредполагаемых сочинителей беллетристики, но совершенно от другого, вполне

конкретного человека. Им мог быть только один: поэт, мистик, атеист, романтический анархист, масон, петрашевец, славянофил, антигегельянец и гоголевед, артист-певец-гитарист, редактор, критик, драматург, фельетонист, запойный пьяница, душевный, безалаберный, добрый, невезучий в любви и семейной жизни, непримиримо-полемичный человек, фанатик идеи – etc в одном лице романсово-цыганистого Аполлона Григорьева. Извольте не соглашаться, господа.

И что же из всего этого вышло, в конце концов? Обыкновенная история. Обычное дело.

Всё это необязательно требует символического сопровождения. Чаще всего в обыденности – ни вологодского конвоя тебе, ни брызг шампанского, ни Химпрома, ни упомянутых «априорных форм сознания»... Кстати, эти последние живут и здравствуют – в отличие от их создателя и формулировщика Иммануила Канта, истлевающего помаленьку прахом в могиле, подведомственной нынешним правонаследникам Горкоммунбытхоза Совнардепа города Калининграда.

Но Художник всё же напоминает: пора человечеству взрослеть, пора кончать опасные шалости со спичками, пора прощаться с неразумными детскими играми с оружием... Сколько же можно?

Пора и мне назвать Художника по имени.

Знакомьтесь: Алексей Третьяков, художник.

Этим, пожалуй, всё сказано, и сказано самодостаточно.

А анкета проходит уже по другим ведомствам: в налоговой инспекции, например, или в собесе.

Удачи тебе, художник.

Здесь твой треножник.

Здесь твой Родос, здесь и прыгай.

«Hic Rhodus, hic salta!»

## ДУШИСТАЯ ОПЕЧАТКА

Московский поэт Кирилл Ковальджи подарил мне книжку «Обратный отсчёт». Из аннотации следовало: автор предстаёт

перед читателем как поэт и прозаик, лирик и мыслитель, переводчик и полемист... Замах, однако!

Среди воспоминательных заметок есть одна – о Владимире Солоухине, отношение к которому у Ковальджи, мягко говоря, «не очень, чтобы очень», да и есть за что: русским шовинизмом от стихотворца и прозаика, лирика и мыслителя, переводчика и полемиста Солоухина в последние годы пахивало ядрёно.

И вот натыкаюсь на стр.89: вместо «Солоухин» в книжке значится «Солоухин». Опечатка? Возможно. Но зато какая красивая опечатка! Соло Солоухина!.. И пахнул со страницы дух Фрейда. И язык у того иностранного духа был исключительно родной, категоричный, альма-матерный.

## ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЧТАЛЬОН

В обширном пространстве, наполненном по вертикали ультрамарином, с белым горизонтом, вознесённым на высоту, достойную императорских величеств и высочеств, – четырёхметровую! – с тёмно-вишнёвым полированным деревом и сплошной зеркальной стеной, фокусирующей мелкие, средние и крупные провокации... – в этой сверхъестественной кубатуре мгновенно бросалось в глаза ярко-малиновое пятнышко. Оно как будто было задумано декоратором, это специальное пятнышко в интерьере гардеробного зала Санкт-Петербургского Дома актёров, что на Невском проспекте близ Аничкова моста.

Этим пятнышком была жакетка Елены Львовны, седовласо-торжественной, с усталой спинкою вечной служки-тельницы всего того, что начинается с гардероба...

Так вот и потянуло: меня на оду, а оду – на диван.

Чёрный, кожаный, из девятнадцатого века... С ума сойти, как вообразишь да представишь: какие народные, заслуженные, лауреатские задницы покачивал во времена оны этот диван на своих нежных пружинах!

Но тут пришёл Левит.

Пришёл, значит, Левит и уселся рядом со мной. Левит был похож на Левита, которого я видел лет сорок назад на ленинградской сцене.

Вечный Левит.

И диван привычно выгнулся под ним.

А подлокотники с резными мордами каких-то зверей ревниво подставили Левиту свои деревянные спинки.

Ни один корифей петербургской сцены не дотягивался сразу до двух звериных диванных подлокотников.

Левит – тоже.

– Александр Николаевич, – говорю я, – не затруднит ли вас, сударь, пояснить, что это за морды сторожат нас с двух сторон? Чудится мне в них что-то родное, до боли знакомое...

– Сфинксы, – отвечает Левит. – Кроме них здесь не может быть других зверей. Обязательно сфинксы! Сейчас расскажу почему...

Но тут явились ещё двое: магнат фармакопеи Виктор Архипов, подчёркнуто взвешенный и, кстати, бывший иркутянин, и писатель Павел Крусанов, черноголово-лохматый, в той же самой, как мне показалось, вельветовой курточке и в тех же замшевых мокалинах, что и два года назад, в кратковременном иркутском пребывании.

– И что сидим? Кого ждём? – воскликнул Архипов телерекламным голосом.

– Вперёд! – скомандовал Левит.

За квадратным ресторанным столом пошли перекрёстные диалоги, не мешавшие один другому; фразы, не сталкиваясь, проходили насквозь друг дружки, как шеренги военных музыкантов на показательных выступлениях, и без проблем достигали адресата; но когда в воздушном пространстве над столом пересекались одинаковые слова вроде «давайте» и «будем», то они, совпадая на встречных курсах, создавали согласный звон, напоминавший увлечённым собеседникам об очередном наполнении рюмок.

Магнат фармакопеи держался взвешенно, писатель зорко выцеливал сюжеты, мне оставалось немного: дымить одинокой сигаретой, а Левит на вопрос «Как живётся?» энергично отвечал, как ему хорошо живётся, вот если бы ещё драматурги не были таким дерьмом, а то всё несут и несут ему, режиссёру и действующему актёру, какую-то херню, а так – всё хорошо,

замечательно, другу-однокурснику Виле здесь очень понравилось бы, пусть приезжает, встречу, как родного, весь Невский район Питера будет в его распоряжении, и целый дом впридачу на Товарищеском проспекте, рядом с Есенинским парком, под окнами бежит речка Оккервиль, которая впадает в Большую Охту, которая впадает в Неву, которая впадает в Финский залив Балтийского моря, одним словом, друзья, все мы куда-нибудь впадаем, особенно в осеннем возрасте жизни, закон природы, хочешь-не хочешь, а обязательный! – это всё равно, что по-шахматному правилу: взялся за фигуру – ходи! или по-джентльменскому этикету: дал слово – держи его, пообещал – выполни! или по-нашему: раскупорил бутылку – наливай! дело вечное, человеческое, обязательное...

И далось же Левиту слово это – «обязательный». Далось. И он держит его, не хуже паузы.

Славные мои товарищи слушали Александра Николаевича, и о чём они думали в это время – я, конечно, не знал, но о чём я тогда сам думал – вспоминаю: вот о чём... Уж сколько имён прилагательных прицеплено к человеку – неисчислимо! При этом, «тварь божия» – «не считово», ибо – некорректно: «твари» в этом творении всё-таки будет побольше, чем божьего. Зато уж прочими эпитетами полнѐхоньки словари. Трудлюбивый, исполнительный, бдительный, дисциплинированный, хороший, верный, и такой, и сякой... – всё слова, слова, слова к определению качества, да все вразнобой всхлипывающие по идеальному человеку. А ежели – вон их! долой! и вместо сонма эпитетов оставить один: «обязательный»? «Человек обязательный» – это же почти научная классификация: точное (точней преждевременного «разумный!»), позарез нужное в настоящее время и ко многому обязывающее в будущем именование человека в бог весть куда впадающем мире эволюций и революций. Наипервейшее качество – о чём люди редко вспоминают и ещё реже задумываются, но о чём хорошо знает каждая уличная собака, а одна моя знакомая бродяжка даже поскуливает доверительно о том, что млекопитающие животные собаки, бывает, грызутся из-за бросовой косточки, но уж вы, млекопитающие животные люди, если назвали

человеками – будьте ими! и тогда как похорошело бы жить на этом свете – и нам, и вам, и всему свету...

А посреди застолья Левит выпросил у меня блокнот и принялся сочинять письмо старому другу, в Иркутск.

– Передадите? – спросил.

– Обязательно, – ответил я и втиснул блокнот в кармашек кожаной сумки, и всё складывалось совершенно помаршаковски: и сумка, значит, была, и была она толстая, на ремне.

В Иркутске меня ожидала неприятная новость: почтовый адресат тяжело болен.

Я перекладывал блокнот на столе с места на место и беспокойно маялся в ожидании случая.

Наконец, не выдержал – и вторично позвонил.

К радости моей, Виталий Константинович Венгер взял трубку, и по его просьбе я коротко изложил суть письменного послания из северной столицы. Он был рад. Но визит мой вновь откладывался на неопределённый срок. И тогда я решился сказать:

– А что, Виталий Константинович, ежели личное письмо принять как актёрский монолог? Актёр-то на сцене – весь как персональное личное дело, сугубо личное, хотя и получается, что наедине со всеми, с публикой...

– С театральным зрительным залом, – продолжил Венгер и, кажется, вздохнул.

– Вот-вот, тот самый случай. Опубликуем?

– Почему нет? – подыграл мне Венгер. – Бывает и такой случай, как последняя гастроль артиста...

*«Дорогой Виля! Передаю тебе сердечный привет через Виталия Алексеевича. Я ещё действую, Виля. Работаю в Театре Сатиры – не в Москве, а в Петербургском. Очень хочется тебя увидеть и посидеть-повспоминать. Нас осталось очень мало с курса. Я бываю на юбилеях в Щукинском училище (теперь институт). Вижу некоторых и сожалею, что ты не приезжаешь. Остались последние мозикане. А вдруг будешь в Питере? У нас в театре работает Юра Ицков. Может, ты*

*его знаешь, он из Омска. Мои координаты: 103231, Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, дом 28-А, кв. 126, Левит Александр Николаевич. А помнишь, Виля, как мы встречались в Иркутске, когда я был там с театром им. Комиссаржевской в 78-м году? Как втроём сидели на даче у Бори Райкина и под омуль немножко выпивали водочку. Мне уже 73 года. Из курса осталось мужиков 4 человека. Я надеюсь, что всё-таки увидимся. Будь здоров. Обнимаю. Твой Саша Левит, выпуск Шихматовского курса 1955 года».*

А что потом? Потом я, наверное, приду к Венгеру и постучу в дверь – с толстой сумкой на ремне. Эльза Павловна откроет дверь и всплеснёт руками: «Как хорошо, когда приходит почта! Людям обязательно нужно писать друг другу».

Я передам ей послание из Петербурга (опубликованное в газете плюс оригинал) и откланяюсь, чтобы не причинять лишнего беспокойства. Однако в тот же день отправлю в Санкт-Петербург тоненькую бандероль с газетами – Левиту. Не забыть бы только в сопроводительной записочке поместить приветы с наилучшими пожеланиями Вите и Паше, и вечной Елене Львовне, хранительнице пространства, с которого начинается храм, а заодно и заявить решительно самому Левиту о том, что подлокотники знаменитого дивана украшены резными мордами, увы, не сфинксов, но обыкновенных баранов с необыкновенно закрученными рогами, коих у сфинксов не бывает, закон природы...

– Да? – обязательно воскликнет Левит. – Не может быть! Я сто лет сижу на этом диване! И сижу – не как мебель! А почему вы так прочно знаете, что у сфинксов рогов не бывает? Бывает, что и бывает... С точки зрения вечности, как сказали бы в Древнем Риме...

И я, конечно, немедленно соглашусь с древними римлянами. Блестящие в латах латыни, они знали толк и в точке, и в зрении, и в вечности.

Санкт-Петербург – Иркутск, декабрь 2006

## ИРОНИЯ НА МОКРОМ МЕСТЕ

В тридцать лет Игорь Иртенев сочинил свой первый стишок. Он был посвящён кошке, которая в грозу летала над Москвой... Бедная кошка!

*По ней стреляли из зениток  
Подразделенья ПВО.  
Но на лице ея угрюмом  
Не отразилось ничего...*

Вот с тех пор поэту и было определено место в российской поэзии: на 16-й странице «Литературной газеты», где царили «рога и копыта», трёп и дозволенность балаганчика, между «уже можно» и «ещё нельзя».

О, эта ирония! Заядлая поэтическая муза! Каково живётся тебе, прелестнице, в стране зашоренного сознания, перепаханного паханами марксистско-ленинской идеологии и советско-социалистическими трубадурами, накликающими скоропостижное счастье?

А вот какво. Приходит однажды Игорь на званый вечер. Читает стишки, да все как один на злобу дня. Дошла очередь и до вопроса проституции в разрезе активного строительства коммунизма – и поэт пафосно взвыл:

*О, женщина в прозрачном платье белом,  
В туфлях на высоком каблуке!  
Ты зачем своим торгуешь телом,  
От большого дела вдалеке?..  
Почему пошла ты в проститутки?  
Ведь могла геологом ты стать,  
Или быть водителем марирутки,  
Или в небе соколом летать...*

И вдруг Игорь с ужасом увидел: женщины в зале принялись вздыхать, подносить к глазам платочки...

*Видишь – в поле трактор что-то пашет.*

*Видишь – из завода пар идёт.  
День за днём страна живёт всё краше,  
Неустанно двигаясь вперёд...*

В зале возникла томительно-лирическая, в духе Эдуарда Асадова, тишина...

Это был первый публичный провал Иртеньева: его стихи, стихи Орфея социального идиотизма, были восприняты всерьёз.

### **ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ ПРО ДВУХ ДАМ С СОБАЧКОЙ**

Для меня очевидны две великие советские модницы шестидесятых-семидесятых годов минувшего века: одна – в Москве, другая – в Иркутске.

Первая из них: сапожки-ботфорты, перчатки, мушкетёрский плащ, кружевные манжеты – дырка на дырке как высший писк моды, широкополая шляпа, жабо...Атос, помноженный на Миледи, плюс-минус корень квадратный из прозрачной полусферы под куполом цирка, в которой накручивает рискованные, смертоопасные виражи отчаянная мотогощица...Это – Белла.

Вторая: шляпа, пончо, немыслимой длинноты алые шарфы как аналог тех красных ковровых дорожек, по которым дефилируют кинозвёзды знаменитого фестиваля...Да, шарфы, Канны, которые всегда с собой. Это – Нелли.

Они сошлись как Запад и Восток в опровержение Киплингу, и обе сразу, с одного взгляда по достоинству, по лицу и по одежке оценили и поняли друг друга, как это умеют делать вообще все женщины всех времён и народов. Белла подмигнула левым глазом. Нелли в ответ подмигнула правым. А Володя Жемчужников, муж Нелли, смотрел на женщин, как это делают мужчины всех времён и народов, в оба глаза, не мигая и сожалея о том, что у него нет третьего.

Нелли Матханова в ту пору трудилась на стезе радиожурналистики. И предоставить эфиру авторский вечер

Беллы Ахмадулиной во Дворце спорта было для Нелли не столько делом чести, доблести и геройства, сколько обыкновенной служебной обязанностью и профессиональным долгом.

Как известно, у каждого советского человека (окромя генсека) помимо общегосударственного долга, имелись и свои собственные долги и долгишки.

У Нелли был начальник. Шеф, в просторечии. Заметим в скобках, что в ту героическую эпоху шефами называли не только начальников, но также таксистов, официантов, ресторанных швейцаров и гардеробщиков. Так вот, у Нелли был большой шеф. У шефа был большой кабинет. У кабинета была большая дверь и один-единственный вход-выход, маленький.

Шеф посмотрел на Нелли с отеческой лукавинкой, с партийной прищуринкой и ещё с чем-то таким уменьшительно-ласкательным.

– Нелли Афанасьевна, – сказал он, – можно я буду называть вас просто Нелли. Так вот, знаете ли вы, Нелли, что наш комитет по радио и телевидению является органом в первую очередь идеологическим, а уж потом культурным и всё такое прочее остальное?

– Значит, – задиристо воскликнула Нелли, – Белла Ахмадулина для вас – всё остальное?

– Ну, что вы, право! – широко улыбнулся шеф. – Ахмадулина, конечно, не всё остальное, а вот как раз и проходит по первому пункту.

– А что же она сделала такого идеологического, если вы не даёте аппаратуру звукозаписи на её выступление?

– Хорошо, – сказал шеф, – я отвечу на ваш наивный вопрос. Во-первых, работникам идеологического фронта надо смотреть глубже. Во-вторых, она же-ж! жена же-ж! самого Евтушенки!

– Так ведь и Евтушенко...тоже-ж! Муж же-ж! Жены своей! Самой Ахмадулиной! Же! К тому же – они же уже бывшие муж и жена!

– В идеологической борьбе, Нелли, нет бывших. К тому же все бывшие оказываются самыми опасными и непредсказуемыми противниками. Это вам во-первых. Во-вторых, так называемый бывший муж в последнее время ведёт

себя не очень по-советски. В буржуазном «Монде», например, опубликовал свою автобиографию. Масла в огонь подлил. Это недопустимо. Приходится кое в чём бывшего мужа поправлять.

– Но Ахмадулину же ещё не поправляли!

– Вот именно, что ещё. Потому что возникает Евтушенко.

– Но он везде возникает! Он же такой длинный...

– Ахмадулина короче. Но вы, Нелли, смотрите выше.

– Выше кого? Выше Беллы Ахатовны? Или выше Евгения Александровича?

– В конкретном случае, выше Беллы Ахатовны.

– Выше Ахмадулиной, по-моему, один только Евтушенко. Да и то только в смысле антропометрии. Дадите технику на звукозапись?

Шеф улыбнулся и сказал:

– Увы.

Он был чертовски обаятельным шефом.

– Спасибо, – сказала Нелли и улыбнулась. – Очень приятно было с вами поужжжать...

Развернулась и пошла на выход походкой, не соответствующей учреждению.

Алый шарф трепетал позади неё точно вымпел на встречном ветру.

Творческий вечер прошёл удачно. Тишина была. Цветы. Лица и лики.

Возвращались в гостиницу: Белла, Нелли, Володя Жемчужников и цветы.

Зима была ранняя, погодка уж давно минусом температурила... - не Канны, однако. Впрочем, гостиница «Сибирь» располагалась недалеко.

Гостиничный номер удалось заполучить с некоторым напряжением сил, что было, в общем, нормой. А уж для люкса понадобилось внешнее влияние, что тоже было в порядке вещей. В люксах обычно размещались гости, которые вели себя по-хозяйски.

А ещё Нелли очень волновалась: не дай бог, кто-нибудь да где-нибудь нечаянно нахамит! Тоже ведь в наших палестинах дело обычное...

Напрасно волновалась. И швейцар-вышибала вёл себя удивительно по-швейцарски, а вовсе не по-вышибаловски. И гардеробщик не вымогал трёшку. И официантки в ресторане на вечернем ужине двигались так, словно никогда здесь не было ни шефов, ни подшефных.

– Какие они все хорошие, – сказала Белла.

– Да уж, – ответил Володя и вздохнул.

А Белла продолжала – тем же голосом с придыханием, голосом «сотой интонации», узнаваемым сразу и запоминающимся навсегда:

*Официант Иван Афанасьевич ненавидит посуды звон,  
Всё равно ему – оловянная, серебряная, золотая...  
И несдержанность постояльцев оборачивается злом,  
И тускнеет шевелюра его завитая.*

*Шеф-повар Антон Андрианович ненавидит всякую снедь.  
Ему бы – селедки да хлеба кусочек...  
Но супруга ему пророчит голодную смерть  
И готовит ему разносолы. А он не хочет.*

*Она идёт к нему с блюдами, как на свидание.  
Но пончики портятся, прокисает рагу,  
И лежат нетронутыми караси в сметане,  
Как французские гренадёры в подмосковном снегу...*

Это были стихи Булата. А Булат был паролем, означавшим: я свой! говори и не бойся!

И Белла говорила. Но она всегда уступала место старшим мудрецам.

Официанты и официантки остановили своё служебное кружение и стояли вдоль стенок в почтительном, но доверчивом отдалении. И за ближайшими столиками поутих звон стекла и скрежет ножей по стеклу... По большому счёту, так ничего особенного и не приключилось. Обычное дело: связующий звук речи, цепочка общего настроения, от стола к столу, от стила к стилу, от слова к слову, и все слова такие разные, непохожие, но в том тоже нет ничего необычайного, и пусть будут разные, лишь бы все шли в одну сторону, в

направлении любви...Мы же все там будем, в том пространстве! По ещё большему счёту, человек с человечеством расплачивается не медными, глупыми и блестящими пятаками пятилеток, и ведь не только в пятилетках живём – в голоцене, а такое вообщежитие – это ж совсем не то, что какая-нибудь ударная пятилетка или после дождичка в четверг полёт шмеля над морем...о, нет! голоценности жизни как таковой – и глубже, и выше, и дороже...

А на коленях Беллы дремал щенок. Он только что поужинал, согрелся и был совершенно счастлив.

Всего лишь полчаса назад он сидел на главной улице Иркутска, на улице Ленина. Он был ничей и понимал это. Он был голоден и дрожал от холода и тоски. Он заглядывал в глаза проходивших мимо людей, но в тех глазах угадывалось только то, что у людей тоже было трудное детство.

А потом его взяли на руки, чмокнули в нос и засунули под шубку.

Мимо дежурной по этажу Белла шла со щенком в руках, прижатым к груди. У щенка были весёлые глаза, он повизгивал от счастья.

Член КПСС Нелли Афанасьевна Матханова мысленно перекрестилась: боженька, дай, чтобы пронесло...

А Белла шла походкой, не соответствующей учреждению...Это уж чуть позже Лия Ахеджакова сформулировала: от бедра, от бедра...А тогда никто не формулировал, просто она шла, Белла... Подбородок выше плеч, серебряное горлышко струной натянуто и голос «сотой интонации»:

*Ударь в меня, как в бубен. Не жалея.*

*Озноб. Я вся твоя. Не жить нам розно.*

*Я балерина музыки твоей.*

*Щенок озябший твоего мороза...*

Дежурная по этажу (по-народному, «этажерка») Инга Павловна сопровождала Беллу взглядом растерянным. На лбу её собрались морщинки. Она впервые не знала, как ей поступить сейчас: по инструкции насчёт животных или по

моральному кодексу насчёт людей? Это во-первых. Но было и во-вторых. Инга Павловна никогда не читала стихов вообще и Ахмадулиной в частности...

«Клевета! – может воскликнуть какой-нибудь иркутский патриот. – Чтобы в орденоносной столице Восточной Сибири...чтобы в гостинице, борющейся за звание учреждения коммунистического труда и неоднократно награждённой переходящим Красным знаменем обкома КПСС и профсоюзов за культуру обслуживания...чтобы материально ответственный работник в лице дежурной по этажу вообще не имел понятия о русской поэзии? Нонсенс!»

«Да будет вам! – отвечу. – Ну, не имела. Не знала. И что? Эдуарда Асадова знала и даже в девичий альбомчик переписывала томительные стишки красивым почерком лет пятнадцать тому назад. А вот Ахмадулину не знала. Возможно, не снизошла. Возможно, не возвысилась...Бывает!»

Однако же постараемся понять её, Ингу Павловну, в её мучительных служебно-должностных рефлексиях: что же такое проходило мимо неё, причём с животным на руках и походкой, не соответствующей учреждению? Дама с собачкой? Так та дама вместе с собачкой и писателем Чеховым осталась в хрестоматийном далеке, а «Сибирь», однако, не Сахалин. Может, «божественный кореш», по определению Андрея Вознесенского? Может. Но только в том случае, если разбираться в определениях по отдельности: божественный – понятно, кореш – тоже ясен пень, но когда всё вместе – непостижимо одним разом, да ещё с собачкой – мама родная! хоть стой, хоть падай...

«Этажерка» устояла.

– Какая она хорошая, – сказала Белла уже в номере. – У неё добрые глаза, и по глазам видно, что у неё было трудное детство.

– И даже на лбу про то же написано, – сказал Володя и вздохнул.

Рано утром Ингу Павловну побеспокоил телефонный звонок.

– Будьте добреньки, пригласите, пожалуйста, уж будьте любезны, к телефончику Беллу Ахатовну, а то у неё в номере телефончик, я извиняюсь, ни хрена не фурьичит...

Постучала Инга Павловна в дверь, вошла, строгая и вежливая, как инструкция. И обмерла на месте...

Собачка жрёт что-то такое по-человечески вкусенькое и запашистое из хрустальной вазы-салатницы, а дама стоит перед ней на коленях и что-то мурлычет нечеловеческое...

Инга Павловна схватилась за сердце. Эта салатница под инвентарным номером! из номерного, тоже пронумерованного, серванта!.. позавчера из этой хрустальной посуды черпал ложкой чёрную икру сам товарищ Анциферов из Москвы, а завтра, может быть, будет черпать красную икру другой товарищ...

Инга Павловна зашаталась во весь свой гренадёрский рост (плюс – каблуки, они тогда были самыми модными и назывались чуть ли не по-партийному: платформы).

Инга Павловна падала – и думала в том падении: а что, в самом-то деле? одни живут как при коммунизме, а у других – не то, чтоб икру ложками лопать, а вообще жизнь хуже собачьей...

Но Инга Павловна не упала.

Она выпрямилась и улыбнулась.

Улыбнулась загадочно.

Не Мона Лиза, однако. Но нечто своё, родное, советское и социалистическое было в той улыбке.

Скажем так: улыбка Инги Павловны хранила государственную тайну. Даже так скажем, точнее, словами поэта: «и на устах её печать». Печать, охраняющая некую государственную тайну, пусть маленькую, пустячную, но всё же приятную, как всякая тайна. Тайна для внутреннего употребления.

Инга Павловна деликатно прикрыла дверь и отправилась к дальнейшему исполнению служебных обязанностей – по ковровой дорожке, грудь вперёд, подбородок выше плеч, походкой, не соответствующей учреждению.

А что дальше?

Беллу на следующий день сводили в мастерскую живописицы Галины Новиковой. Потом сходили на могилу Сани Вампилова и по-бабьи всплакнули с его осиротевшей мамой Анастасией Прокопьевной.

Перед отъездом из Иркутска Белла передала щенка Инге Павловне. Тот не возражал.

А дальше?

Советский Союз развалился.

«Сибирь» сгорела в пожаре.

Атомная подлодка «Курск» затонула.

Да много чего ещё...

А поэзия живёт. Ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Хотя у неё во все времена – трудный возраст... Представьте себе!

*...Майор товарищ Сергеев ненавидит шаг строевой:  
Человеку нужна раскованная походка.  
Но он марширует, пока над его головой  
Клубится такая рискованная погода.*

*Я, нижеподписавшийся, ненавижу слова,  
Слова, которым не боязно в речах произноситься,  
Слова, от которых кружится говорящего голова,  
Слова, которые любят со звоном произноситься.*

*Они себя кулачками ударяют в медную грудь,  
Разевают роты розовые, чтобы крикнуть трубно,  
Слова, которым так хочется меня обмануть,  
Хотя меня давно обмануть уже трудно...*

*О, нет ничего, чего бы любой не смог.  
Всё отдаётся родине: душа и тело.  
И все эти люди прекрасны, да и сам я прекрасен, как бог...  
Что до вышеизложенного – это наше личное дело.*

Это снова семиструнное противостояние Булата и злата.

Белла рядом. Но она, вся такая западная, всегда по-восточному уступала место старшим мудрецам.

И Белла ушла. Остались её книжки и две дочери, Лиза и Аня. Они уже взрослые. У одной из них – иркутское прошлое: однажды в детском доме взяла Белла на руки маленькую девочку и назвала её дочкой.

А дальше? А дальше всё будет дальше и дальше, покуда будет существовать такая даль, как русский язык, наше общее и подлинное отечество.

5 декабря 2010 г.

### **ЧТО ПЕРЕДАТЬ КОМЕТЕ?**

Потомственный иркутский астроном Сергей Язев с телеэкрана однажды уговаривал население воспринять без юмора космическое намерение кометы Хейла-Боппа и именно в ночь на 1 апреля 1997 года (в начинающийся День смеха!) выйти на свидание с ярчайшей небесной странницей; в это время она приблизится к Солнечной системе на минимальное расстояние (между прочим, я как раз в Солнечном микрорайоне живу), после чего комета начнёт удаляться от нашего галактического микрорайона и появится в поле зрения жителей Земли только через две тысячи лет.

- Не упускайте своего шанса! – призвал Язев.

Вот такой шансонье с телескопом у нас звёздами заведует.

Известно: первый апрель – никому не верь. И мы Сергею не поверили. Разве что призадумались слегка вослед римским историкам, которые утверждали, что небесные знамения являются спутниками великих событий. А почему бы и нет?!

Уж не она ли, эта самая комета Хейла-Боппа, была той звездой на северном небосводе, которая две тысячи лет назад взбудоражила волхвов-астрологов? Звезда шла по небу, волхвы пошли за звездой и разом остановились, дойдя до города Вифлеема Иудейского. Несколько дней сияла звезда над городом, потом отправилась дальше по своим небесным делам, а волхвы нашли в яслях новорождённого Иисуса...

Если так, то евангелисты, оказывается, ничего не придумали. Но где теперь Иисус? Где евангелисты? Где волхвы? Один Язев, Сергей Арктурович... Но зато звезда вернулась через

определённый свыше срок, через двадцать веков. И Серёжа публично уговаривает население поболтать с ней накоротке да что-нибудь этакое лично-сокровенное передать через неё будущим потомкам, в немыслимо далёкие времена. Космический факс-фокус, что ли? Кванты Канта? Приглашение к Фламариону?

Что передать вороне – это ещё куда ни шло. Это просто. Об этом писатель Распутин догадался. Но ворона – это всего лишь ворона. Она должна жить триста лет. Должна, но не живёт, не утруждается. Три-четыре года пошарится по нашим помойкам и помирает. Однако, в принципе, даже ей, скоропостижной, можно что-то передать... Но чтобы – в четырёхтысячный год? Нет, это уже, извините, ни в какие ворота не укладывается. Потому что мы позволяем себе мыслить весьма земными воротами.

Вот знаменитый дирижёр Владимир Федосеев громогласно заявил, что в ночь наступления XXI века будет исполнять «Торжественную мессу» Бетховена. Это он ловко придумал. Во-первых, календарь-то на Земле придуман, не из Вселенной же спущен! Во-вторых, наш календарь вроде бы и не касается напрямую бетховенской мессы, то есть того же космоса. Ну, а в-третьих, всё же такое косвенное прикосновение – через косность к космосу – вполне возмож-но, потому как до конца одного столетия и до начала другого – кот наплакал! всего каких-то несчастных три годика...

- А вы, - говорит астроном Язев, - всё же попробуйте! Передайте комете чего-нибудь, ей приятно будет...

Ага, разбежались... Ни за что! И вообще, чего они воображают, эти сами себе на уме учёные, астрофизики, понимаешь, метеоретики... Циничные, как патологоанатомы. Может, даже хуже. Простой человек для них – уже не просто суповой набор или, скажем научно, организованный мусор из всяческих переодических и непериодических элементов, но – полное ничтожество, хуже последнего атома, для которого в таблице Менделеева даже самой крошечной клеточки не нашлось. Какое им дело, таким учёным, до наших очередей к Мавзолею, до замороженной рыбы хек, до ботинок фабрики «Скороход», когда ихнее, то есть учёное, пространство и время

составляют жутко таинственные и уму непостижимые парсеки? А ведь парсеки – это даже не генсеки, обречённые на вечность, или ещё какая-нибудь ритуально-виртуальная служба...

- Да вы попробуйте, - настаивает Язев, - передайте!

Мы с женой взяли хрупкий театральный биноклик.

Вышли в ночь, в предстоящий День смеха и всеобщего неверия.

И – передали.

- Что? Как? – спрашивали потом дочки Ксюша и Лера.

А так! Молча.

«Здравствуйте. Это мы».

## О ВИТАЛИИ ДИКСОНЕ

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Октябрь 2011, Мюнхен

Если коротко: сибиряк, автор семи книг, прирожденный писатель, талант – своевольный и неукротимый, вроде природного явления.

Если говорить подробнее, то начинать следует с писательского языка. Этот дар, которым наградила Диксона природа (да и все небанальные обстоятельства жизни, и десятки, если не сотни, встретившихся на его путях колоритных людей), этот язык не просто богат – он ошеломляюще разнообразен. По нему можно писать диссертации, приглашая для ошеломления текстологов, заскучавших от газетного сукна.

Правда, иногда Диксона заносит! И вот, например, какой перебор получается: «За квадратным ресторанным столом пошли перекрестные диалоги, не мешавшие один другому; фразы, не сталкиваясь, проходили насквозь друг дружки, как шеренги военных музыкантов на показательных выступлениях, и без проблем достигали адресата; но когда в воздушном пространстве над столом пересекались одинаковые слова вроде «давайте» и «будем», то они, совпадая на встречах курсах, создавали согласный звон, напоминавший увлеченным собеседникам об очередном наполнении рюмок».

Эрудиция Виталия Диксона заслуживает специального изучения.

От такого спонтанного, изобильного автора наивно было бы ожидать самоограничения. Через него говорит сама стихия бытования гомо сапиенс на земле. Причём не в абстрактном времени, а именно в нашем, сумасшедшем, играющем в чехарду с самим собой. Тем более хочется отметить и поприветствовать желание писателя, странствующего по Сибири и её окрестностям (Москва, Петербург и т.д.), «остановиться, оглянуться» и отдать отчёт себе и читателю: ради чего же затеялось это, преображённое художественным даром, драматическое пиршество жизни...

## ZUR PERSON VITALY DIKSON

Kurz gefasst: ein Sibirjak (*geb. 1944 in Krasnojarsk*)\*, Autor von sieben Büchern, ein passionierter Wortesammler, ein Talent so eigensinnig und unzählbar wie eine Naturgewalt...

Das Ins-Detail-Gehen beginnt mit der Sprachgewalt des Künstlers. Diese, ihm wohl in die Wiege gelegte Gabe, sowie die ungewöhnlichen Lebensumstände, eine erstaunliche Kultiviertheit, dutzende und aberdutzende ihm begegnete markante Persönlichkeiten – all das macht Diksons Sprache nicht einfach nur reich, sondern auch verblüffend abwechslungsreich. Auf seinen Texten können Doktorarbeiten basieren, die bei der Verteidigung die Kritiker und Zweifler aus der gewohnten Lethargie wachrütteln.

Natürlich übertreibt Dikson manchmal. Das führt dann beispielsweise zu solchen Ausschweifungen: *„Das Gespräch am quadratischen Restauranttisch brach in Dialoge aus, die zwar über Kreuz gingen, sich aber gegenseitig nicht störten; die Repliken bildeten aneinander abgestimmte Reihen, harmonisch wie geübte Militärmusiker auf einer Vorzeigeparade, und sie erreichten problemlos den Adressat; doch sobald gleiche Wörter wie „lasst uns...“ oder „auf uns...“ in der Luftblase über dem Tisch aufeinanderprallten, ergaben sie zusammen einen stimmigen Klang, der die lebhafteste Runde daran erinnerte, erneut die Gläser zu füllen“.*

Offengestanden, es wäre doch naiv, von so einem spontanen und unerschöpflichen Autor eine Selbstzügelung zu erwarten! Durch ihn spricht das Grundelement des menschlichen Daseins auf Erden. Und das nicht etwa in einem abstrakten Lebensabschnitt, sondern genau jetzt, in unserer wilden, über sich selbst stolpernden Gegenwart.

Umso mehr freut man sich über die Entscheidung Vitaliy Diksons, seine Wanderschaft durch Sibirien und dessen bekannten Vororte (Moskau, St. Petersburg etc.) zu unterbrechen, einen Moment lang stehen zu bleiben und zurück zu blicken, um für sich selbst und für den Leser nochmals den Grund fest zu halten - den eigentlichen Grund für diese kunstvoll verzierte dramatische Schmauserei des Seins...

Übersetzung  
**Xenia A. KULIKOVA**, Berlin

\* *Anmerkung des Übersetzers*

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Есть у меня корзина. Она стоит под столом, со всех сторон проветривается и собирает пыль. Время от времени в неё слетаются: листочки, старые блокноты, исписанные салфетки и папиросные пачки, клочки газет...

Написанное, нечитанное, ненапечатанное, неизданное. Строго говоря, неопубликованное.

Вот и пусть она, корзина неопубликованная, так и называется: **неопублицистика**. Причём «нео» не означает «новую» публицистику. Всё гораздо проще: новая жизнь старого слова.

Из книги «Ковчег обречённых» (1999)

## Скверная история

*Эта заметка Анатолия Кобенкова была написана в сентябре 1991 года, после публикации в газете «Советская молодёжь» статьи В.Диксона «Игра в классики, или Нужны ли нам уроки французского?». Речь в этой статье шла о неблагоприятной роли В.Распутина в деле идеологического обеспечения августовского путча, в том числе, и о сотрудничестве писателя с охранительными органами. На статью В.Диксона в то время накинудись многие: и черносотенцы советской империи, и православные патриоты... Заметка Кобенкова предназначалась к публикации в областной газете «Советская молодёжь». Напечатана не была. Машинописный подлинник – в архиве В.А.Диксона.*

Скверно питаемся, скверно пишем, скверно живём.

Много говорим, много пьём, излишне злимся.

Пейзаж, интерьер потоплены в мелочах.

День: от стола – к ящику, из очередей в очередь, от ящика к газете.

Ночь: перевариваем скверную пищу, скверную информацию, скверные газеты.

При слове «перестройка» нервно хохочем, при «демократии» вздрагиваем, при «беженцах» отмалчиваемся: все мы – беженцы.

Бежим в суету, думая: из суеты. Бежим от Пушкина, думая: к Пушкину. Бежим от Бога, вопя: «К Богу!»

Скверная жизнь...

Один приличный человек прилюдно награждает пощёчиной человека, сработавшего на Третье Отделение.

Как обыкновенно реагируют на такое в приличном обществе?

Скорее всего, молчаливо одобрительно.

Если кто-то и становится на сторону «обиженного», то разве что само Третье Отделение.

Таковы негласные правила.

А что у нас?

Виталий Диксон отвесил пощёчину Валентину Распутину – за фискальство, непорядочность, подлость, но прежде всего (ибо

Диксон – литератор) за предательство по отношению к русской литературе, к собственному, бесспорно, большому таланту, к своим книгам.

Скверная история!

Не знаю, что должен в этом случае делать Распутин, но знаю, что, имея право на покаяние, он не имеет права на защиту.

Что далее?

Далее мало кому известная газета публикует письмо, подписанное мало кому известными «писателями», «социологами» и даже «психологами»: не отдадим Распутина, ату Диксона!

Выходит, для всех, кроме Диксона, сотрудничество с Третьим Отделением – поощрительно, а фискальство – норма?

Или же большому таланту всё простительно?

Или, действительно, как сказал богослов Ньюмен, «если Антихрист похож на Христа, то и Христос похож на Антихриста», и каждый из нас вправе действовать согласно увиденному: по отношению к Христу – коленопреклоненно, по отношению к Антихристу – демонстративно брезгливо?

Распутин – Христос?

Распутин – Антихрист?

Полноте, господа! Распутин – человек, заслуживший пощёчину.

В приличном обществе об этом помалкивают.

Мы же – общество скверное.

Потому и болтаю...

**Анатолий КОБЕНКОВ**

## Приложение II

Андрей Тимченев

**ХОЛМ**

Поэма

*Виталию ДИКСОНУ*

### Холм I

О Русь, ты уже за холмом!..

.....  
не вернутся твои поезда, –  
говорит вослед смерть-подрядчик, –  
ты покинул Русь навсегда.  
Ива о том же плачет.

Одуванчики пойдут в путь,  
закрываясь от ветра,  
чтоб от себя раздуть  
русское солнце медленное.

Где та станция?!  
Где тот путь,  
На котором живет Ярославна?  
Обо всём, обо всём забудь  
На станции Смерти, странник.

\*\*\*

А дым без рук,  
без ног,  
на гору продирается,  
на которой лысый старик стадо звёзд пасёт...  
Кровохлёбка-трава тянется,  
только навряд ли кого спасёт...

Дым чёрной птицей над полем летит,

меж трупов лошади мечутся...  
Это ночь у изголовья стоит  
с удавкой Пути Млечного.

Князь.

Покати Горошек да брось  
из своей разъятой груди мышь  
скуки смертной пустил в рожь  
да сам вслед за ней на тот свет вышел...

А на том Ярославна тревожным сном  
забылась  
        снилось  
                будто у ворот в дом  
чёрная мышь скоблилась...

\*\*\*

Да ещё  
человек-ветер  
        стал с ковра-самолёта руками махать,  
в медное яйцо скатывать поле,  
        кровью пропитанное,  
чтобы оно научилось тише травы кричать  
и молчать громче человеков повитвы.

Затем у жён собрал слёз лохань,  
яйцом серебряным обернул,  
слушать,  
как на всю загробную тьмутаракань  
стоит гул.

А потом взял земли степной,  
скатал её в жаркий подсолнух.  
Это, – сказал, – золотое яйцо  
Родины, – сказал, – солнце...

\*\*\*

Из трещины человек много ночей

вытягивает кустарник тела.  
В спелых глазах взгляда-дороги  
лоскут посмертного неба...

Корни тянутся к тощей глине  
под ногами молчать прохожих.  
Улыбки листья  
с кровью осенней спадают с кожи...

Листопада оскалом лисьим  
смыкает на горле челюсти  
осень.

Когда сквозь листья  
ты видишь, душа светится...

Зачем, Ярославна, ты сердце моё  
в сердце куста вложила,  
всё равно найдёт вороньё,  
всё равно один куст могила.

## Холм II

О Русь, ты уже за холмом...  
Не всесилен хирург дотошный...  
И взмахнула птица крылом,  
выскользнула из-под кожи...

Солнце день в степи воротит,  
Как в расколоте черепа кровь,  
И стоит печаль на пути  
С песней продольной в гроб...

\*\*\*

Литерные поезда,  
самолёты, да не ковры...  
Хороша на тот свет езда,  
это вам не сломя вихры...



невоплощённое тело лебедя...

\*\*\*

И пойдут его корни ног  
за холмы  
    преклониться проруби,  
что раскинулась небом на сто дорог,  
под дорогой звезды Коло.

\*\*\*

Я смотрю, как Ярославна полынь жуёт,  
как смеётся,  
    но так, что по лицу неподвижному  
смех насекомым ползёт,  
не имеющим никакого отношения к жизни!  
А потом говорит:  
    Тебе ни за что не вернуться!  
Вон, и Ива,  
    видишь.

    о том же плачет!

А я ношу маску скорби,  
которая ровным счётом ничего не значит!

Я прошу подругу свою Ольгу  
спеть мне про разлуку песню...  
Но я ношу свою маску скорби,  
когда мне невыносимо весело!  
А потом она прячется от меня  
    в высокой траве  
с безумным взглядом,  
    словно в прятки играя...  
– А ну, скажи, любимый,  
    где же я?!  
    Где?!

Скажи, любимый!

    А то я сама не знаю...

И вытягивает над своей головой руку,  
говоря:

– Думаешь, это моя рука?

Нет!

Это птица, накликавшая разлуку!

Видишь,

в глазах её

какая тоска?!

И вдруг подходит ко мне осторожно,

сбрав в руку тяжёлые волосы,

– Смотри,

как лезет из-под моей кожи

река моего голоса.

Видишь, сколько в ней нот-одиначеств!

Она больше не умеет кричать или плакать,

теперь ей больше всего хочется

просочиться

сквозь эту землю

по капле!

А потом,

вдруг засмеявшись звонким,

почти детским смехом,

она закружилась в каком-то

неистовом танце долгом,

пока не обернулась

травинкой жёлтой

с протяжным эхом!

\*\*\*

Посудомойку взяв в подручные,

пошла череп искать любимого,

к солнцу дикорастущему

на самом краю мира длинного...

В глиной набитом коробе,

жаркую кровь точащей,

голоса бродят

безучастные чаще...

Если взять глины пригоршню,  
мёртвый череп обмазать,  
в него будет эхо длинное  
сквозь зеркала проскальзывать.

В ночи будет голос любимого,  
шепнуть только слово заветное,  
через отверстие рта размытого  
с того света на этот следовать...

Посади его голос на высокий шест,  
колядой покати по небу,  
чтоб прожжёт до небес,  
где сама смерть  
клушей без дела бродит...

Нет, – говорит Ярославна, –  
я его никому не отдам,  
и без него чересчур светло,  
дождь давно не ходил в облаке.  
Лучше я посажу его под окном  
растить под землёй корни...

К весне пустит побеги рта,  
по ночам мне слова нашёптывать,  
а я буду водой поливать  
и укрывать от пожара.

### Холм III

Сначала степь была внутри меня,  
и стебли путались внутри сознания.  
Ветер  
их шевелил.

И было – не объять  
системы корневой,  
и шли столетья  
трамваями извилин по кольцу,  
где замыкалось взглядом мирозданье,

и брат мой Суслик слёзы по лицу  
раскладывал, когда мне  
в познании мерещились миры,  
где, поезд ожидая на перроне,  
жизнь выходила шавкой из игры  
малёванной пикушкой на картоне...  
Я степь носил в себе,

как пустоту,  
которая в предчувствии распада  
перешагнёт за тьму и немоту  
и развернётся ширию снегопада,  
где каждая снежинка, как окно  
для путника, бредущего во мраке,  
как то окно, что зажжено давно,  
чтобы душа откликнулась на знаки,  
чтобы в метели улиц и дворов  
не заплутать степному отщепенцу,  
вытягивая в горле кислород  
струною горизонта.

И как сердце  
восходит солнце, разгоняя кровь.  
Моих два глаза птицами степными  
парят над миром,  
им равно – любовь  
и ненависть.  
Им только крест да имя  
дарованы...

И это уже ночь  
сменила день.

Весна сменила зиму.  
Сплели столетья дёрн ковром восточным  
небрежным мастихином.  
И Суслик был мне продолженьем рта.  
Был обращеньем к Богу!

Запрокинув –  
с его лица свистела немота,  
слезами орошая мою глину...  
Потом я степь извергнул из себя.

В надсадном кашле – сгустки крови,  
комья;  
и две дороги, много лет подряд  
пылающие болью в изголовье.  
И я их всадник. Человек и Конь,  
войны и мира страж на перекрёстке,  
где жизнь и смерть в своём котле зловоний  
варили время на извёстке...

\*\*\*

Шли посвистом дороги. На узде  
Скипелись губы ветра. В колыбели  
Томилось солнце, и везде, везде  
Мерцающие звезды индевели.

#### Холм IV

Стремглав уходит день из ночи,  
на удилах кровавой пены  
заката сполохи и клочья  
висят. И месяц был посеян  
травой-календулой на взгорке,  
где степь ворочалась в удушье,  
где смерть пыталась стебель горький  
переложить в рожок растущий.

В удушье сновидений билась  
земля в объятьях океана,  
и жизнь так бесконечно длилась  
и так заканчивалась рано...

Тьмы одиночеств на распутье  
по звёздам свой удел гадают,  
и каждому дорога будет,  
какой не выбирают.

Никто её не выбирает,  
и от неё не отказаться,  
и жизнь так бесконечно знает,

что может смертью оказаться.

Травой-календулой посеян  
твой час последний на пригорке,  
и степью ходит мир осенний,  
покусывая стебель горький

Стремглав уходит ночь. Светило  
за нас все наши тьмы рассудит,  
где всё так бесконечно было,  
как никогда уже не будет.

[2005]

*(Публикуется по рукописи с авторской правкой)*

### МЕЖДУ ГОРОЙ И МЫШЬЮ

Заметки по поводу «Размышлений над Февральской революцией» Солженицына

Сначала – о Толстом Льве Николаевиче. Известно его литературно-творческое намерение перейти от общей проблематики исторического процесса в России к разматыванию, по его выражению, «узлов русской жизни».

Теперь – о Солженицыне Александре Исаевиче. Историческая эпопея «Красное колесо» состоит, по его замыслу, «из системы Узлов, то есть сплошного густого изложения событий в сжатые отрезки времени, но с полными перерывами между ними». Узел Первый «Август Четырнадцатого», Узел Второй «Октябрь Шестнадцатого», Узел Третий «Март Семнадцатого»... – продолжение следует: таково авторское свидетельство от 1990 года.

В сентябре 93-го я спрашивал у Никиты Струве, парижского издателя сочинений Солженицына, о таком «узле», как Февральская революция. Никита Алексеевич почесал седую эспаньолку и дипломатически ушёл от ответа.

И вот – публикация в правительственной «Российской газете» обзорной статьи Солженицына «Размышления над Февральской революцией», датированной 1980-83 годами. К нынешнему времени у меня сложилось представление о «Красном колесе» как о громоздком компилятивно-беллетризированном изложении архивных материалов по российской истории, хранящихся в американских университетах и имеющих свободный доступ к ним посредством обычной для американских исследователей

электронной почты. Вопрос вопросов: а не породила ли межконтинентальная архивная гора архаичную российскую мышь?

Тогда Александр Исаевич проживал в Вермонте. В фильме о Солженицыне Станислав Говорухин тщательно исследовал кинокамерой «укривище отшельника», напичканное наисовременнейшими средствами коммуникации, о которых творческой интеллигенции в Советском Союзе даже и не грезилось. И попутная технология творчества исследовалась режиссёром: Александр Исаевич ножницами стрижёт, склеивает куски, что-то собственноручно вписывает, а дети набирают текст на компьютере, славные растут мальчишки, а жена Наташа отсылает очередные сочинения в Париж, в издательство ИМКА-ПРЕСС к Струве... Фабрика, цех, конвейер. Семейный подряд...

Тогда мне в очередной раз вспомнился Лев Толстой и яснополянский, по словам Бориса Эйхенбаума, «целый штат родных и знакомых», занятых перепиской и перепечаткой рукописей на чудо-технике, пишмашине «Ремингтон»... а Лев Николаевич хватывал те распечатки и снова правил, правил... Рукописи одного только «Воскресенья» заняли целый сундук! Графиня Софья Андреевна таким поведением мужа была весьма недовольна, она ведь книгоиздательскую коммерцию вела, некоторые книжки пудами, на вес отпускала в продажу, а муж всё мудрит... Впрочем, иногда на неё снисходило сочувствие, и тогда она отписывала своей подруге: «Анну Каренину мы пишем наконец-то по-настоящему, то есть не прерываясь»...

В затылок Солженицыну упирается взгляд Толстого – суровый, как у ветхозаветных пророков.

Иногда Александр Исаевич ревниво оглядывается.

И правильно делает: чтобы распутывать «узлы русской жизни», надобно быть хоть немного Толстым и поступиться смиренностью новозаветных апостолов, евангельских.

...Читаю «Размышления» – и вижу солженицынскую историю России – вне истории, вне диалектики – как волюнтаристски изобретённую модель, основанную на претенциозной концепции, изложенной к тому же чудовищным, искусственным языком. Поисковая мысль Солженицына в

отборе образца государственного устройства упирается чуть ли не в допетровскую Русь.

Ко всему прочему – не отпускает, наоборот, преследует, назойливой тенью витает над текстом поведенческий образ писателя, им же самим созданный, но накладывающий, вопреки замыслу писателя, на все его сочинения последних десятилетий вторичную тень читательского недоверия и даже недоброжелательности. Тени-то ведь не скажешь: знай своё место!

Странно: в историческом мышлении Солженицына движения нет, в личной же жизни – хоть отбавляй, на десятерых с лихвою: от юношеского проекта «ЛЮР» («Люби революцию!») – до идеологически противоположного «Красного колеса», однако не в этом странность, а в той страстности, которая сопровождает промежуточные кардинальные извивы жизни и творчества, немедленно оповещаемые всему миру: так курица-несушка делает.

В центре извивов – образ страдальца в лагерной робе с эковским номером на груди... Эта фотография обошла весь свет ещё до высылки Солженицына из СССР и немало поспособствовала его популярности за рубежом. Тогда никто, а уж тем более за границей, даже соображать не стал, что «фотосессии» в советских зонах заключения есть дело невозможное. Лишь недавно обнаружилось: липа. В посмертной книге Н.А. Решетовской «В круге втором» помещены эти фотографии салонной съёмки с пояснением: постановочная реконструкция после освобождения. Спектакль, стало быть. Маленькая ложь, с которой ещё можно жить. Но в той же замусленной телогреечке Солженицын вылетел на Запад, лагерную котомку с сухарями прихватил, и перед борцом за освобождение Генрихом Бёллем, выходит, ваньку валял, и Шведскую академию с её конъюнктурной Нобелевской премией обвёл вокруг пальца, после чего, пребывая в цивилизованном мире, принялся учить европейцев, как им обустроить Европу, а те не поняли новоэмигрантских припадков любви к революционным усовершенствованиям и, естественно, не послушались, чем и обидели Солженицына, и подался он в США, где стал обличать ихний Сенат, Конгресс и Президента, и

учил их, как им обустроить Соединённые Штаты, а те быстро всё сообразили и утратили к вздорному вермонтскому домовладельцу всякий интерес, и что прикажете делать домовладельцу? кого учить? – но тут в самый раз нагрянула горбачовская перестройка с «новым мышлением», Ленинград переименовывают, Александр Исаевич категорически предлагает устроить «Невоград», а ему отвечают: возвращайтесь, Александр Исаевич! – но Александр Исаевич ставит суровые условия: а вы сначала напечатайте все мои сочинения массовым тиражом! – и вскоре книжно-журнальный рынок был завален теми сочинениями, в московском метро четырёхтомник шёл по курсу одной бутылки водки, утренний народ соглашался обменивать даже за чепуху, суперизлишек обернулся оскоминами девальвацией и снижением читательского интереса, и тогда Александр Исаевич, предварительно озадачив СМИ очередным манифестом «Как нам обустроить Россию», въехал «царским поездом» на территорию Отечества, в крупных городах по Транссибирской магистрали останавливал свои спецвагоны и благосклонно внимал истерично-маскарадным покаяниям бывших партийных дам...

Читаю «Размышления» – а вот такие несерьёзные мысли – «в сплошном густом изложении событий в сжатые отрезки времени» – лезут в голову, вызывая к участию целый рой производных от дурно понятого французского слова «avant»: идёт по современности Александр Исаевич, походка творческая – затылком вперёд, лицом назад, и какой в нём пламенный революционер вянет-пропадает!.. Впрочем, одно более-менее рациональное соображение всё же появилось: Солженицына надо ловить на слове, как карманного вора – за руку. Не поймашь – не докажешь. Первым, по-моему, это сделал чех Томаш Ржезач в далёком уже 1978 году. Недавно, в 2002 году, – Владимир Войнович в «Портрете на фоне мифа». Кто следующий? Будет и следующий, и последующие, которым, по сути, достаточно сказать всего-то три фразы: «Быть великим можно. Сыграть величие нельзя. Солженицын играет». Но для них, будущих «мальчиков пред королём», уже сейчас припасено слово охранительное: *...эти потёмщики, эти заглочки и*

*оуждатели внимливо взыркивают и облыгают взгончиво... и страх, и ужас тому, кто в дремчивом отшельстве и укывище!..*

Вряд ли нынешние «Размышления» привлекут внимание серьёзных историков. Но ведь не напрасно замечено: говори, говори, что-нибудь да останется! Скорей всего, и в самом деле останется. Что-нибудь вроде солженицынского «сбережения народа», пара слов, которую Президент Путин с государственной значимостью и со ссылкой на Солженицына озвучил в одном из недавних ежегодных Посланий. Сочинители президентских речей, вероятно, и слухом не слыхивали о рассуждениях Михайлы Ломоносова «О размножении и сохранении российского народа», датированных 1 ноября 1761 года. Очень жаль спичрайтеров, которые поленились. Одновременно и Александра Исаевича жаль, который не поленился Ломоносова изучить с карандашиком в руке. В записке первого российского академика, помимо взятых на карандаш мудрых мыслей, ещё многое нуждается в популяризации: об истреблении праздности; о вреде церковных обрядов, насаждаемых монахами-блудодеями и попами-невеждами; об исправлении земледелия и распространении ремесленных дел и художеств; о лучших пользах купечества и государственной экономии; наконец, о сохранении военного искусства во время продолжительного мира... Очень кстати.

*6 марта 2007 г.*

PS. 1) «Моторчиком» многих солженицынских PR-кампаний, в том числе и нынешней, выступает супруга писателя, Наталья Дмитриевна. Публичность её выступлений лишь подчёркивает её личные слабости – как мыслителя и общественного деятеля. Но в этом плане, то есть по части завязывания «узлов» вместо их распутывания, Наталья Дмитриевна лишь немногим уступает графине Софье Андреевне. А пиар костей не ломит.

2) Великий и могучий Советский Союз на самом деле был таким гнилым и хлипким, что шатался от любых выходов одного умного и расчётливого авантюриста. Почему же ныне не

назвать Солженицына тем, кто он есть? А потому, что стыдно. Ведь нынешней постсоветской власти в таком случае надо признать очевидный факт: своей победе она во многом обязана не народным массам и не собственным либерально-демократическим потугам, но умышленным трюкачеством ловкого игрока. А такое признание сейчас невозможно: оно обескуражит, обесценит пир победителей и обернётся козырной картой в руках прокоммунистической оппозиции.

3) А ещё мне вспомнились русские пословицы, до которых столь охочь Александр Исаевич. И первая из них – «Хвост собакой виляет» – исчерпывает тему до конца, до дна. Но там, на доньшке, мерцает: «Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?»

**Виталий ДИКСОН**

*«Байкальские вести». – №11. –  
20 марта 2007 г.*

### **ВЫ ПИШИТЕ, ВАМ ЗАЧТЁТСЯ...**

О статье Виталия Диксона «Между горой и мышью»  
(«Байкальские вести», № 11, 2007 г.)

Товарищ Диксон, Вы большой учёный. В языкознании знаете Вы толк. А ещё Вы писатель. Мастер. Если бы вы не были писателем, уже первое предложение Вашей статьи – «Сначала о Толстом Льве Николаевиче» – звучало бы несколько сомнительно. Очень уж оно многообещающее. Сначала разберёмся со Львом Николаевичем, потом ещё с кем-нибудь, и так далее, по списку русских классиков. И всем воздадим по заслугам. Но Вы, Виталий Диксон – писатель. Лев Николаевич писатель, и Вы писатель. Александр Исаевич писатель, и Вы писатель. Гомер, Мильтон и Вы.

Писатель земли русской на страницах газеты высказался о двух других писателях земли русской. К одному, Льву Николаевичу, проявил снисхождение – с высоты своего собственного вклада в мировую литературу. Другого, Александра Исаевича, изругал всячески. Оно, собственно, кто

сказал, что Александра Исаевича нельзя ругать – он живой человек, не икона. Вы и изругали. Вам было приятно? Вы – доставили себе удовольствие? Хорошо, если так. Хорошо, если доставили. Это было бы хоть каким-то оправданием тому, что Ваша статья вообще была написана.

Для чего Вы её написали? Может быть, Ваша статья – это полемика? Информационный повод здесь – выход солженицынских «Размышлений над Февральской революцией». Вы – полемизируете с автором? Вы – приводите из статьи Солженицына какие-то факты, опровергаете их, со ссылкой на внушающие доверие источники? Вы занимались фундаментальными исследованиями в области русской истории, Вы можете поспорить с автором? Нет, вы с ним не спорите и ничего Вы не опровергаете. Нет никакой полемики. Есть вердикт: «Вижу солженицыновскую историю России как волюнтаристски изобретённую модель, основанную на претенциозной концепции, изложенной, к тому же, чудовищным, искусственным языком».

Вот так. Сказали как отрезали. Вы намекаете, что, изучая русскую историю, проделали работу, по объёму сопоставимую с той, что проделал Солженицын? И потому можете Солженицына судить? Где доказательства? Вы можете предъявить нечто, созданное Вами, что можно поставить в один ряд с «Архипелагом ГУЛАГ», «В круге первом», тем же «Красным Колесом»? Естественно, Вы не можете. Так чего, в таком случае, стоит Ваше мнение?

Другой момент, относящийся к статье Солженицына, – Ваш разговор со Струве. Точнее, Ваш не-разговор со Струве. Потому что, как Вы сами пишете, «Я спрашивал у Никиты Струве о таком «узле», как Февральская революция. Никита Алексеевич почесал седую эспаньолку и дипломатически ушёл от ответа». Всё, никакого продолжения. Тема закрыта.

Ну и что Вы этим хотели сказать? Мысль-то Ваша какая? Февральская революция не «узел»? Солженицын не так написал про Февральскую революцию? Февральской революции не было? Вам издатель Струве ничего не сказал. Издатель Струве промолчал. Вы о чём вообще пишете? И зачем Вы это делаете? А я знаю, зачем. Вам невыносимо хочется сообщить, что Вы с

известным парижским издателем Струве имели разговор. Со Струве на дружеской ноге. Вот Вы и пишете заведомую бессмыслицу, нисколько этим не смущаясь. Это в Вас из «Бесов», карамазиновское «Не смотрите на утопленницу, смотрите на МЕНЯ – как я стою, прикрыв глаза рукой, не в силах вынести этого зрелища».

И третий раз Вы упоминаете солженицыновскую статью – опять совершенно непонятно для чего. Солженицын взял за основу ломоносовские размышления о «Размножении и сохранении российского народа» – так что с того? Я, естественно, не понимаю, в связи с чем Вы тут подпускаете столько яду. Он же не «Майн кампф» за основу взял. Нет в такого рода преемственности ничего дурного, одно хорошее, и никоим образом обращение к ломоносовскому труду Солженицына не компрометирует, и компрометировать не может. Так ЧТО Вас подвигло об этом писать? У Вас чесалось заявить, что Вы – Ломоносова читаете? Простите, другого разумного объяснения нет. Вы пишете: «Сочинители президентских речей, вероятно, и слыхом не слыхивали о рассуждениях Михайлы Ломоносова». Надо понимать так: «Сочинители речей не слыхивали, а я вот слыхивал, читывал». Это всё то же, карамазиновское: «Восхищайтесь мною, хвалите меня, как я это люблю». И Катилину Вы за этим же приплели. Это Вы образованность свою показать ХОЧЕТЕ?

Вы, не зная латыни, латинские фразы списывать умеете? Ну так вы, писатель Диксон, мир удивили! И зачем, скажите на милость, Вы под статьёй написали «6 марта 2007 года»? Читателю-то не всё равно, 6-го, 7-го, 8-го. Я специально посмотрела, может, в газете так принято – нет, все другие материалы в номере без даты, один Ваш с датой. Потому как – нетленный труд. Как говорит мой сын: «Все дети так». Все великие так. «В. Набоков, май 32-го, Берлин».

Ещё одна прелестная деталь. Вот это Ваше «Дурно понятое слово avant». Можно дурно говорить по-французски. Может быть стыдно тому, кто подумает об этом дурно. Слово может быть понято – неправильно. Но слово не может быть понято дурно. Мне кажется, я знаю, чем Вас прельстила эта фраза. В глазах читателя она как бы уравнивает Вас с людьми, которые

жили в своих особняках на Морской, просыпались от того, что истопник громко стукнул заслонкой, воспитывались боннами и никогда, ни при каких обстоятельствах не могли бы неправильно понять значение слова *avant*.

Но это Ваше «дурно понятое» выдаёт Вас с головой. О Вас не создаётся представления как о человеке, который никогда не ошибётся с французским словом – Вы и в русских-то путаетесь.

Вы заявляете, что солженицыновская статья написана чудовищным, искусственным языком. Естественно, Вы, гражданин, не понимаете. Вы всё перепутали. Это Ваша статья написана чудовищным, искусственным языком. Рецепт создания чудовищного, искусственного языка: для этого нужен, прежде всего, неграмотный человек. Вы человек неграмотный. Ведь Вы же – человек неграмотный? Вы пишете: «оповещаемые всему миру», «даже соображать не стал, что фотосессии есть дело невозможное», «пара слов, которую президент озвучил в выступлении», «суперизлишек», «постановочная реконструкция», «поведенческий образ». Да, Вы – человек неграмотный.

Ещё для создания чудовищного искусственного языка нужно, чтобы неграмотный человек испытывал непреодолимую тягу к построению громоздких словесных конструкций: «Не отпускает, наоборот, преследует, назойливой тенью витает над текстом поведенческий образ писателя, им же самим созданный, но накладывающий, вопреки замыслу писателя, на все его сочинения последних десятилетий вторичную тень читательского недоверия. Тени-то ведь не скажешь: знай своё место!» Вот это и есть тот самый чудовищный, искусственный язык. То самое разоблачение, которого Вы так настойчиво добивались. И что Вы, в самом деле, за всех читателей говорите? Кто Вас уполномочил? Зрительская, то есть читательская масса, как будто, ничего не выражала. Я тоже читатель, у меня есть тень, и я даже допускаю, что она может на что-нибудь лечь. Но никакая эта тень не вторичная. Потому что тень не может быть вторичной. Как не может быть осетрина второй свежести. Как не может развеяться червяк сомнения, потому что он не туча и не батальон.

Про ватник Вы – зачем написали? Сфотографировался Солженицын в ватнике уже после лагеря. Ясное дело, кто ему в лагере позволит. Что из этого следует – что Солженицын в лагере не сидел? Ведь Вы же не пытаетесь утверждать, что он – не сидел. Так какая тогда разница: до, после, что это принципиально меняет, кого и в чём изобличает? Подумал бывший лагерник: как ему западной публике в зажиревшее ухо втиснуть тихое слово? И сфотографировался. В ватнике. Равнодушие сытых – штука страшная, а Солженицын не шестикрылый серафим. Он борец. Ему нужно было, чтобы сытые его услышали, и он – заставил себя услышать.

И русские пословицы Вы лучше бы не трогали. Эка сила – припечатали Солженицына пословицей: «Хвост собакой виляет». А ещё есть пословица: «Собака лает, ветер носит». А ещё говорят – «Собака лает, караван идёт» – так что с того?

Вы написали пустую, малограмотную и грязную статью о Солженицыне. Это Ваше право. Если бы Вы могли написать «В круге первом», Вы бы написали «В круге первом». А Вы не можете. Поэтому пишете статью. Вы смело заявляете: «Солженицына надо ловить на слове, как карманного вора за руку» зная, что ничем при этом не рискуете. Солженицын на Вас даже в суд не подаст. Вы для него слишком ничтожный противник.

Нашли, в кого воткнуть своё бойкое перо. Солженицын Вам что – первый враг Вашей страны? А вот я бы на Вас посмотрела, как бы Вы насакивали на людей, которых я лично считаю самыми настоящими врагами своей несчастной страны и своего несчастного народа. Да только никогда не посмотрю. Потому что их Вы трогать побоитесь.

**Екатерина МАРКИНА,**  
специально для «Байкальских вестей».  
«Байкальские вести», № 13, 3-9 апреля 2007 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Вместо предисловия:	6
Анастасия Яровая. На ближних подступах к аннотации	6
Xenia A. Kulikova. Ein fast fairer kommentar (Übersetzung)	7
Трёхлистник обыкновенный	9
Русский вариант	10
Нехорошо. Поэма.	11
Не проходите мимо мима	12
Гражданская война	15
Обновленец	16
Необходимый лишний	16
Целесообразность	17
Мера любознательности	18
Велимир напророчил...	20
Другая сторона Луны	20
Валера и Чингиз-хан	27
Про чтение с амином	28

Фонтан незатыкаемый	30
Однажды, в Светлое Воскресенье...	30
Отсюда – и в вечность	31
Со скоростью света	32
Невсякий пожарный случай с нижеизложенным Кашыцыным И.В.	35
Как Он стал человеком	36
Нечто по-киевски	37
Соло для скрепки с дыроколом	39
Банкет и банкомёты	41
Территория творчества	46
Был Март на дворе...	47
«Рождённые в года глухие...»	48
Дело было в прошлом веке	52
Узелки	58
Кольцо	59
Степные мотивы	60
К вопросу об инвестициях	61
Дело прошлое	62
Тоска	64
Про «ё-моё» и маленькую запятую	64
Этот бедный компромисс	66
Издержки многоглаголанья	67
Долгое возвращение	68
Как воздух, которым дышим...	68
Что попросить у рыбки?	69
Сказочные времена	70
После мрамора	71

Анкета	73
И яшма для ювелира, и камень для строителя	74
Воспоминание о персидской сирени	78
Аллегро! Ещё аллегро!	79
Сны и бессонницы Эксклюзиаста	80
Две унции удивления	92
День покрытия лаком	95
Про двух тишайших авгуров	103
На своём месте	104
Вернисаж	104
Коля и Феликс Эдмундович	105
Александр, Сергей и Александр Сергеевич	106
Премия	110
Однажды Илья прорёк...	110
Глазунья	111
Хлеб, вино и другие мелочи жизни	112
Классический сюжет искусства	114
Обыкновенная троица	115
Складная история	115
Питомцы	118
Яблочко	119
Сердящий богов	120
Кадрик	121
Слово и дело	123
Товарищ	125
История с царским портретом	127
От каланчи до каланчи	127
От зачёта до зачёта	130

Человек обречённый	131
Домино	131
Пасьянс и зонтик	133
Буква в законе	134
Кружение	135
Сон, струение, ворожба	137
Злоба дня	138
Старые книги на новый лад	139
К вопросу о стечении обстоятельств и вытекающих последствиях	141
Рефлексии	141
Звено к звену	142
По крупному счёту	142
Заключительная речь на «Поле чудес»	143
Многоточия	145
Начала и концы	147
Начни с конца...	147
Пушкин на хит-параде	148
Венец	149
Пастораль с автоматом Калашникова	150
Цена веселья	155
Метафизика валяния	156
Холодно...	158
Львиная доля	159
Рукой подать до Зимнего дворца ...	161
Жил да был критический реализм	163
Культурное достояние	163
Про Федьку Карпова	164

Дерзость	165
Как народ обманывали	166
Картографический пассаж	166
К вопросу о налогах	167
Военная тайна и попугай	168
Телефонная магия	168
Если бы меня позвал Че Гевара...	169
Среди узбекских дастарханов	173
Уголок для Кавота	173
Полынь	175
Роковая промашка	177
Спрашивайте – отвечаем!	178
Позы прозы	178
Куда мы попали!	187
Августейшие пререкания	189
Про относительную трезвость суждений	190
Между самым и самым	191
О личности в истории	193
Страсти писчебумажного подворья	194
А что говорил Иеремия!	203
Предвкушение яблока: первое искушение	204
А ложки блещут...	206
По ту сторону кулис	207
Про точки зрения	208
В день рождения Николая Васильевича	208
О счастье рыдательном	210
Зуб на зуб не попадал...	211
Московская рапсодия	212

Книжки и мы	213
Любовь к санаторию	213
Рупь делов!	215
По пересечённой местности	215
Про утечку	217
За ближним и дальним бугром	218
Главное – спокойствие!	219
Воспоминание о Каменном Госте	219
Идеалисты	223
Международный междусобойчик	224
Категорический императив: смейте смеяться	226
Пауза	229
Даль	230
Про эстетическую завершенность	231
Анекдот от Гриши Верхотурцева	233
Педагогический эксперимент	233
Диссидент	234
Железный закон социализма	235
Случай без протокола	238
Жизнь и судьба Депутата	241
Светлана в конце романа	242
Кошелёк и жизнь	243
Наши дворянские хлопоты	244
Кое-что о самоиндификации	246
Заяц и резонанс	247
Гегелевская мечта	247
Дума о Кантемире. Кантемир – о Думе.	248
Имя твоё...	251

Про Ваську-куафёра	253
Завтрак остывает...	255
Трудовой будень одного генсека	256
Синекура	256
Последний грош	257
Полиглот	258
Маленькое деликатное свойство	259
Военная тайна Василия Павловича	259
Укрощение бобика	261
Раньше и теперь	262
Утешеньице	262
К вопросу о литературном переводе	263
Ждём-с!	263
Возвышенное и земное	264
Трубадур	265
В отмеренные сроки	266
Тонкие намёки на толстые обстоятельства	268
Чем пахнет «самиздат»?	269
После вчерашнего...	271
Преображение	272
«Приидите все страждущие...»	272
Дилетант	273
Чем дальше в лес...	273
Краеугольный вопрос	274
Разновеликие величины	274
О ничтожности великих наций	275
Насчёт гусарства	276
«Несказанное, синее...»	277

Либо царское это дело, либо не царское...	278
Квалификация	279
Столоверчение	280
Зима и музы	281
После звука	288
К вопросу о частностях жизни	298
Уроки рока в Чертугеевской купели	299
Речитатив на троих	300
Нечто про баб и кое-что про вокализ Грига	303
Телефон и его высочество язычество	305
Вопиющее обращение к российскому народу	306
Трактат о трёх искушениях	308
Язык	312
Петербургские ветражи	314
Туз бубей и бубенчики короля	348
Линия жизни	360
Сказ про творца Калашникова	361
Наискосок к виску	367
Где твой треножник, художник?	375
Душистая опечатка	380
Ленинградский почтальон	281
Ирония на мокром месте	386
Иркутская история про двух дам с собачкой	387
Что передать комете?	395
Вместо послесловия:	398
Тамара Жирмунская. О Виталии Диксоне.	398
Xenia A. Kulikova. Zur Person Vitaly Dikson. (Übersetzung)	399

Приложения:	400
I. Анатолий Кобенков. Скверная история.	401
II. Андрей Гимченков. Холм. Поэма.	403
III. Виталий Диксон. Между горой и мышью.	413
Екатерина Маркина. Вы пишете, вам зачтётся...	418







Диксон Виталий Алексеевич  
- современный российский писатель.  
Родился в 1944 году.  
Член International PEN/Русский ПЕН-центр.  
Живёт в Иркутске.

...В тексте В. Диксона вглядываться приходится в каждое слово.  
Никита Сарников, Париж  
«Русская мысль/La Pensée Russe»

Одна из московских читательниц назвала объёмный роман Виталия Диксона «Августейший сезон...» (1214 страниц!) «энциклопедией советской и постсоветской жизни». А из Парижа Марья Васильевна Розанова-Синявская заметила, что теперь уже так никто не пишет и никто столько не читает: слишком «букв много», как говорят в России... Мне кажется, публикуемая ныне «случайная проза» Диксона вовсе не случайна. Главное в ней – ностальгия. Чувство универсальное. Что в Иркутске, что во Франкфурте и Нью-Йорке. Ностальгия по прошедшему. По своей молодости. По людям, которых с нами уже нет. По несбывшемуся, неслучившемуся...

Владимир Тольц, Прага  
Радио Свобода/Свободная Европа.

Виталий Диксон назвал Иртеньева Орфеем социального идиотизма.  
Умри - лучше не скажешь!

Бэла Гершгорин, Нью-Йорк  
«RussianDC.com»

Прозу Виталия Диксона надо смаковать, как крепкий и очень дорогой напиток, - глоток за глотком. Чтоб почувствовать вкус, не закашляться, не опьянеть от прочитанного... Проза Диксона воздухоочистительна. Её язык, душа и стиль соразмерны свежему человеческому дыханию в той немыслимой жизни, в которой мы оказались на стыке веков.

Леонид Школьник, главный редактор  
Международного журнала «Мы здесь!»  
Иерусалим – Нью-Йорк

ISBN 978-1-4710-4614-8



9 781471 046148